В. С. КРИВЕНКО
В МИНИСТЕРСТВЕ
ДВОРА
Воспоминания

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Последние полтора десятка лет ознаменовались небывалой по своему масштабу публикацией мемуаров, отражающих историю России XIX — начала XX в. Среди их авторов появляются и незаслуженно забытые деятели, имена которых мало что скажут современному, даже вполне осведомленному читателю. К числу таких деятелей можно отнести и Василия Силовича Кривенко, чье мемуарное наследие представлено в полном объеме впервые только в данном издании. Большое научное значение наследия В. С. Кривенко определяется несколькими обстоятельствами…»

- В. С. Кривенко
  - С. И. Григорьев, С. В. Куликов
  - I. Вдали от родных (из моих воспоминаний)[89]
    - 1
    - 2
  - II. Юнкерские годы. 25 лет назад[108]
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
  - III. В министерстве двора[119]
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
  - Приложение
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145

- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189

- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210

В. С. Кривенко
В министерстве двора
Воспоминания

С. И. Григорьев, С. В. Куликов В. С. Кривенко и министерство двора: забытый мемуарист в контексте истории забытого ведомства

Последние полтора десятка лет ознаменовались небывалой по своему масштабу публикацией мемуаров, отражающих историю России XIX — начала XX в. Среди их авторов появляются и незаслуженно забытые деятели, имена которых мало что скажут современному, даже вполне осведомленному читателю[1]. К числу таких деятелей можно отнести и Василия Силовича Кривенко, чье мемуарное наследие представлено в полном объеме впервые только в данном издании. Большое научное значение наследия В. С. Кривенко определяется несколькими обстоятельствами. Во-первых, многолетняя служба автора проходила в Министерстве императорского двора — вероятно, самом закрытом высшем ведомстве Российской империи. Во-вторых, В. С. Кривенко занимал в царствование Александра III ответственнейший пост руководителя канцелярии министра императорского двора графа И. И. Воронцова-Дашкова. На этом посту в 1880-е годы он стал инициатором целого ряда административных реформ в Министерстве двора, призванных адаптировать архаичную структуру придворного ведомства к запросам современности — реформ, сегодня практически неизвестных даже специалистам-историкам. В-третьих, по должности находясь в самой гуще придворной жизни и, что еще более важно, являясь долгие годы доверенным лицом И. И. Воронцова-Дашкова, В. С. Кривенко был посвящен в такие тонкости взаимоотношений при дворе, о которых не знало большинство других мемуаристов — высокопоставленных сановников.

Предлагаемая читателю книга состоит из трех частей. Первая — *«Вдали от родных»* — мемуарный очерк В. С. Кривенко о годах ранней юности, проведенных в Петровском Полтавском кадетском корпусе[2], единственный раз опубликованный при жизни автора[3]. Вторую часть настоящего издания — *«Юнкерские годы»* — представляют воспоминания автора о 1-м военном Павловском училище, в котором он учился в 1870-е гг. Они также издавались только один раз[4]. Публикуемые ныне мемуарные очерки В. С. Кривенко представляют огромный интерес и сегодня,

поскольку являются наиболее обстоятельными и объемными из всех воспоминаний об этих учебных заведениях, написанных и напечатанных во второй половине XIX в.[5]. Третью часть настоящего издания составляют воспоминания *«В Министерстве двора»,* посвященные службе автора в Министерстве императорского двора в 1880–1890 гг.

Несмотря на исключительную ценность этого исторического источника, он до сего дня оставался вне научного оборота. Рукопись *«В Министерстве двора»,* хранящаяся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, никогда прежде не публиковалась в полном объеме. Только небольшой ее отрывок вошел в сборник воспоминаний, изданный в 1994 г. Б. В. Ананьичем и Р. Ш. Ганелиным[6]. Между тем эти мемуары являются одним из главных источников личного происхождения для характеристики императора Александра III и его царствования[7]. По своей научной значимости воспоминания В. С. Кривенко должны, по нашему мнению, занять свое место рядом с таким широко известным и признанным историческим источником, как воспоминания генерала А. А. Мосолова[8], которые уже выдержали несколько изданий. Долгое время эти мемуары, принадлежащие одному из преемников В. С. Кривенко на посту руководителя канцелярии Министерства двора, оставались единственным опубликованным источником частного характера, посвященным службе в данном ведомстве. Обошли его своим вниманием и специалисты-историки. Как же произошло, что Министерство двора практически выпало из поля зрения как современников, так и потомков? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к историографии Министерства императорского двора (МИДв). Для более полного представления о месте МИДв в отечественной истории рассмотрим его историографию в рамках общей историографии государственных учреждений Российской империи.

Систематическое изучение государственных институтов началось в России с середины XIX в. Историки государственной школы отводили государству и его институтам центральное место в историческом процессе. Позднее изучением юридических аспектов российской государственности занимались историки русского права. Однако внимание исследователей того времени занимали, прежде всего, проблемы зарождения и формирования российской государственности в целом, иногда — история отдельных государственных и общественных институтов. История же высших государственных учреждений Российской империи (министерств, ведомств, комитетов) долгое время оставалась неразработанной. Тому было две причины. Первая, объективная

причина, заключалась в существовавшем до 1905 г. фактическом запрете на публикацию исторических сочинений, рассматривавших историю России после 1725 г.[9] Вторую, субъективную причину этого положения привел крупнейший отечественный исследователь истории государственных учреждений Н. П. Ерошкин: «Дореволюционная историография почти не затрагивала формы правления России <…>. Господствующие верхи не были заинтересованы в публичном освещении таинств управления даже в историческом плане»[10].

В начале XX в., в связи со столетним юбилеем министерской системы в России, исследователи обратились к теме учреждения этой системы. Но последующая история большинства государственных учреждений по-прежнему оставалась вне научного поля. Единственной формой исторического изучения министерств в дореволюционной России были ведомственные издания, составляемые чиновниками к юбилейным датам. Данный вид исторических исследований имеет общий недостаток — их составители предпочитали воздерживаться от аналитического осмысления приводимой информации — возможно, следуя пожеланиям начальства. В тех же случаях, когда комментарии имелись, они естественным образом отражали официальную точку зрения на описываемые факты. Типичный для подобных трудов способ подачи исторического материала раскрыл составитель одного из таких изданий по истории МИДв, Н. Е. Волков: «Я излагаю в нем лишь факты, почерпнутые мною из дел Министерства и из всеподданнейших докладов, в историческом их освещении и без всяких комментарий»[11]. Можно предположить, что порой приводимая информация недостоверна — ведь она была закрыта от проверки сторонними исследователями. Тем не менее, вследствие высокой насыщенности таких изданий разнообразной (пусть и требующей проверки) информацией и отсутствия других исторических исследований, ценность данного вида источников представляется весьма высокой.

Министерство двора в этом ряду стоит особняком. Издания, посвященного его истории в целом, на протяжении всего существования этого института, не было опубликовано. Подобные труды появлялись только к юбилейным датам, а до своего столетнего юбилея (который наступил бы в i92б г.) министерство «не дожило». Тем не менее, работы по истории министерства в целом (но охватывающие лишь определенный исторический период) неоднократно составлялись его служащими, хотя и не были изданы. Так, можно упомянуть *«Краткий очерк деятельности Министерства императорского двора в первое г5-летие*

благополучного царствования государя императора Александра // (19.02.1855-19-02.1880)»[12], составленный П. Т. Китицыным в 1880 г.; *«Общий очерк к обзору деятельности Министерства Императорского Двора за время царствования в Бозе почившего Государя Императора Александра ///*(1881–1894)», составленный А. Н. Коковихиным в 1901 г.; *«Очерк деятельности Министерства Императорского Двора и Уделов за время* 1897–1907 гг.»[13], подготовленный Н. Е. Волковым в 1908 г. Составители этих работ рассматривали только институциональные изменения основных установлений министерства (в том числе и канцелярии МИДв). Весьма поверхностный характер этих работ, вызванный, как можно предположить, недостаточной исторической и литературной подготовкой их составителей, привел к тому, что они могут использоваться только как справочный материал. Выходили издания и к юбилеям отдельных учреждений в составе МИДа[14].

Наиболее интересное в научном плане юбилейное издание — *«200-летие Кабинета Его Императорского Величества*. 1704–1904». Это — единственное опубликованное до революции в полном смысле историческое исследование одного из учреждений МИДв. Его авторы — В. Н. Строев, П. И. Варыпаев и А. Н. Коковихин — исследовали историю Кабинета как государственного института, делая акцент на финансовой стороне его деятельности. Всю историю Кабинета авторы разделили на два неравнозначных периода: 1704–1786 гг., когда Кабинет являлся учреждением общегосударственного значения, обладающим самой широкой компетенцией, и 1786–1904 гг., когда он был учреждением (сначала самостоятельным, затем в составе МИДв), ведающим только «Государево казначейство и Государевы имущества». Главной своей задачей авторы видели изучение первого периода: по их мнению, он представлял наибольший интерес, поскольку «роль Кабинета во втором периоде значительно сузилась и деятельность его направилась исключительно на изыскание средств для удовлетворения потребностей дворцового хозяйства и других расходов, исторически относившихся на Кабинет, а также на управление вверенными ему имуществами с целью извлечения из них доходов»[15]. Следствием такого подхода ста-ла крайняя неравномерность распределения исторического материала: из девяти глав этого труда пять посвящены царствованию Петра I, и лишь одна глава (автор А. Н. Коковихин) — всей истории Кабинета после 1786 г. (т. е. 32 из 488 стр.). К тому же следует отметить, что исторический анализ в этой главе, на наш взгляд, значительно более поверхностен, чем в первой части работы. Тем

не менее, содержащийся в данной работе фактический материал имеет большую научную ценность.

В послереволюционные десятилетия изучение истории высших государственных учреждений Российской империи практически не велось: внимание советской исторической науки было приковано к социально-экономическим проблемам. Возвращение к изучению их истории началось в конце 50-х гг., в рамках возрастания общего интереса к внутриполитической проблематике. Как подчеркивал один из первых советских исследователей истории госучреждений Г. М. Горфейн, она «является важной, представляющей самостоятельный интерес областью общей истории России, освещающей развитие организации и деятельность сложнейшего механизма, посредством которого самодержавное дворянско-бюрократическое государство осуществляло свои функции по управлению громадной страной и политику защиты интересов господствующих классов <… > В то же время история государственных учреждений имеет и большое вспомогательное значение. Она — основа организации архивных материалов и надежное руководство при поиске среди них источников по самым разнообразным темам; к ней постоянно обращаются в ходе исследований для получения фактических сведений; она является важнейшим пособием при комментировании и публикации документов и т. д.»[16]. Н. П. Ерошкин обосновывал значимость данной области для советской исторической науки по-иному: «Государствоведческие аспекты помогают значительно расширить изучение исторических процессов, происходящих в социально-экономической жизни дореволюционной России, познать тот лагерь, который угнетал народные массы. Изучение политических институтов дореволюционной России имеет большое научное значение, помогает глубоко осмыслить особенности развития отечественной экономики, классов и классовой борьбы, революционного и общественного движения, внутренней и внешней политики дореволюционной России»[17].

Сложившееся отношение властей отнюдь не способствовало росту исследовательского интереса к истории госучреждений. Г. М. Горфейн отмечал, что эта область «разрабатывается все еще слабо, большей частью попутно с решением других исторических проблем»[18]. Н. П. Ерошкин уже в конце жизни также писал, что «серьезным препятствием на пути создания глубокого обобщающего труда по истории государственных учреждений до 1917 г. является отсутствие исследований по истории подавляющего большинства высших, центральных и местных учреждений»[19].

Со временем трудами Н. П. Ерошкина, П. А. Зайончковского, Ю. Б. Соловьева и др. был наработан огромный фактографический материал по общей истории государственного аппарата второй половины XIX в. Однако МИДв по-прежнему оставалось не изученным: советские историки лишь упоминали его в связи с какими-либо историческими сюжетами или конкретными персоналиями[20]. Можно заключить, что в советское время изучение МИДв находилось на далекой периферии — не только советской исторической науки вообще, но и внутри данной области (истории госучреждений) в частности. Причина этого, по нашему мнению, могла заключаться в следующем. Вероятно, предполагалось, что в первую очередь должны изучаться структуры, лежавшие в основе материальной жизни государства и общества — т. е. составлявшие, по марксистским канонам, «базис» — финансы, экономика, промышленность. Области же, которые относили к «надстройке» — культура, идеология, религия и т. д. — в соответствии с господствующей доктриной ситуацию в дореволюционной России не определяли, а потому считались в советской историографии второстепенным направлением для изучения. Более того, научный интерес к изучению «надстройки» в то время был, вероятно, даже несколько подозрителен и требовал обязательной подстраховки. Обратим внимание на характерную ссылку на марксистскую догму, как бы оправдывающую научный интерес к этому направлению: «Экономика и социальные отношения находились в тесной связи с политической надстройкой страны: самодержавием, бюрократией, государственными учреждениями. Политика классов и классовых государств всегда опиралась на экономическую силу, но, возникнув на определенной экономической базе, политическая надстройка оказывала активное обратное воздействие на развитие экономического строя, содействовала этому развитию или, наоборот, задерживала его»[21]. На первый план здесь выдвигается доказанный «классиками» факт взаимовлияния базиса и надстройки в обществе — конечно, при сохранении непререкаемого приоритета экономики. Что же касается МИДв, то, возможно, действовала и другая негласная установка, в соответствии с которой его «реакционная эксплуататорская сущность» как государственного института представлялась настолько очевидной, что научная корректировка этого положения в том или ином направлении была несущественна.

Первым советским историком, обратившимся к изучению одного из учреждений, вошедших впоследствии в состав МИДв, стала Е. И. Индова, опубликовавшая работу по экономической

истории дворцового хозяйства в XVIII в.[22]. Автор на большом документальном материале анализирует экономическое развитие дворцовых вотчин в различных регионах страны, изучает их финансовое положение, прослеживает происходившие в них социальные изменения. Данная работа, относящаяся к экономической истории, рассматривает то, что в советской науке называлось развитием производительных сил и производственных отношений — но в среде дворцового хозяйства. В одной из глав автор кратко касается и истории центральных учреждений дворцового аппарата, прослеживая всю властную вертикаль, от Главной дворцовой канцелярии в столице до низового вотчинного аппарата на местах.

Также к экономической истории относится и монография Г. П. Жидкова[23]. Эта выдающаяся работа является единственной в советской историографии, специально посвященной истории учреждения в составе МИДв (хотя только одной из граней его деятельности). На основе материалов сибирских архивов автор анализирует историю землевладения российских императоров в Алтайском и Нерчинском округах, находившихся в управлении Кабинета е. и. в. Автор детально исследует земельную, переселенческую и фискальную политику Кабинета на подведомственных территориях, анализирует его хозяйственную и финансовую деятельность. Рассматривая институциональную историю Кабинета, Г. П. Жидков касается основных этапов истории всего министерства. Автор впервые вводит понятие функций МИДв, за каждую из которых отвечало определенное установление в его составе. Всего Г. П. Жидков выделяет четыре функции: представительскую, придворно-церемониальную, престижную и меценатскую, финансово-хозяйственную[24]. Впервые в отечественной историографии в этой работе проводится различие между институтами удельного ведомства и Кабинета и разграничение их областей компетенции.

Первым историком, обратившимся к изучению МИДв в целом, как государственного института в рамках империи, стал Н. П. Ерошкин. Он так определил его место и значение в истории России: «Министерство императорского двора было важным звеном российского абсолютизма на той стадии его развития, когда слияние имущественных интересов и средств абсолютного монарха и государства было уже неприемлемым и потребовалось их более четкое разделение <…>. Создание Министерства императорского двора явилось, таким образом, тоже элементом общих процессов развития абсолютизма дореформенной России»[25]. Отмечая особое положение МИДв в системе государственного управления, он подчеркивал прежде всего

материальный аспект его деятельности: «Это было административно-хозяйственное ведомство, обеспечивавшее наивысший материальный уровень жизни императора и всей императорской фамилии, позволявшее поддерживать в глазах подданных (особенно широких народных масс) и правительств других стран внешний престиж абсолютного, неограниченного монарха»[26]. Впервые в советской историографии Н. П. Ерошкин привел полный перечень установлений в составе Министерства, но не рассматривал отдельно их функции и деятельность.

Выходившие в постсоветский период исторические энциклопедические издания[27] и монографии[28] содержали лишь краткие справочные данные по общей институциональной истории МИДв, не касаясь изучения деятельности отдельных установлений в его составе. Одно из исключений составила биографическая статья Д. И. Исмаил-Заде, посвященная И. И. Воронцову-Дашкову[29]. Рассматривая период министерства И. И. Воронцова-Дашкова, автор касается и произведенных при нем в МИДв реформ. Другим исключением стала небольшая статья челябинской исследовательницы И. В. Несмеяновой, посвященная МИДв в целом[30]. Автор кратко обозначает институциональное устройство МИДв: общие законодательные основы, его место в системе центрального управления, структуру министерства, основные направления деятельности важнейших установлений в его составе. И. В. Несмеянова упоминает и некоторые стороны его финансовой деятельности: приводит основные источники финансирования и данные о содержании министров по штатному расписанию. Несмотря на малый объем, данная статья имеет, на наш взгляд, большую научную ценность, вследствие своей информативной насыщенности. Касаясь функций основных установлений в составе министерства, автор упоминает и канцелярию МИДв, отмечая, что она «являлась одним из важнейших общих установлений, решавших вопросы административного характера по всем учреждениям МИДв», а в ее компетенцию входила также деятельность министерства как придворного ведомства[31].

Историографическая ситуация стала меняться только в последние годы. Отправной точкой стало издание третьего тома коллективного труда *«Высшие и центральные государственные учреждения России.* 1801–1917». Впервые в отечественной историографии в нем была представлена исчерпывающая справочная информация не только по МИДв в целом, как государственному институту, но и по каждому из установлений, в разное время входивших в его состав. Канцелярии МИДв в нем посвящена отдельная глава[32], в которой детально

рассматривается ее структура, функции и области компетенции подразделений, персональный состав руководства.

В настоящее время изучением Министерства двора как государственного института занимаются оба автора этих строк, каждый со своей стороны. В центре внимания С. И. Григорьева — идеологическая функция МИДв, реализовавшаяся через ведомственную придворную цензуру. Изучая деятельность придворной цензуры по формированию и репрезентации образа верховной власти, автор рассматривает и общую институциональную историю МИДв, в частности, анализирует организационную структуру и кадры канцелярии МИДв, в составе которой функционировала придворная цензура[33].

Интересы С. В. Куликова сосредоточены на изучении персонального состава придворного штата конца XIX — начала XX в., его социально-значимых характеристик (сословное происхождение, образовательный ценз, имущественное положение и т. д.) и связей с предпринимательством, а также механизмов формирования штата. Им рассматриваются проблема взаимодействия монарха со своим официальным (двор) и неофициальным (камарилья) окружением, политическая неоднородность придворного штата, мотивация и тактика поведения царедворцев[34].

Итак, можно заключить, что в историографии — как отечественной, так и зарубежной — до настоящего времени не существует ни одного специального исследования, посвященного ни Министерству двора в целом, ни Канцелярии МИДв в частности. В связи с этим представляется целесообразным хотя бы кратко очертить основные этапы истории этих учреждений, предшествовавшие административным реформам МИДв 1880-90 гг., в которых принял активное участие В. С. Кривенко.

МИДв было учреждено 22 августа 1826 г. именным высочайшим указом императора Николая I. Оно объединило все существовавшие к тому времени части дворцового управления — придворные конторы и дворцовые правления, Кабинет его императорского величества и Департамент уделов. Каждая из этих частей прежде — и в административном, и в хозяйственном смысле — была совершенно самостоятельна. Они имели коллегиальное устройство: в подчинении их руководителей, именовавшихся президентами, состояли особые присутствия (коллегии), которые принимали решения на общих собраниях путем голосования. Президенты пользовались правами главноуправляющих отдельными ведомствами и получали все указания по своей текущей деятельности непосредственно от императора. Результатом такого положения была все

углублявшаяся со временем автономность и, как следствие, рассогласованность придворных учреждений: «отдельные действия контор, не имея общей связи в высшем заведывании, производили различные последствия. Каждая из них не сообразовывалась ни с общими потребностями, ни с общими способами императорского двора. Хозяйство не имело особой системы, но велось в самых разнообразных видах и без правильной отчетности»[35]. Таково было мнение В. Ф. Адлерберга, занимавшего пост министра двора в 1852–1870 гг. В этом видел основную причину организации нового государственного института и известный отечественный исследователь истории государственных учреждений Н. П. Ерошкин: «Для установления большей согласованности и хозяйственной эффективности деятельности отдельных административно-хозяйственных учреждений, обслуживающих императорскую фамилию, Николай I прибег к их централизации»[36].

С самого начала новое министерство заняло совершенно особое положение в ряду прочих высших ведомств империи, а министр двора (первым этот пост занял князь П. М. Волконский (1826–1852) — в общем порядке государственного управления: «Министр императорского двора имеет состоять под собственным ведением государя императора; следственно, во всех своих деяниях отчет дает токмо его императорскому величеству, равно и все повеления получает от его величества, а другое никакое правительство никакого отчета по делам, вверяемым его распоряжению, требовать и предписаний по оному чинить права не имеет»[37]. Таким образом, МИДв не зависело от Правительствующего Сената, которому, как верховному учреждению, подчинялись в порядке суда, управления и исполнения все прочие учреждения Российской империи[38]. В то время как все государственные учреждения получали от Сената указы и были обязаны отчитываться перед ним представлениями, рапортами и доношениями[39], МИДв получало только копии с определений Сената, передаваемые министру двора лично обер-прокурором[40]. Никакие претензии на действия и распоряжения министра двора не подлежали обжалованию обычным путем, через Сенат, и могли подаваться только на высочайшее имя. Аналогичным образом был устроен и финансовый контроль за деятельностью МИДв. Все входящие в его состав учреждения не подлежали ревизии Государственного контроля. За законностью и правильностью всех операций по приходу, расходу и хранению финансовых средств следило особое установление в составе самого министерства — Контроль МИДв[41].

Другой особенностью МИДв, выделяющей его из ряда прочих министерств империи, была территориальная локализация: все основные органы нового министерства находились в столице. Следствием этого стало фактическое отсутствие вертикально-территориальных связей на общеведомственном уровне[42]. В отличие от других общегосударственных ведомств, таких как Министерства внутренних дел, путей сообщения или юстиции, МИДв в целом не имело никаких полномочных представительств вне столицы, не преследовало какой-либо ведомственной политики на местах, а потому не стремилось и к контактам с губернаторами. В этом смысле можно сказать, что МИДв не являлось общегосударственным ведомством, будучи скорее административно-хозяйственным подразделением, возведенным в ранг министерства из-за высокого статуса обслуживаемого объекта (императорской фамилии).

Роль канцелярий в системе управления, созданной в столь сильно централизованном государстве, как Российская империя в XIX в., была исключительно высока. Причиной тому стала единственно возможная в то время технология канцелярского делопроизводства: фиксирование информации на бумажных носителях, особенности ее обработки, переписки, транспортировки и, главное, неразрывная связь делопроизводства с общей системой государственного контроля. Все это неизбежно выдвигало канцелярии на центральные места в бюрократических структурах того времени. Канцелярия МИДв была учреждена одновременно с министерством, 22 августа 1826 г. Ее прообразом послужила существовавшая прежде Канцелярия по придворной части. Канцелярия стала общим центральным установлением МИДв, «с подчинением ведомству ее всех дел, относящихся до придворных управлений»[43]. Ее директор назначался и увольнялся именным высочайшим указом, прочие чины — самим министром двора.

После смерти первого министра двора П. М. Волконского император Николай I предпринял разделение МИДв на два самостоятельных ведомства. 30 августа 1852 г. был назначен новый министр двора, В. Ф. Адлерберг, и одновременно из состава МИДв выделено новое Министерство уделов, во главе которого оказался граф Л. А. Перовский, возглавлявший ранее (с 1828 г.) Департамент уделов[44]. После смерти Л. А. Перовского эти институты 24 ноября 1856 г.[45] снова объединились в один, получивший отныне наименование Министерства императорского двора и уделов. В этом едином качестве и под данным наименованием министерство просуществовало до 1917 г. Каждое установление в составе МИДв несло определенную функцию; все

вместе они составляли функции МИДв как государственного института. Основными из них были: финансово-хозяйственная, административно-организационная, церемониально-представительская, культурно-меценатская и идеологическая.

В первые десятилетия существования МИДв постепенно определялись состав, компетенция («предмет ведомства») и направление деятельности («образ действия») учреждений, входивших в министерство. Министр двора В. Ф. Адлерберг отмечал, что в этот период «предприняты были различные меры к устройству <. > частей министерства, в особенности же по введению должного порядка вообще в хозяйстве и отчетности. Сокращение вообще личного состава, упразднение излишних должностей, разного рода мастеровых команд и заведений и распределение денежных сумм соответственно действительным потребностям императорского двора — составляли конечную цель министерства»[46]. Тем не менее, как признавалось впоследствии в официальном *«Кратком очерке деятельности Министерства императорского двора в первое 25-летие благополучного царствования государя императора Александра II»,* составленном юрисконсультом МИДв П. Т. Китицыным в 1880 г., эта цель в полной мере так и не была достигнута: к концу царствования Николая I министерство «не имело окончательной стройной организации»[47].

После воцарения Александра II Министерство двора, согласно желанию императора, явилось одним из первых примеров гласности для российского общества. В 1856 г. впервые был законодательно закреплен состав учреждений, входящих в МИДв[48], одновременно вышел в свет отчет о финансовой стороне его деятельности[49], а с 1859 г. стали издаваться ежегодные списки чиновников министерства. Министр двора В. Ф. Адлерберг надеялся в скором времени сделать свое министерство образцом для других ведомств и в плане рациональной организации управления. Главным условием для этого был окончательный отказ от прежних архаических порядков в министерстве, прежде всего коллегиального управления, не соответствующего современным условиям. Оно подлежало упразднению, поскольку и ранее, как полагал В. Ф. Адлерберг, «в сущности <…> составляло лишь наружную форму, ибо все распоряжения зависели от президента, который действовал по собственному своему усмотрению или же по высочайшим указаниям»[50]. Тем не менее, в царствование императора Александра II министрам двора так и не удалось решить основные проблемы в управлении, стоящие перед ними с самого образования министерства: не было достигнуто организационное

единство в структуре ведомства и не была построена внутренняя вертикаль власти. Можно предположить, что данные задачи остались невыполненными по объективным причинам. Многогранность деятельности МИДв; обилие замкнутых, самостоятельных установлений, связанных между собой только общим верховным руководством (в лице министра двора); практическое отсутствие горизонтальных связей между этими установлениями (в силу их реальной ненужности); наконец, безусловный приоритет хозяйственной деятельности, направленной на всемерное обеспечение разнообразных нужд определенной группы лиц (что лишало руководство министерства возможности подчинить ведомство какой-то единой задаче) — все это делало идею создания «стройной» системы управления МИДв в то время принципиально невозможной. Попытку создать такую систему и предпринял В. С. Кривенко.

* * *

Несмотря на неординарность личности В. С. Кривенко, ему посвящена лишь небольшая статья в словаре русских писателей[51]. Поэтому следует остановиться подробнее на биографии этого разносторонне одаренного человека. Василий Силович Кривенко родился 19 марта 1854 г. в селении Дешлагар в Дагестане. Он происходил из дворян и был сыном офицера, что определило его выбор жизненного пути. В 1871 г. В. С. Кривенко окончил Петровский Полтавский кадетский корпус и переехал в Петербург, где поступил в 1-е военное Павловское училище. Через два года он был выпущен из училища в чине подпоручика и поступил на службу в лейб-гвардии Финляндский полк. Впоследствии, через четверть века, В. С. Кривенко опишет свои впечатления от пребывания в этих учебных заведениях в двух мемуарных очерках, вошедших в настоящее издание.

В 1876 г. случилось событие, оказавшее решающее влияние на всю дальнейшую судьбу В. С. Кривенко: он стал личным секретарем графа И. И. Воронцова-Дашкова, ближайшего друга цесаревича Александра Александровича, будущего Александра III. Вместе с графом В. С. Кривенко прошел балканскую войну. Именно к этому времени относятся первые, весьма успешные, литературные опыты В. С. Кривенко: в том же 1876 г. он публикует свой путевой очерк *«Поездка в Пятигорск»*. В 1878–1881 гг. В. С. Кривенко учится в Военно-юридической академии, по окончании которой резко меняет свою судьбу — выходит в отставку и поступает на гражданскую службу, в Министерство

императорского двора. Дело в том, что взошедший на престол в 1881 г. Александр III назначил И. И. Воронцова-Дашкова министром императорского двора, а он, в свою очередь, предложил службу в привилегированном придворном ведомстве личному секретарю. С этого момента и вплоть до увольнения И. И. Воронцова-Дашкова от должности в 1897 г. деятельность В. С. Кривенко протекала в руководстве Министерства двора. Это был его «звездный час», растянувшийся почти на два десятилетия. Формально он не занимал крупного поста в ведомственной иерархии, не имел высокого чина: с ноября 1881 г. В. С. Кривенко числился помощником юрисконсульта МИДв, затем с декабря 1885 г. по май 1897 г., с первого и до последнего дня ее существования, руководил Канцелярией министра двора. Тем не менее, неизменно пользуясь исключительным доверием И. И. Воронцова-Дашкова, В. С. Кривенко приобрел огромное влияние в придворном мире. Будучи «правой рукой» министра, в 1881–1885 гг. он стал инициатором и главным «проводником» целого ряда прогрессивных административных реформ в Министерстве двора, благодаря чему и заслужил достойное место в российской истории. В чем же состояла суть этих почти забытых ныне реформ?

С назначением 17 августа 1881 г. И. И. Воронцова-Дашкова министром двора пред ним встала проблема, так и не решенная его предшественниками: адаптация архаичной структуры Министерства двора к изменившимся социально-экономическим реалиям пореформенной России. Реформы, предпринятые в МИДв в 1880-е гг., имели два этапа: административные реформы 1881–1885 гг. и реорганизация центрального управления 1888 г. Уже в ходе первого этапа, проходившего при непосредственном участии В. С. Кривенко, были решены главные задачи, стоявшие перед МИДв: окончательно упразднено коллегиальное начало во всех установлениях министерства; централизовано дворцовое хозяйство (учреждением Главного дворцового управления, объединившего все разнообразные дворцовые учреждения, ранее обособленные) и выстроена новая властная вертикаль (учреждением Совета министра, осуществляющего непрерывное управление министерством в отсутствие министра). Все реформы первого этапа проходили на особых основаниях, т. е. без законодательного утверждения, но при полной поддержке министра двора императором — и, тем не менее, не все увенчались успехом.

Одной из стратегических задач, стоявших перед МИДв, являлось объединение земель, находящихся под управлением Главного управления уделов и Кабинета е. и. в., в одном новом

установлении. При этом должно было произойти полное перераспределение потоков основных финансовых поступлений в МИДв. Ранее огромные средства, получаемые от эксплуатации удельных земель, напрямую шли из удельного ведомства соответствующим членам императорской фамилии. Это позволяло удельному ведомству занимать совершенно независимое положение внутри министерства. Теперь же данные средства должны были распределяться новым общим установлением МИДв, учитывая нужды всего министерства. Таким образом, предстоящая административная реформа МИДв была объективно направлена против финансовой независимости Главного управления уделов, а следовательно, и финансовых интересов старших великокняжеских дворов. Инициатором реформы стал, по-видимому, сам И. И. Воронцов-Дашков: она началась буквально на следующий день по вступлении его в должность министра двора.

Уже 18 августа 1881 г. последовало высочайшее повеление об отделении Контроля МИДв от Кассы МИДв и присоединении его к Канцелярии в качестве особого контрольного отделения. При этом его хозяйственные функции остались в ведении Кассы, а контрольные функции расширялись и на удельное ведомство. Впервые в истории МИДв оно подпало под внешний финансовый контроль. Однако эта попытка оказалась неудачной: уже через полгода, 15 января 1882 г., вновь образованное контрольное отделение Канцелярии упразднили. При этом функция контроля над Департаментом уделов вновь была изъята из компетенции Контроля МИДв, ставшего, как и прежде, самостоятельным общим центральным установлением в составе министерства. Эта неудавшаяся реформа ясно показала границы не столько влияния В. С. Кривенко или И. И. Воронцова-Дашкова, сколько, по сути, реальной власти самого самодержавного государя: сила традиции во взаимоотношениях внутри императорской фамилии и инерции в государственном управлении оказалась непреодолима. Вплоть до 1917 г. Главное управление уделов сохранило свое особое, неподконтрольное положение министерства в министерстве.

Следующая административная реформа, проведенная в МИДв В. С. Кривенко, была направлена на перераспределение властных полномочий внутри министерства. 15 января 1882 г. был утвержден новый временный штат Канцелярии МИДв, существенно ухудшивший материальное обеспечение ее личного состава. Произошедшие перемены свидетельствовали о кардинальном изменении отношения к Канцелярии нового руководства МИДв. Можно предположить, что отныне она уже не рассматривалась высшим начальством как главное

административное установление МИДв (в этом смысле становится понятна и замена прежнего, постоянного штата новым, временным). Ее обязанности начали переходить к другим установлениям министерства. Юридическое закрепление нового положения стало лишь вопросом времени.

28 декабря 1885 г. была сформирована Канцелярия министра двора во главе с В. С. Кривенко. В ее обязанности от Канцелярии МИДв перешли «исполнение разнообразных служебных поручений министра и переписка по тем делам, которые, по особенной важности своей, требовали скорейшего разрешения министра или же не могли входить в круг занятий прочих центральных установлений министерства»[52]. Кроме того, в обязанности служащих Канцелярии министра двора входило ведение личной переписки министра и выполнение его различных поручений, постоянное дежурство при министре, сбор различной информации и подготовка аналитических справок. Ранее всем этим занимались чины юрисконсультской части МИДв (теперь упраздненной) и секретарь при министре, которого переводили теперь из Канцелярии МИДв в Канцелярию министра. Анализ функций нового установления позволяет сделать вывод о том, что Канцелярия министра была учреждена не в качестве нового центрального органа управления министерства, а скорее как секретариат («личный орган») министра двора.

Свое логическое завершение этот процесс получил 24 апреля 1888 г., когда Канцелярия МИДв была упразднена, а ее властные полномочия распределены между Кабинетом е. и. в. и Канцелярией министра. Это и был второй этап административных реформ И. И. Воронцова-Дашкова, их кульминация, в ходе которой последовало полная реорганизация центрального управления министерством. Второй этап реформ прошел при поддержке В.С. Кривенко, однако инициатором и движущей силой новой административной реформы являлся уже не он, а «восходящая звезда» Министерства двора — бывший руководитель его Контроля Н. С. Петров. Стратегическая задача при этом ставилась та же, что и на первом этапе реформ: сосредоточение управления всеми землями, находящимися в ведении МИДв, в одном установлении. Однако теперь переход удельных земель под общее управление в ближайшем будущем уже не планировался: сначала было решено всемерно улучшить управление землями, находящимися в управлении Кабинета (прежде всего Алтайского и Нерчинского округов) — с тем, чтобы иметь их в качестве образцов для дальнейших земельных преобразований. Данная задача могла быть решена только при условии концентрации всех административных и хозяйственных

ресурсов министерства. Новым элементом этого этапа реформ стала личная заинтересованность ее инициатора: Н. С. Петров происходил из Алтайского края, и потому экономическое и культурное развитие родных мест оказалось для него весьма важным.

В результате административной реформы 24 апреля 1888 г., прошедшей все надлежащие законодательные процедуры, Кабинет е. и. в. сделался главным административным органом («общим центральным установлением») МИДв, а сфера его деятельности значительно расширилась. Теперь помимо основной его задачи — заведования собственностью российских императоров, — на него были возложены и все дела административного, хозяйственного и финансового характера по министерству вообще. Возглавил его, разумеется, сам Н. С. Петров. Можно предположить, что данная реформа, сосредоточившая в Кабинете е. и. в. большую часть материальных ресурсов и всю административную власть в министерстве, с целью улучшить управление министерскими землями, была спроектирована и осуществлена властным Н. С. Петровым, по сути, в личных целях. Фактически это была, на наш взгляд, попытка достичь благоустройства родного Алтая, поставив ей на службу все ресурсы МИДв. Конечно, это не могло бы произойти, если бы не еще одно важнейшее субъективное обстоятельство: к концу 1880-χ гг. начало проявляться охлаждение И. И. Воронцова-Дашкова к повседневным министерским обязанностям. В подобной ситуации в МИДв установилось негласное разделение полномочий: в ведении Н. С. Петрова оказались все финансовые и хозяйственные дела по министерству, а кадровую, административную и идеологическую политику взял на себя заведующий Канцелярией министра В. С. Кривенко.

Именно при его руководстве кадровая политика в Министерстве двора претерпела на рубеже 1880-1890-х гг. радикальные изменения. Новый подход получил неофициальное название «гражданские военные». Он состоял в массовом привлечении на гражданскую службу в МИДв гвардейских офицеров, лично известных высшему руководству министерства. Эта установка была воспринята многими старожилами ведомства с большим неодобрением: родовитые пожилые придворные вынуждались отходить в тень, уступая посты и чины молодым офицерам. В числе этого «кривенковского» набора оказались: генерал-лейтенант П. К. Гудим-Левкович, бывший помощник начальника штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, занявший в МИДв сначала пост помощника управляющего удельным ведомством, а позднее — пост управляющего

Кабинетом е. и. в.; бывший полковой адъютант лейб-гвардии Егерского полка Н. И. Оприц, ставший видным чиновником Канцелярии МИДв и бессменно ведший все дела по придворной цензуре на протяжении нескольких десятилетий; ряд других военных. Новая кадровая политика, проводившаяся В. С. Кривенко без оглядки на мнение великих князей, вызвала к нему стойкую антипатию в великосветских кругах.

В качестве администратора В. С. Кривенко оказывал подчас определяющее влияние на решение важнейших вопросов. Так, он сыграл едва ли не главную роль при реформировании Академии художеств, которая до революции входила в состав Министерства двора. «Устав Академии художеств, — отмечал в дневнике А. С. Суворин 4 февраля 1893 г., — составлен Кривенко из 75 отзывов от разных художников и всех известных»[53].

Но особенно значимыми оказались нововведения В. С. Кривенко в области идеологии. Он впервые в истории МИДв специально занялся разработкой новых подходов к деятельности придворной цензуры. Изменившиеся требования жизни потребовали на новых основаниях организовать цензуру придворных известий — прежде всего в столице, в течение всего года. Ранее корреспонденты не имели права присутствовать на придворных мероприятиях (приемах, балах, раутах и т. д.), и в процессе создания своих заметок о них вынуждены были придумывать несуществующие подробности — для придания текстам достоверного вида. При этом возникала масса неточностей и некорректностей, не позволявшая потом придворной цензуре пропустить подобный текст. Теперь В. С. Кривенко добился от министра двора разрешения на введение института официальной аккредитации представителей прессы при МИДв, что давало им возможность лично присутствовать на важнейших светских мероприятиях. Это нововведение, придавшее большую открытость российскому высшему свету, стало в дальнейшем одним из основных новых (наряду с фотографией и кинематографом) способов репрезентации образа верховной власти. Кроме того, оно способствовало дальнейшему развитию рынка печатных изданий в России — что вполне отвечало, на наш взгляд, духу того времени, поскольку находилось в рамках общеевропейской тенденции к развитию гражданского общества.

Другим важным идеологическим направлением работы В. С. Кривенко стала организация придворной цензуры на местах, во время высочайших вояжей, с целью наладить корректную, в фактическом и в идеологическом плане, публикацию придворных известий в местной прессе. Для этого требовались недюжинные организаторские способности и деловая хватка, чтобы установить

тесный контакт с местными властями и корреспондентами. В первые годы он занимался этим лично, в качестве заведующего Канцелярией министра двора сопровождая императора в высочайших вояжах. Так, в сентябре 1888 г. В. С. Кривенко сопровождал Александра III на Кавказ, описав свою цензурную деятельность в мемуарах. Он не предпринимал в той поездке каких-либо целенаправленных мер по организации и последующей координации идеологической работы с местной прессой. Однако как первый положительный опыт взаимодействия власти с прессой данное нововведение имело, на наш взгляд, огромное значение для развития российской печати.

Позднее эта практика получила развитие в организованных В. С. Кривенко особых временных административных органах на местах — Бюро корреспондентов. Во время каких-либо значительных событий придворной жизни (коронований, свадеб великих князей, высочайших визитов в регионы) эти Бюро должны были способствовать наилучшему освещению происходящих событий, занимаясь цензурой местной прессы. Но главное — они являлись необходимым буфером между корреспондентами, как представителями общества, и органами власти, что значительно упрощало практическую работу журналистов. Первым успешным опытом стала организация Бюро корреспондентов на коронационных торжествах в Москве в мае 1896 г., которой В. С. Кривенко занимался вместе с делопроизводителем Административного отдела Н. И. Оприцем (именно он, как один из руководителей придворной цензуры, занимался организацией таких Бюро в последующие годы). Например, в Москве в 1896 г. Бюро наняло помещение, где корреспонденты могли собираться, общаться, оперативно получать необходимую информацию, взаимодействовать с цензурой и даже бесплатно питаться (чаем и кофе с печеньем и сэндвичами). В Бюро имелись также специально выделенные телефонные линии и почтово-телеграфные курьеры для немедленной отправки телеграмм и другой корреспонденции. Здесь сотрудники Бюро выдавали различные справки и распределяли пропуска на торжества. Все корреспонденты, сотрудничавшие с Бюро, получали соответствующую аккредитацию, подкрепленную особым пропуском, дающим возможность проходить через закрытые для публики зоны. Конечно, прежде аккредитации каждый корреспондент проверялся на благонадежность, для чего Бюро сразу же установило тесный контакт с конторой московского обер-полицмейстера. Кроме того, Бюро централизованно сносилось и с другими государственными органами, от которых зависела

работа журналистов — канцелярией московского генерал-губернатора, штабом войск московского военного округа, городским московским управлением, почтово-телеграфным ведомством — для оперативного решения любых вопросов журналистской работы. Фактически Бюро корреспондентов являлись настоящими пресс-центрами. При всех неизбежно сопутствующих идеологических издержках, Бюро корреспондентов, организованные В. С. Кривенко, сталив высшей степени полезным опытом для российской печати. Это была совершенно новая для России форма взаимодействия власти и прессы. Говоря современным языком, эти Бюро вполне можно назвать первым в отечественной истории успешным опытом в области PR-технологий.

Собственно цензурная деятельность не привлекала В. С. Кривенко. Тем не менее, ему постоянно приходилось ею заниматься: несмотря на то, что цензура МИДв в 1888–1897 гг. входила в круг обязанностей Административного отдела Кабинета, через Канцелярию министра также проходили материалы, представленные на цензуру МИДв. Впрочем, их было относительно немного — преимущественно тексты и музыкальные произведения. Дело было в том, что некоторые постоянные просители по привычке продолжали обращаться по вопросам цензуры в Канцелярию (до 1888 г. они входили в функции канцелярии МИДв), а некоторые и прямо к министру двора И. И. Воронцову-Дашкову. Иногда такие прошения пересылались по принадлежности — в Кабинет, но в случаях, когда требовалось неординарное или быстрое цензурное решение, оно обычно принималось лично В. С. Кривенко, а затем утверждалось министром.

Параллельно с бюрократической деятельностью В. С. Кривенко продолжал заниматься и литературным трудом, осваивая новые жанры, прежде всего публицистику. В 1881 г. в газете *«Страна»* он опубликовал свои размышления о народном образовании[54], впоследствии дважды выходившие отдельным изданием[55]. В.С. Кривенко заявил себя решительным сторонником либеральной школьной реформы и противником классицизма в народном образовании. По его мнению, все учебные заведения, кроме военных — в том числе духовные — следовало передать Министерству народного просвещения, расширив систему профессиональных школ и увеличив число университетов и женских вузов, особенно медицинских. Такие либеральные взгляды не мешали В. С. Кривенко занимать весьма влиятельное положение в Министерстве двора, поскольку сам министр И. И. Воронцов-Дашков являлся, в известной мере,

единомышленником своего секретаря, будучи одним из виднейших представителей правительственного либерализма.

Литературное дарование В. С. Кривенко его патрон использовал весьма активно. В частности, в 1888 г. по поручению министра В. С. Кривенко составил сборник кратких сведений о правительственных учреждениях[56], который содержал перечень ведомств с обзором их деятельности и штата руководящих должностных лиц. Издание такого справочника было предпринято впервые и стало серьезным шагом на пути к гласности в работе органов государственной власти. Порой В. С. Кривенко выступал и в роли официозного журналиста. Так, в октябре 1888 г., после крушения императорского поезда в Борках, он посвятил этому происшествию особую статью, вскрывшую непорядки в Министерстве путей сообщения. «Статью в "*Правительственном вестнике*", где говорится о гнилой шпале, переданной будто бы государем жандармскому офицеру, — отметила 28 октября 1888 г. генеральша А. В. Богданович, — написал личный секретарь Воронцова-Дашкова Кривенко»[57].

Публицистическая деятельность В. С. Кривенко не ограничивалась официозными органами. С 1889 г. он регулярно печатает очерки и статьи в газете *«Новое время»*. В этом году В. С. Кривенко выступил в газете А. С. Суворина в защиту женского образования[58], статья о котором позднее вышла отдельным изданием[59]. Интерес В. С. Кривенко к данной теме был неслучайным — он входил в правление *«Общества для усиления средств женских медицинских институтов»*. Общение же с А. С. Сувориным скоро переросло в многолетнюю дружбу. Так, согласно дневнику А. С. Суворина, 4 февраля 1893 г. В. С. Кривенко обедал у него, а уже через четыре дня состоялся ответный визит. В последующие годы эти дружеские встречи неоднократно повторялись. «Вчера, — записал А. С. Суворин 21 апреля 1896 г., — я был у Кривенко». В том же году, 31 октября, В. С. Кривенко с женой и дочерью обедали у А. С. Суворина, 17 декабря он вместе с В. С. Кривенко смотрел в Александрийском театре пьесу П. М. Невежина *«Непогрешимый»*. В марте следующего года А. С. Суворин и В. С. Кривенко совместно ездили в Москву. В феврале 1900 г., сообщив о своем присутствии на данном в честь М. Г. Савиной обеде в петербургском ресторане *«Медведь»,* А. С. Суворин записал: «Домой вернулся с Кривенко пешком»[60]. Неудивительно, что многие книги В. С. Кривенко были изданы именно в типографии А. С. Суворина.

Вероятно, А. С. Суворин был заинтересован в В. С. Кривенко едва ли не больше, чем тот в знаменитом журналисте: по своей высокой должности В. С. Кривенко имел доступ к эксклюзивной

информации, которой он, надо думать, делился со своим другом. Например, именно В. С. Кривенко поручили составление официального описания путешествия по Востоку наследника цесаревича Николая Александровича, будущего Николая II. В качестве автора описания В. С. Кривенко был посвящен в такую щекотливую тему, как покушение на цесаревича в Японии. «Спрашивал у Кривенко: правда ли, что у государя головные боли, что на затылке образовалась шишка вследствие японского удара, — записал

А. С. Суворин 17 декабря 1896 г., далее передавая ответ собеседника. — Вздор. Государь сегодня был на охоте. Больной он не поехал бы»[61]. Описание появилось в *«Правительственном вестнике»*[62], а также вышло отдельным изданием[63]. Кроме *«Нового времени»,* очерки и статьи В. С. Кривенко печатали газета *«Московские ведомости»* (в 1892–1899 гг.), журналы *«Нива»* (1889) и *«Исторический вестник»* (1891). Некоторые очерки вышли отдельными изданиями — например, посвященный поездке автора на Кавказ[64] осенью 1888 г.

Смерть Александра III в 1894 г. и вступление на престол Николая II не отразились на положении В. С. Кривенко. Как и ранее, исполнение служебных обязанностей он успешно сочетал с литературным творчеством. В первые годы нового царствования вышли путевые очерки о поездках по Северному Кавказу[65] и Дагестану[66]. Высокое служебное положение

В. С. Кривенко существенно изменила Ходынская катастрофа — гибель сотен людей из-за давки на Ходынском поле в Москве 18 мая 1896 г., произошедшая при раздаче царских подарков по случаю коронации Николая II. Не будучи виновником этой катастрофы, В. С. Кривенко, тем не менее, использовал в сложившейся ситуации все свое влияние на И. И. Воронцова-Дашкова для того, чтобы хотя бы отчасти восстановить поколебавшийся авторитет императора и его двора. В. С. Кривенко высказался против посещения Николаем II бала во французском посольстве, намеченного на вечер того же дня, и выдвинул идею материальной помощи семьям погибших. «Государь, — отметил 18 мая А. С. Суворин, — дал на каждую осиротелую семью по 1000 рублей. Доложить в этом смысле государю посоветовал Воронцову-Дашкову В. С. Кривенко <…> Вчера В. С. Кривенко задержал статью для *"Русского слова",* где говорилось, что радоваться нечего, что следует печалиться об умершем императоре, который так много сделал. Сегодня Кривенко говорит: “Вот, накаркал этот господин!”. Многие хотели, чтоб государь не ездил на бал французского посольства, т. е., иными словами, чтобы посольство отложило свой бал ввиду

этого несчастия. Кривенко советовал это Воронцову-Дашкову и говорил: “Франция приобрела бы тотчас популярность, если б отложили этот бал"»[67]. Тем не менее, посольство бал не отменило, и Николай II на него все-таки поехал. На этом настояли старшие великие князья, которые в первые годы нового царствования оказывали на молодого монарха большое влияние.

Расследование Ходынской катастрофы привело к конфликту между московским генерал-губернатором великим князем Сергеем Александровичем и И. И. Воронцовым-Дашковым. В ходе расследования Сергей Александрович обвинил в ней министерство двора и лично И. И. Воронцова-Дашкова. В то же время министр двора — несомненно, с подачи В. С. Кривенко — считал ее виновником московского обер-полицмейстера А. А. Власовского, а следовательно, и его начальника, великого князя. Следует отметить, что Сергей Александрович имел в этот период большое влияние на молодую императорскую чету и к тому же был женат на родной сестре императрицы, великой княгине Елизавете Феодоровне. Видя, что император склоняется к точке зрения великого князя, И. И. Воронцов-Дашков попросил отставку. С. И. Сазонова писала А. С. Суворину 27 июня 1896 г.: «На этих днях решается судьба наших общих знакомых (Кривенко)»[68]. Тем не менее, хотя Николай II и окончательно занял сторону своего дяди, отставка министра двора тогда не была принята — император не хотел огласки. Она была объявлена И. И. Воронцову-Дашкову только через год, в мае 1897 г. — без нового прошения и потому неожиданно. Узнав об этом, подал в отставку и В. С. Кривенко, однако его отставку не приняли: новый министр двора барон В. Б. Фредерике высоко ценил его опыт и профессиональные качества. В том же 1897 г. В. С. Кривенко назначили членом Совета при министре двора. В этом качестве он и пребывал до 1917 г.

В 1899 г. именно В. С. Кривенко дают ответственное и важное поручение: редактирование *«Коронационного сборника»*— официального издания материалов о последней коронации[69]. За успешное выполнение этого поручения он, будучи 45-ти лет от роду, т. е. еще достаточно молодым сановником, получил чин тайного советника, до которого обычно дослуживались в более старшем возрасте. Вскоре В. С. Кривенко вновь выступил в качестве редактора в новом небывалом проекте — издании фундаментального исторического труда о деятельности Министерства императорского двора в царствование Александра III[70]. Это капитальное исследование было выполнено на высоком научном уровне и состояло из четырех томов: двух частей и приложений. В нем подробнейшим образом рассматривалась не

только институциональная, но и финансовая сторона каждого из учреждений в составе МИДв. Фундаментальность подхода подразумевала большое количество справочного материала, сведенного в разнообразные таблицы. Это издание заняло видное место в историографии МИДв, став единственным (и до настоящего времени) изданием, посвященным истории министерства в целом (хотя и только за один период).

Обязанности члена Совета при министре не были излишне обременительными, а потому В. С. Кривенко мог всецело отдаться литературному творчеству. Отставного сановника по-прежнему интересовали вопросы общего и военного образования[71] и учебного дела в целом[72]. В. С. Кривенко продолжал отдавать дань жанру путевых очерков, публикуя их в 1897–1898 гг. в *«Историческом вестнике», «Новом времени», «Русском вестнике»* и *«Санкт-Петербургских ведомостях»*. Позднее он объединил опубликованное в этих изданиях в рамках отдельной книги[73]. В 1901–1902 гг. В. С. Кривенко издал очерки, посвященные своим поездкам по железным дорогам[74] — в Ялту, Стамбул, по Прикаспию[75]. Статьи В. С. Кривенко публиковали популярные издания конца XIX — начала XX в.: газеты *«Новости»* (1896–1899 гг.) и *«Русский инвалид»* (1900-е гг.), журналы *«Всемирная иллюстрация»* (1897 г.), *«Театр и искусство»* (1899–1902 гг.). Участие В. С. Кривенко в последнем издании раскрыло новую грань его таланта — как театрального критика.

Заслуги В. С. Кривенко в области театрального дела получили к тому времени всеобщее признание: в 1890-е гг. он занимал пост председателя совета Русского театрального общества. Впрочем, в 1900 г. В. С. Кривенко вышел из этого общества из-за разногласий с А. С. Сувориным. «Разговор с В. С. Кривенко, — записал А. С. Суворин 17 февраля 1900 г., — который выходит из Русского театрального общества вследствие моей непочтительной заметки о маскараде в Мариинском театре»[76]. Тем не менее, и в дальнейшем В. С. Кривенко оставался заядлым театралом. Так, 9 марта 1908 г. граф И. И. Толстой отметил в своем дневнике, что сидел рядом с В. С. Кривенко на генеральной репетиции *«Кармен»* в Мариинском театре[77]. В качестве театрального деятеля В. С. Кривенко сыграл главную роль при положительном решении давнего вопроса об установке памятника основателю первого русского публичного театра Ф. А. Волкову. «В 1880 г., — отметил 21 февраля 1900 г. А. С. Суворин, — было заявлено желание поставить первому актеру Волкову памятник в Ярославле. Тогда не разрешили. Теперь Кривенко представил, и государь согласился»[78].

Помимо литературной и театральной деятельности, В. С.

Кривенко активно занимался благотворительностью. В 1900-х гг. он работал на руководящих постах в Обществе попечения о бедных и больных детях, Особом присутствии МВД по призрению нищих, Главном управлении Российского общества Красного Креста. В последнем учреждении В. С. Кривенко проявил себя как выдающийся деятель во время русско-японской войны 1904–1905 гг. Вероятно, не в последнюю очередь это было вызвано тем, что здесь ему снова довелось работать под руководством графа И. И. Воронцова-Дашкова, возглавлявшего Исполнительную комиссию Красного Креста.

Социальные катаклизмы начала XX в. обошли, казалось, В. С. Кривенко стороной: опубликованный им в 1905 г. очерк был посвящен такой далекой от «злобы дня» теме, как офицерский быт[79]. Однако с изданием манифеста 17 октября 1905 г., возвестившего о создании законодательной Думы, расширении избирательного права и даровании прав и свобод, политическое самоопределение В. С. Кривенко произошло довольно быстро. Типичный либеральный сановник, он, естественно, вступил в либеральную партию — «Союз 17 октября» (партию октябристов).

Литературное дарование В. С. Кривенко оказалось востребованным его сопартийцами. 28 ноября 1906 г. на заседании ЦК «Союза 17 октября», собранном для обсуждения «воззвания, составленного В. С. Кривенко», было «положено его направить в Литейный отдел [Петербурга] на тот случай, не пожелает ли он его использовать при рассылке опросных листков членам Союза»[80]. С 1907 г. В. С. Кривенко являлся членом Петербургского городского совета «Союза 17 октября» от Литейного участкового комитета. Еще больше сил отнимало у него участие в деятельности столичного самоуправления. В. С. Кривенко был гласным Петербургской городской думы (в 1907–1916 гг.) и Петербургского губернского земского собрания (1912–1916 гг.). В городской думе он играл одну из главных ролей. Показательно, в частности, что 28 декабря 1909 г. именно В. С. Кривенко приветствовал от имени петербургского самоуправления 1-й Всероссийский съезд по борьбе с пьянством[81].

Общественная деятельность В. С. Кривенко не мешала его литературному творчеству. В эпоху думской монархии он публикует повесть *«Инвалиды»*[82] и очерки о путешествиях по России, Западной Европе, Азии и Африке — *«По старой Руси», «Заграничные курорты», «В теплые края»*[83]. Своими путевыми очерками В. С. Кривенко закрепил за собой заметное место в современной ему русской литературе. «Живость зарисовок, слегка шаржированные портреты попутчиков, точно и характерно

воспроизведенные диалоги, легкость изложения, — подчеркивает исследовательница его литературного творчества, — неизменно обеспечивали очеркам Кривенко благожелательные отзывы»[84].

С началом в июле 1914 г. Первой мировой войны все внимание В. С. Кривенко сосредоточивается на благотворительной деятельности. Уже 28 июля 194 г. он — в Петроградской городской думе на заседании Особого присутствия по призрению семей запасных. Совместно со своими коллегами по городской думе В. С. Кривенко принимает участие в решении проблемы снабжения армии. В декабре 1914 г. он вошел в состав Комитета по сбору и распределению пособий на военные нужды, состоявшего под председательством столичного городского головы графа И. И. Толстого и обсуждавшего «вопрос о способах снабжения армии сапогами»[85]. Несмотря на громадную занятость, В. С. Кривенко не забывал о литературном творчестве. В это время его произведения были уже в основном приурочены к конкретным событиям. Так, он не мог не отозваться на смерть графа И. И. Воронцова-Дашкова, опубликовав о нем воспоминания[86].

В деле обеспечения нужд армии либеральные взгляды В. С. Кривенко облегчали ему деловые контакты с левой частью городской думы. Это было важно тем более, что многие руководители столичного самоуправления, в т. ч. сам городской голова И. И. Толстой, принадлежали к левым партиям, будучи прогрессистами и кадетами. В частности, 4 августа 194 г. И. И. Толстой имел «длинный разговор» с В. С. Кривенко. В тот же день в городской думе произошло собрание представителей попечительств о бедных. На собрании В.С. Кривенко «решился на уступки общественному течению», а потому, полагал И. И. Толстой, «совещание не пропадет даром». Во многом именно благодаря В. С. Кривенко столичное самоуправление с первых же дней войны поддержало, как и Государственная дума, политику «священного единения» власти и общества. Когда 15 августа 1914 г. в городской думе заседал Комитет по сбору и распределению пособий, в котором впервые принял участие председатель Государственной думы М. В. Родзянко, присутствующие его «приветствовали, — засвидетельствовали. И. Толстой, — по предложению Кривенки, в своей среде».

Политические взгляды В. С. Кривенко периода войны на фоне резко полевевшего общественного сознания выглядели консервативнее, чем были на самом деле. На состоявшемся 19 августа 1914 г. в городской думе заседании Комитета по распределению пособий семьям запасных присутствовали председатели всех петроградских попечительств о бедных. Кадет

А. И. Шингарев доложил «о действиях попечительств в деле помощи семьям запасных, о замеченной несогласованности их и о мерах, требуемых ответственностью переживаемого момента». Предложение А. И. Шингарева подразумевало объединение попечительств не столько в целях благотворительной, сколько политической деятельности. Кадетские планы, записал И. И. Толстой, «встретили отпор со стороны Кривенко» и «некоторых других председателей попечительств, фанатично держащихся принципа полной и ничем не стесняемой автономии этих учреждений». В. С. Кривенко и его единомышленниками было сказано «много "кислых" слов», поскольку они, полагал И. И. Толстой, оказались «оскорбленными в своем самолюбии». Характерно также, что на состоявшемся 18 декабря 1914 г. заседании Комитета по сбору и распределению пособий на военные нужды, под председательством И. И. Толстого, при рассмотрении проблемы снабжения армии сапогами В. С. Кривенко выступил «с горячей защитой» казенных заготовителей — генералов Д. С. Шуваева и П. А. Фролова. Несмотря на конфликты с левыми гласными и покровительствовавшим им городским головой, отношения В. С. Кривенко с последним продолжали оставаться весьма близкими. Показательно, что 26 апреля 1915 г. он завтракал с И.И.Толстым[87].

Либеральные взгляды В. С. Кривенко делали его сторонником оппозиционной общественности и реформаторского курса — ради достижения победы в затянувшейся войне. В августе 1916 г. он писал: «Необходимо дать возможность развернуть дремлющие силы. Хочется твердо верить, что наше отечество без потрясений закономерным путем совершит мирную революцию, благодаря которой станет жить легче, и мы избавимся от иноземной экономической кабалы». «Писал это, — возмущенно подчеркивал дворцовый комендант Николая II В. Н. Воейков, — бывший начальник Канцелярии Министерства императорского двора В. С. Кривенко»[88]. Вера в необходимость мирного обновления для России, несомненно, облегчила для В. С. Кривенко принятие факта падения в феврале 1917 г. романовской монархии, которой он когда-то служил не за страх, а за совесть.

После Октябрьской революции 1917 г. В. С. Кривенко не эмигрировал, остался в Петрограде. Он работал экспертом городского благоустройства в Петроградском Совете коммунального хозяйства, состоял членом совета Общества взаимопомощи ученых и литераторов. Продолжая литературную деятельность, в 1919 г. он поместил несколько заметок в газете *«Вестник литературы»*. После 1920 г. В. С. Кривенко написал воспоминания *«В Министерстве двора»,* судя по всему, по заказу

журналиста Л. М. Клячко (Львова), подвигнувшего, с благословения наркома просвещения А. В. Луначарского, бывших сановников к подготовке своих мемуаров. По неизвестной причине воспоминания В. С. Кривенко отложились не в фонде Л. М. Клячко в Российском государственном архиве литературы и искусства в Москве, где имеется целая коллекция подобного рода воспоминаний, а в фонде Собрания отдельных поступлений Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Умер В. С. Кривенко в 1931 г. в Ленинграде. Такова необычная судьба автора необычных мемуаров, представляемых вниманию читателей в настоящем издании.

I. Вдали от родных (из моих воспоминаний) [89]

1

…Мои два старшие брата были уже в кадетском корпусе[90]; я знал, что и мне не миновать той же участи.

Мысль о расставании с родителями, с Кавказом, с товарищами детства меня ужасно пугала[91]. К этим тревожным думам присоединялся и страх перед экзаменами. N-ский корпус[92] был там, далеко, далеко — «в России». О железных дорогах на окраине тогда и помину не было, а на лошадях приходилось ехать до N около двух недель. Ввиду дороговизны и продолжительности путешествия, братья не могли приезжать даже на каникулы, и меня некому было посвятить в кадетскую жизнь и экзаменационные требования.

Два года тому назад мой брат, уезжая в далекий корпус, обливаясь слезами, написал на ставне нашей классной комнаты месяц и число отъезда: 17-го июля. Приблизительно около этого времени должен был двинуться на север и я. Как мне хотелось отдалить это страшное «17-е июля»! Но дни проносились неимоверно быстро, и срок наконец настал. Мне все казалось, что вот, вот что-нибудь помешает. Увы, дорожный экипаж уже выкатили из сарая. Денщик Абдулка при помощи отца и матушки укладывал вещи. Тоскливо сжалось мое сердце, и я опрометью бросился на Набережную. Никогда мне не казался так красив вид на весело зеленевшие внизу сады, на улыбающуюся цепь гор, на синее, видневшееся вдали, Каспийское море… Проскрипела арба горца, прошли два солдатика, пробежал вприпрыжку «к учителю» один из моих товарищей. Как я завидовал им! Они остаются здесь, а я?! Бедный я, бедный мальчик! Мне нестерпимо стало жаль себя, я готов был разреветься; но из-за палисадника показался священник с доктором; они шли к нам напутствовать в дорогу. За молебном матушка страшно разрыдалась, сестра и бабушка также плакали. «Господи, точно хоронить собрались», — озабоченно повторял отец. Он крепился, но я видел, что ему было далеко не по себе. «И зачем это — мелькало в голове — понадобилось везти меня в корпус. Вот товарищи мои остаются же здесь, поступят в юнкера, будут офицерами. Счастливцы!..» Молебен кончен. Все присели на минуту, а затем началось прощание. Матушка поехала провожать нас верст за семь «до спуска». Это была традиционная граница для провод. Здесь мы простились.

Приходилось расставаться лет на восемь, а быть может и более; расставаться с матерью десятилетнему ребенку с тем, чтобы впоследствии встретиться почти уже взрослым и чуть ли не

чужим. Ведь это страшнее рекрутчины! Тяжело было мне, каково же отзывалось это на сердце бедной матушки.

Простившись с провожавшими, отец взял меня за руку, и мы тихо стали спускаться по капризным зигзагам каменистой дороги. В последний раз показался милый образ матушки, мелькнул платок, и горный уступ окончательно закрыл вершину. Я судорожно припал к отцу и не мог двигаться далее. Сильные руки бережно подхватили меня, и я очнулся уже в экипаже.

3-го августа 186* года я с отцом подъезжал к городу N[93]. Проведя детство в горах, мне не доводилось видеть городов, и потому я с особенным интересом разглядывал диковинки в Ставрополе и Харькове. N уже меня нисколько не удивил. Мои мысли заняты были экзаменом и скорой встречей с братьями. Братья гостили у знакомого в деревне, куда и мы с отцом предполагали проехать, после моего «определения». Всем существом своим желал я избавиться от будущего заключения в заведении и убежать из России туда, на родной Кавказ. В моем воображении живо представлялся наш белый домик, окутанный акациями, а в палисаднике на скамейке горько плачущая матушка. Становилось нестерпимо больно и грустно… 7-го августа меня повели на экзамен. Громадное, с белыми колоннами здание корпуса меня окончательно придавило. Из внутренних помещений доносился гул сотен голосов. Приходилось подниматься и опускаться по монументальным лестницам и путаться по бесконечным коридорам, полным для меня тревожной таинственности. Встречавшиеся кадеты, казалось, смотрели насмешливо и вызывающе. Я боязливо жался к отцу и считал себя несчастнейшим в мире существом.

Перед экзаменом всем поступившим делали телесный осмотр. Я что-то очень много говорил доктору о постоянном страдании лихорадкой, о колотьях в боку и еще о чем-то. Однако мои ухищрения не повели ни к чему. Сухой немец доктор Б[ухгей]м признал меня здоровым.

Теперь на экзамен. При слушании ответов сверстников робость моя прошла: они не особенно-то, оказалось, отличались в знаниях. Несмотря на плохие ответы некоторых, все экзаменующиеся были приняты, так как конкуренции не было никакой.

Со вторым братом мы встретились задушевно и звонко расцеловались. Старший брат, конечно, также очень рад был меня видеть, но старался походить на истинного кадета «закала» и, силясь выдержать роль, сдерживал братские чувства. Сначала это меня неприятно поразило, но когда второй брат через час посвятил меня в первые тайники кадетской жизни и в значение

брата «мускулиста», то я тотчас же проникся особым уважением к нему. Всякий его поступок казался мне совершенством. Как приятно, думалось мне, быть родным братом настоящего закала!

Итак, я определен в корпус, — кадет, «новичок»…

Первые дни по поступлении в корпус привезшие детей отцы, матери, родственники усиленно посещали нашу роту, в особенности во время прогулок в саду. Плачущие группы виднелись то там, то здесь. Офицеры-отцы выдерживали себя; обыкновенно чинно читали наставления своим сыновьям, заплаканным, со ртом, набитым пирожками или конфетами. Матери же плакали сильно. Да и как было не плакать! Когда-то придется свидеться?

Через неделю посетителей стало меньше: начался отлив из корпусного города по домам. При расставании с отцом или матерью новичку допускалось похныкать, но на этом он и должен был закончить. Кадет и рюмза — понятия несовместимые.

Мой отец не мог долго оставаться в N и дней через десять после «определения» уехал. Накануне отъезда мы долго беседовали, строили планы на будущее, мечтали о том, что отец получит командировку «в Россию», приедет к нам и, быть может, привезет и матушку… На другой день отец помолился с нами, перекрестил нас, крепко, крепко расцеловал и грустный, с поникшей головой, уехал из N, уехал навеки. Больше мы не видели отца. Он вскоре заболел, а через четыре года его не стало…

Длинные, терявшиеся где-то далеко коридоры, громадные рекреационные залы и дортуары наводили на меня сначала положительный ужас. Но к этому я скоро присмотрелся, ознакомился со всеми уголками этого строения, сжился с ним и полюбил его.

Шумная, сотенная масса стриженых кадетских голов по первому впечатлению меня ошеломила, рябило в глазах, но уже на другой, на третий день среди общей пестреющей галереи лиц стал выясняться более и более то тот, то другой кадетик. Знакомство завязывалось необыкновенно живо, переходило в дружбу, перемежалось драками и миром.

— Новичок, как ваша фамилия?

— N. N.

— Давай говорить на ты.

— Давай.

— Хочешь дружиться?

— Хочу…

Все шло по доброму обыкновению. Приятельские отношения, завязанные в эту пору, остаются на всю жизнь, и корпусное «ты»

не может уже измениться никогда на холодное «вы».

Проведя нисколько дней в корпусе, я стал с замечательным почтением относиться к воспитанникам старшей, первой роты. В то время как вполне взрослые люди оставались в моих глазах обыкновенными смертными, старшие кадеты казались и мне, и моим товарищам какими-то гигантами, циклопами, за спиной которых таились целые легендарные похождения.

— Боровской Чеснока (дневального солдата) исколотил. Тот не позволял ему в ламповое масло хлеб обмокнуть, а Боровской ка-а-ак даст ему…

— Ну-у? дай честное слово!

— Чес-с-со слово.

И за обедом, когда все роты собираются в столовый зал, мы, неранжированные, с удивлением глазеем на Боровского, этого героя, победившего мозглявого, в сущности, гарнизонного солдата. А Боровской, зная, что им любуется корпус, идет к столу истым кадетом: ноги у него колесом, размах руки особенно-характерный, такой, который бы доказывал, что он «мускулиста»[94]; куртка намеренно испачкана, локти прорваны. Входя в столовую, он и другие «закалы» производят какой-то особый шум, не то мычание, не то гоготанье и шарканье ногами по полу. Что это обозначает, неизвестно; но не могут же они просто и тихо войти.

— Молодчина Боровской, — заключаем мы.

— А Кленович сильнее его! Вчера я встретил его в церковном коридоре, он как посмотрит на меня, так я «такой дралки задал».

Начинается спор, кто кого сильнее.

— Иванов и Василенко — без пирога! — объявляет ефрейтор, сидящий за старшего, и действительно мальчики остаются без сладкого, которое судья и помещает к себе на тарелку или отсылает в первую роту, быть может, тому же Боровскому или Кленовичу.

Басы пользовались также равным с «закалами» почтением, тем более что обыкновенно им приписывали и исполинскую силу. «Октавист», т. е. второй бас, — это было существо недосягаемое. «Как пустит октаву, так все и задрожат; честное слово, архиерейские певчие приходили слушать…»— вспоминал кто-нибудь о вышедшем уже из корпуса певчем, и все внимали, и все охотно верили.

Тяжело доставалось смирным воспитанникам от сверстников-«закалов».

— Новичок, в бабки играл? — Упаси Боже ответить утвердительно. «Бабочник», «пшик» (поляк) и «подлиза» — были наиболее жестокие ругательства.

«Эй, бабочник! бабочник!» — пляшет кадет перед новичком и близко, близко от лица делает какие-то пасы. «Воздух казенный! Воздух казенный!» — при этом прибавляет мучитель. Беда разреветься или пожаловаться — это считалось крайне низким поступком. Мирно относиться также невесело; потасовка за долготерпение не уменьшается. Неприкосновенность личности не признавалась, и тумаки можно было получить так, здорово живешь.

«Передай дальше!» — раздается за столом, в строю или классе, возглас, присоединенный к толчку или щипку. Как бы по электрическому току, передается удар, пока не остановится на злополучном, который боится хватить соседа или замечен начальством… На обиды и побои некоторые все-таки жаловались дежурному офицеру. — «Станьте на середину»! Правый и виноватый помещались под лампу в зале и грустно посматривали на хихикающих кадет.

Для нехороших шалунов режим безнаказанности был вполне на руку. Благо, у кого был брат в старших классах; такого боялись трогать, во избежание должного возмездия.

Находились, впрочем, и защитники угнетенных. У нас в неранжированной роте этим отличался кадет Шлинк по фамилии, «Таран» — по прозванию. Несмотря на то, что он числился еще кадетом «первого общего класса», ему перемахнуло уже за четырнадцать. Шлинк считался замечательным «мускулистом». В науках не успевал и при двенадцатибальной системе упорно ограничивался лишь пятибальной. Несправедливости не любил и потому, если ему приходилось видеть драку, то он налетал и «двигал» сильнейшего. За стремительность и разрушительное действие этих движений и овечьи умственные способности его и прозвали Тараном. Как-то Шлинк примостился к читающей группе и услышал отрывок, в котором воспевались подвиги Ричарда Львиное Сердце. С этой минуты наш «мускулист» решил походить на героя-крестоносца и в тот же вечер ухитрился вытравить себе на руке крест. Вся рота благоговейно ходила смотреть руку Шлинка. Дневальный Чеснок также полюбопытствовал взглянуть, как это «вышкварено мясо». Каптенармус, из выкрестов, Тишлер, донес дежурному офицеру. По счастью, это был поручик Р. — страстный любитель романов. Он сначала не поверил, потом потребовал «крестоносца», посмотрел на руку и заметил, что надо бы доложить Адаму Осиповичу [Бонецкому], да высечь. Однако поручик, видимо, был тронут геройством и за завтраком Шлинку прислал стакан чаю и булку.

Как тяжело в осенние и зимние месяцы подниматься в полутьме, в 6 часов утра. Гремит барабан повестку, а через четверть часа зорю.

«Вставать!» — раздается повелительный оклик дежурного офицера, затянутого уже в мундир. Старательные кадеты при первых еще звуках повестки вскакивают и быстро одеваются; большинство же не так легко на подъем. Еле протерши глаза, ребята кучками бредут чистить сапоги и пуговицы на куртке.

В маленьком коридоре стоят несколько грязных скамеек, на них расставлены тарелки с рыжей ваксой, протертые щетки и толченый кирпич. Подле скамеек толкотня, возня, спор из-за щеток и гербовок (особых дощечек для чистки пуговиц). Тут же, на подоконнике, приютился старик портной в очках, на шее у него целый ворох суровых ниток, в толстом стеганом жилете заткнуто несколько больших иголок, обмотанных нитками. Его обступили кадеты. Старик, обыкновенно, копается над какой-нибудь заплатой на куртке ранее всех подоспевшего счастливца; другим же приходится вооружаться иглами и заняться ремонтом своей одежды.

Более предусмотрительные и заботливые воспитанники с вечера почистили уже сапоги и платье, теперь бродят по рекреационным залам и «подзубривают». Дневальные солдаты, составлявшие нашу прислугу, за незначительную плату чистили сапоги и платье двум-трем кадетам, имевшим возможность платить им за это.

Но вот «чистильная» заметно пустеет. Народ все больше густится подле громадного медного круглого рукомойника. На верхней части его виднеются куски серого, простейшего мыла; бутылки с невообразимым, никем не трогаемым бурым полосканьем и тарелки с черным зубным порошком. Претендентов больше, чем мест. Опоздавшие с нетерпением ждут очереди. Скоро нужно становиться в строй. У рукомойника стоит содом. Дежурный офицер перешел уже в зал: шалить, значит, можно свободно. Гоняются друг за другом вокруг рукомойника, брызгают водой. Все идет благополучно, пока, по нечаянности, шалуны не окатят водой какого-нибудь «мускулиста». Следует трепка.

«Строиться!» — доносится приказание дежурного. Все тянутся в зал. Начинается осмотр. Расстегиваются куртки. Осматривают, все ли пуговицы. Поворачивают направо и налево; причем надо поднимать соответствующую руку, дабы осмотреть, не порвана ли куртка «под мышками».

После осмотра — утренний завтрак: булка, жидкая кашица, иногда сбитень; в мае месяце — молоко.

В кадетском обиходе булка и леденец были единицами мены. «За полбулки… за два леденца… за две булки…». Эти выражения слышались зачастую в разговоре. Даже и начальство редко оставляло без булки — до того это считалось законной принадлежностью воспитанника. Вес и размер булки настолько был усвоен кадетами, что всякое отклонение в отрицательную сторону подмечалось моментально, и кадет, сознавая свое право, требовал эконома. «Это несправедливо, несправедливо, Иван Иванович, смотрите, маленькая булка…» И эта жалоба, после небольшого пререкания, обыкновенно удовлетворялась.

После завтрака нас вели в роты брать книги и тетради, а оттуда, строем, в классы. Преподаватели были хорошие, были и дурные, конечно; в общем, грешно было жаловаться на них. Один из учителей, именно русского языка, Степан Иванович Пономарев, был даже положительно редкий педагог. Обучение у него шло все в классе, «на дом» он не давал заучивать, а разве лишь выписать некоторые слова. Стихи и басни учили тут же на лекции, нараспев.

Степан Иванович был для нас солнечный луч в суровом сумрачном кадетском обиходе. Зато как же мы и любили дорогого преподавателя!..

Удивительно непроизводительно убивали мы время на изучение французского языка. Несмотря на массу уроков, успели «пройти» за год лишь спряжения правильных глаголов и затвердили перевод одной странички из 2-й части учебника Марго; і-й же части так и не касались.

Законоучителем у нас был добрейший отец диакон, который, боясь простуды, носил всегда на шее небольшой шарф. Кадеты не могли удовольствоваться таким простым объяснением и уверены были, что когда-то отец Гавриил при архиерее «закатил такое многолетие», от которого сам соборный протодиакон чуть в обморок не упал; зато у нашего диакона «порвалась жила», и он с тех пор должен перевязывать горло.

Пользуясь добротой диакона, мы вступали с ним в беседы и нередко жаловались на суровую жизнь, на плохую еду, на холод в спальнях. — «А ты куда готовишься? В офицеры? Так как же ты на войне будешь терпеть! Надо смолоду приучать вас и недоедать, и мерзнуть…» — убежденно защищал он беспорядки.

Во время уроков старательные сидят на передних скамьях и внимательно следят за учителем. Сзади же, в «Камчатке», расположены беззаботные. Тихая, чуть слышная вначале, возня постепенно усиливается. Раздается бренчание на перьях, вставленных в виде клавиш в стол; «давят масло», сжимая в середине сидящих, пока невытерпевший не крикнет и за это

преподавателем не будет поставлен к доске.

Химики приготовляют в кадетской пуговице смесь из толченого стеарина и чернил, при удобном случае состав поджигают и пуговица летит фейерверком по классу.

— Кто это сделал?

В ответ гробовое молчание.

— Ага, пожалуйте-ка все с последней скамьи сюда, к доске. — Гуськом тянутся обреченные на заклание. Уроков не знают. — Похвально, похвально, а дубину (единицу) хочешь?

— Николай Петрович, я не мог приготовить, голова болела, — мычит какой-нибудь камчадал.

В классе тихо. Уныние распространяется среди рядов начинающих «закаливать» себя кадет. Вдруг раздается повестка. О, счастье! Моментально все загудело и летит вон из класса. В пятиминутную перемену что-то невероятное происходит в коридоре.

Предприимчивость шалунов была удивительная. Однажды все отделение обратило внимание на озабоченность двух самых записных школяров; видимо, они были заняты серьезным делом; когда пришел учитель и все смирно уселись по скамьям, то вдруг раздался глухой звон. Все кадеты радостно переглянулись: «здорово!» Преподаватель стал прислушиваться. Все смолкло. Но лишь только он приступил к занятиям, как звон вновь повторился. Желая моментально обнаружить проказника, он приказал всем поднять руки. Приказание исполнено, но звон стал еще громче, и теперь мы поняли, что звук выходит из шкафчика, стоявшего в стороне от ученических скамей, подле кафедры.

Преподаватель бросился в коридор и скоро вернулся с Адамом. Мы встали, вытянулись и безмолвствовали, а звон не прекращался.

Вслед за Адамом каптенармус Тишлер подкрался к шкафчику и открыл там медный подсвечник. Донышко изображало колокол, а языком служила вывинченная верхняя часть подсвечника. К языку был проведен искусно шнур, другим концом привязанный к ноге школяра… Высекли; но зато даже и старшие кадеты приходили смотреть знаменитый шкафчик.

Ротный командир, капитан Адам Осипович, в сущности, был не злой человек, но считал нужным как можно строже подтягивать неранжированную роту; кадетам от него доставалось немало, причем некоторые ходили для расправы «в цейхгауз»… В кадетских разговорах капитан шел просто за «Адама»; жену же его окрестили «Евой». Если случалось Адаму увидеть насупившегося новичка, не шалуна, то он ласково беседовал с мальчиком, старался приободрить, иногда даже приглашал к себе на квартиру

обедать. У Евы были какие-то целебные капли, которыми, случалось, она угощала недомогавших кадетиков.

Лучших учеников в каждом «отделении» назначали «старшими», которым предоставлялось следить во время отсутствия преподавателя за порядком, записывать виновных, донося об этом начальству. Кроме этого, на старшего возлагалась обязанность получать для кадет новые тетради взамен исписанных. Во избежание вторичного представления вахтер Бондаренко прокалывал большой булавкой законченную тетрадь.

В 12 часов нас вели в зал, куда приносили корзину с кусками черного хлеба. Служитель шел между шеренгами, и каждый кадет мог взять один кусок; но ловкачи ухитрялись выловить два и даже три.

— Славные сухари будут, в трубе высушу… слышался в строю шепот счастливца.

Строевые занятия в нашей неранжированной роте ограничивались так называемой «одиночкой» и маршировкой.

После занятий весной и осенью приятно было вырваться в сад или на плац, но поздней осенью и зимой водили по городу, по улицам. По узким, обмерзшим деревянным тротуарам торжественно тянулась длинная, черная цепь кадетских пар.

Разносчики и торговки с лотками и корзинами ловко укрывались от глаз начальства и умудрялись продавать нам незамысловатые лакомства.

После гулянья несколько кадет обязательно двигались в цейхгауз для примерки платья и сапог. Последние шили не по мерке. Приходилось выбирать из громадной кучи и ссориться с каптенармусом. Но пререкаться долго некогда, слышна повестка к обеду. Некоторые озабочены своим туалетом, стремятся примочить водой вихры и почистить куртку.

Мерно раздаются шаги четырех рот, марширующих по коридорам к столовому залу. Лестницы расстраивают строй, слышится разговор, дежурному не видно, кто шалит, прыгает по ступенькам, а иной рискует спускаться по перилам. С верхней площадки раздается окрик: «не разговаривать, идти в порядке! При входе в залу стоит батальонный командир, роты подтягиваются, «берут ногу» и, стройно отбивая ногами такт, втягиваются в промежутки между длинными столами. По сигналу на молитву из первой роты доносится басистый запев: «Очи всех», ближайшие соседи подхватывают «на Тя», и уже слова «Господи, уповают», — громко выкрикиваются всем корпусом. Молитва окончена, и треск барабана сливается с шумом отодвигаемых скамеек. Из буфета, соединенного аркой со столовой, вылетает целая фаланга служителей с дымящимися оловянными мисками.

Славно, если борщ; а вдруг манный суп с перьями, бррр… На второе очень бы хотелось получить блюдо, называвшееся бифштексом. Котлеты из вареной говядины и поджаренные куски вареной же говядины не одобрялись кадетами. Что-то будет сладкое? Отлично бы слоеный пирог с вареньем, хорошо бы и гречневую кашу с маслом. Две ягодки вишневого варенья помещались поварами сверху слоеной лепешки, и большинство кадет, лакомясь пирогами, осторожно обходило вишни, сберегая их до последнего, рокового глотка… Масло через небольшое отверстие в особой машине выдавливалось в виде закругленной палочки и разрезалось на небольшие порции. Процедурой этой, а равно и резкой хлеба занимался буфетчик Михеенко. У него можно было поживиться горбушкой и до обеда, но в буфет запрещалось ходить. Держалась легенда об одном кадете, который смело прошел по карнизу целого громадного этажа, через окно влез в буфет и заполучил «две здоровых горбушки» от Михеенки.

Возвращение от обеда было всегда довольно шумное. Окрики насытившегося дежурного слышались реже.

Что было для нас утомительно — это послеобеденные лекции. Голова работала плохо. Сонливо сидели бедные кадеты, пригвожденные, вместо отдыха, к классной скамье. В эти часы обыкновенно набиралось гораздо более неудовлетворительных отметок, чем поутру.

В послеобеденное рекреационное время устраивались игры. Играли в чехарду, в жгуты, прыгали через табуретки. На сравнительно небольшом пространстве толпилась сотня мальчиков, желавших расправить свои члены и задать гимнастику легким. Шум, гром, крики, вопли — все это не смолкает вплоть до начала вечерних занятий. Привычный к кадетскому гаму дежурный офицер и тот удалялся в коридор, по которому чинно расхаживали «примерные» воспитанники. Иногда туда же выскакивали не сдержавшие свой пыл шалуны; бедные! Они летели, как бабочки, прямо на огонь. Дежурный неумолим и моментально направлял их «на середину»… Пренеприятно и глупо стоять смирно под лампой в то время как вокруг шмыгают и дразнят товарищи. Подходили к офицеру и обиженные кадеты с жалобами: «Он меня, Роман Иванович, ударил; запретите ему драться…»

— Я его не трогал, он сам пристает…

— Пошли оба «на середину!» А ты еще разговаривать?!.. Вот я тебя в карцер отправлю, — коротко и справедливо решает дежурный.

Преподавание в классах еще могло считаться сносным, но

зато приготовление к урокам было обставлено печально.

В ротном рекреационном зале стояли подле стен длинной вереницей крашеные столы на 8 человек каждый.

Своеобразный гул носился по громадной комнате, тускло освещенной двумя висячими масляными лампами, кроме того, на столах кое-где виднелись казенные стеариновые свечи. При такой полутьме трудно было заниматься, приходилось покупать свечи, а если не было денег, то выменивали огарки за булку. Впрочем, многие кадеты ухитрялись и при казенном освещении читать и писать.

Дежурный офицер, затянутый в мундир, или дремал в углу над романом, или похаживал по залу, посматривая, чтобы кто-нибудь не посмел встать со своего места.

Обратиться к офицеру с вопросом за разъяснением заданных уроков было в лучшем случае бесполезно, а то попросту рискованно, так как это принималось за насмешку.

Уроки нельзя было назвать обременительными, и воспитанники самых посредственных способностей справлялись с приготовлением без репетиторов. Во всяком случае, наиболее способные считали себя как бы обязанными помогать обращавшимся к ним товарищам. Я не помню примера, чтобы кто-нибудь отказал в такой, конечно, совершенно безвозмездной, помощи. Беззаботные воспитанники упивались чтением романов. Иметь книги, кроме учебников, строго запрещалось, и потому во время чтения приходилось маскировать роман — задачником, «Margo» или «Ушинским». Во время вечерних занятий, втихомолку, передавались толчки от стола к столу, пересылались открытые записочки, украшенные детскими карикатурами; циркулировали даже письменные приказания и воззвания «закалов».

Особенное оживление царило среди кадет, когда устраивали «бунт».

«Сегодня, господа, экономy бунт устроить», — приходит приказание из первой роты. С лихорадочным нетерпением ожидаем мы ужина. «Вот здорово-то будет!»

Вечером, действительно, в столовой, при появлении экономa, начинается шум.

Дежурный по корпусу поднимает роты из-за стола и заставляет стоять в ожидании командира батальона, лысого почтенного старика.

Полковник знает всю тщету отыскивать виновного и потому, покричав на нас, оставляет всех огулом «без отпуска». Мы, маленькие, проникаемся страхом; в рядах старших кое-где раздается шарканье ног и гул народа на сцене. Во избежание

дальнейших осложнений следует приказ вести кадет в роты, куда все возвращаются в возбужденном состоянии, и долго еще в спальнях раздаются разговоры.

— Что это за бунт?! Вот, говорят в *ском корпусе директора побили, всех офицеров выгнали. Там весь корпус оцепили солдатами с ружьями, честное слово. Судили, цц!.. вот здорово!..

— Господа, в 1-ой роте бунт! — электрическим током пронеслась вдруг среди нас во время вечерних занятий радостная весть.

Вот пробежали два каптенармуса, злейшие враги кадет, фискалы по призванию. Один из них Тишлер, юркий еврейчик с вечно бегающими плутоватыми глазами; другой — «Циклоп», рослый, рябой унтер, с бельмом на глазу.

От них ничего не удалось узнать. Фискал предусмотрительно успел запереть дверь в церковный коридор, откуда можно пройти в другие роты. Дневальный Чеснок, стоя у этих дверей, дает некоторые разъяснения.

— Гарнадеры (1-я рота) требуют директора до себя.

— Ну, что же?.. Пришел директор?

— А вам что?!

— Чеснок, Чесночок, ну скажи, что же делают, — просят солдата обступившие его кадеты.

— В нашего Адама табуреткой пущали.

— Табуреткой?! Куда же ему попало?

— Так он будет ждать, чтоб попало… То-о-же… дурня нашли, — обидчиво замечает дневальный. — Увернуться Адам успел.

Только было хотел разоткровенничаться Чеснок, как подлетают к нему школяры.

— Чеснок, отвори!

— Ну, убирайтесь, господа! Пащенко, не трожьте! до дежурного зараз побижу!

Происходить возня.

— Это что за картина! — раздается голос дежурного офицера. Пащенко и Шульце, закрыв лицо руками, чтобы не быть узнанными, стремглав проносятся мимо дежурного. Но коварный, раздосадованный Чеснок «вже докладає». Оба школяра вскоре стоят «на середине», издали показывая языки и грозя кулаками Чесноку.

На другой день от старших воспитанников узнаем некоторые, конечно, раздутые, но для нас вполне достоверные подробности бунта. Старшие кадеты требовали каких-то льгот. Директор [барон А. Б. А. Икскуль фон Гильденбандт] явился сам и когда начал им делать замечание, то Боровской, будто бы, бросил в

генерала Рейфом (словарь Рейфа), но книга перелетела через голову. Директор сделал вид, что не заметил этой ужасной выходки. В дежурного по корпусу, нашего Адама, когда он поднимался по лестнице, кто-то бросил с площадки табуреткой, которая разбилась, но не попала, к счастью, в капитана. Адам очень испугался, ходил к Еве принимать успокоительные капли. Виновного не только не нашли, но и кадеты сами не могли узнать, кто это покусился чуть не на жизнь бедного капитана. Некоторые уверяли, что это Тишлер (каптенармус) пустил табуретку, чтобы «выписать в расход» им ранее сломанную. Легендарной табуретки, однако, кажется, никто из кадет не видел.

Директор корпуса, старик генерал, казался нам, неранжированным, существом недосягаемым. В корпусе мы, по крайней мере, «мальцы», его видели лишь в высокоторжественные дни в церкви. Каска с пышным плюмажем, расшитый мундир, покрытый звездами, и красные с золотыми лампасами брюки директора производили на нас, «приготовишек», сильное впечатление.

Говорили, старик был добрый человек. Действительно, жестоких сечений у нас за время его начальствования не практиковали, и многие из нас, кадет, не вкусили березовой каши.

На вечерних уроках по субботам кадеты с особенным интересом прислушивались ко всякому шороху в коридоре. Наконец дверь стремительно отворялась сторожем, и в класс входил инспектор классов, полковник, с толстым туловищем, подоткнутым тоненькими, тоненькими ножками. Он приносил с собою журнал и читал баллы, полученные воспитанниками за неделю. У многих лица бывали подернуты сосредоточенной грустью. Нужно, однако, отметить, что страдания были лишь нравственные, без прибавки березовой каши. Телесное наказание применялось лишь к закоренелым лентяям. В нашем классе несчастие это постигло двух братьев Лешиных — «рыжих орангутангов» и несчастного Костича.

«Рыжие орангутанги» никак не могли осилить премудрости приготовительного класса и впоследствии, при преобразовании корпуса в военные гимназии, были исключены[95]. Несмотря на это, один из них, благодаря только что открывшемуся тогда юнкерскому училищу, был ранее сверстников произведен в офицеры в армейский уланский полк. Помню, мы, одетые в мешковатые пиджаки, с завистью глядели на его красный лацкан и медные эполеты.

Костич, сын генерала, болезненно-нервный и мало способный

мальчик, входил часто в какой-то раж и тогда неистовствовал. Отца он любил очень и писал ежедневно ему письма; бумаги при этом изводил целые дести, чем смешил детвору. Костич не мог написать строчки, чтобы не сделать громадного клякса, моментально он комкал лист и отбрасывал в сторону. Школяры поднимали бумагу, читали, издевались. Костич, страшно заикаясь, требовал не мешать и затем вскоре бросался и царапал ногтями мучителей. Тяжело вспомнить эти сцены обоюдной детской жестокости… Приступы бешенства стали чаще и чаще овладевать бедным мальчиком. Когда за плохие баллы ротный командир приказал отвести Костича «в цейхгауз» и высечь, то заика бросился на каптенармуса и на дежурного офицера. Визжал, царапал… Его высекли… Вскоре приехал старик Костич и увез сына домой. В субботу, после всенощной, разрешалось брать из библиотеки книги для чтения. Воспитанникам предпочтительно предлагали *«Журнал военно-учебных заведений»* в желтой обертке, украшенной арматурами. Журнал этот пользовался прежде большой популярностью, его читали не без удовольствия и в мое время; но сказочные рассказы из американской жизни привлекали кадет значительно более. Майн Рид только что начал тогда проникать в корпус, и у нас стали появляться отчаянные «краснокожие». Какую-нибудь *«Черную Пантеру»* стремились читать десятки кадет, и между ними были такие, которые ранее никогда ничего печатного, кроме учебников, не хотели знать. Приходилось читать вслух. В роте стали слышаться зачастую неистовые звуки — не то завывания, не то рыдания — это обозначало воинский крик индейцев, собиравшихся «скальпировать белых». Краснокожие потрясали линейками, воображая, что в руках у них тамагавки, и, гикая, отплясывали «воинственный танец».

После недельных занятий субботний вечер приносил приятный отдых; но наступало воскресенье, и уже после обедни чувствовалось приближение сурового понедельника с длиннейшими «уроками».

Тоскливо было в корпусе по воскресеньям. В отпуск мне было не к кому ходить; до игр я не был особенный охотник; «интересные книжки» не всегда можно было достать. Придет один из братьев, потолкуем, вспомним про домашних, про Кавказ. Еще сильнее пригорюнишься… Кроме того, и волчий аппетит, не перебиваемый уроками, заставляет учащенно посматривать на часы. У кого задержались деньги на «руках», тот посылает дневального солдатика «за покупками». Для кадет и гривенник считался значительной ценностью. Еще бы! Трехкопеечный розан и пятикопеечная кровяная колбаса — это «шикозная вещь»,

заставлявшая многих завидовать счастливому их обладателю. Две копейки обыкновенно уплачивались посыльному «за проходку».

В каждом отделении были специальные «канюки», которые при виде съедобного моментально вырастали подле кадета, собиравшегося приняться за колбасу:

— Дай кусочек, дай же, Василенко, ну, дай же!..

Раздавалось два, три ноющих голоса и не переставали выпрашивать, пока не получали, действительно, «по кусочку». Это, впрочем, не было еще так разорительно, как требование, а не просьба, «закала»:

— Давай булку! Ну, живей, отламывай колбасу!

Попробовать не давать — отнимут. Жаловаться — накажут, так как на руках деньги запрещено было оставлять. Во избежание подобных неудобств деньги вручались начальству, и затем, уже к воскресенью, желающий купить что-нибудь записывался «на список». Ротный командир посылал покупать каптенармуса или сам ездил в магазины.

Громадная плетеная корзина со свертками, приобретенными «по списку», появлялась обыкновенно уже после обеда. Большая часть свертков была с леденцами, стоившими по 30 копеек фунт. Прелесть, что за леденцы! Таких после я уже нигде не едал. Записывались обыкновенно на полфунта; целый фунт — ведь это состояние!

Некоторые настойчиво покупали «рожки» и кедровые орешки — сладко, сытно и дешево.

Праздничный обед всегда неизменно был один и тот же: борщ со сметаной, бифштекс и слоеные пироги с двумя вишневыми ягодками. В особенно торжественные дни подле каждого прибора клали «фунтики» с чем-то похожим на конфеты. Этим лакомством кадеты страшно дорожили, и при виде «фунтиков» в столовой раздавалось веселое, одобрительное гоготанье. Те редкие случаи, когда раздавали лакомства, кадетам отлично были известны, но иногда их давали сверх программы. Можно себе представить кадетский восторг в таких случаях. Мне помнится, что эти тощие «фунтики» с дешевыми сухими сладостями кадеты ценили выше своих покупных леденцов, халвы, яблок, монпасье и других «собственных» лакомств.

Кормили нас вообще очень плохо. Но можно ли было требовать от начальства лучшего? Ведь на всю дневную пищу отпускалось на человека лишь по 12 ½ копеек[96]. Надо было удивляться, как нас еще с голоду не уморили….

По воскресеньям в отпуск ходили немногие. К 6-ти часам вечера, к занятиям, они должны были являться. В коридоре, при входных дверях, кучка буянов сторожила отпускных,

выпрашивала принесенные лакомства, а иногда и попросту отнимала.

К Рождеству имена воспитанников, которые имели «в среднем» более 9 1/2 баллов, заносились на красную доску. С какою гордостью кадет читал на ней свою фамилию! На той же стене, неподалеку от почетной, больно била в глаза черная доска — здесь отмечались кадеты, имевшие в среднем менее 6 баллов. Два «рыжих орангутанга», по-братски неразлучно, виднелись на этой позорной площади.

Я с братьями получил приглашение провести святки «на хутор», к майору Антоненко, товарищу отца. Старший брат находился в самом рискованном периоде кадетского закаливания и с иронией относился к отпускным «нежностям». Второй брат рассказал мне много приятного о хуторской жизни, и мы оба с нетерпением ждали приближения праздников. Как на грех, я захворал. Дома, несмотря на кавказскую теплую зиму, меня кутали, а тут, в более суровом климате, приходилось выходить в тонкой, без подкладки, шинели и без калош. Праздники приближались, крестики на календаре густою цепью ворвались уже в декабрь, а у меня разыгрывался кашель. Брат неодобрительно качал головой, упрекал и жалел меня. Я старался отделаться от лазарета, и ночью, когда особенно душил кашель, закрывался подушкой, чтобы не услышал дневальный и не доложил дежурному офицеру. Брат нажег из сахара леденцов и принес мне в качестве лекарства. Кашель стал было утихать, но я начал сильно лихорадить. Тогда брат сам сказал Адаму о моем недомогании, капитан хотел было сводить меня к Еве угостить каплями; но, заметив, что у меня жар, отправил в лазарет.

Лазарет помещался под нашей ротой. Приходилось спуститься по сумрачной лестнице, а затем повернуть по темному, страшному коридору, мимо мертвецкой. Маленькие воспитанники побаивались этого коридора, спешили скорее его миновать и в то же время с тревожным любопытством поглядывали на соседнюю с мертвецкой, завешанную зеленым коленкором, стеклянную дверь в комнату кадета Субачевского, выделенного из общего лазаретного помещения в виду особого свойства его болезни.

Оказалось, что я захворал ветряною оспою. Слово «оспа» привело в смятение. Меня поместили в комнату, где лежал больной корью. Вокруг ни сиделки, никого. Через час приходил, густо напомаженный, шикарь-фельдшер, заставлял меня пить какую-то микстуру и уходил. К обеду принесли тарелку овсянки и полбулки, это обозначало «3-ю порцию». Мне вспомнилось, как

дома за мной ухаживали во время болезни. А здесь! Мне казалось, что все меня забыли, никто меня не жалеет, оспа меня искалечит и даже, быть может, я умру… Вечером принесли мне кружку чаю и опять полбулки. Я горел и не дотрагивался до пищи. Наступила ночь; все смолкло; лишь большие лазаретные часы отбивали громко свое сухое тик-так. Становилось жутко, подступали слезы. «Хорошо бы умереть, — думалось мне, — назло им всем умереть».

Грозный оклик в соседней комнате и топание ногами заставили меня вздрогнуть. Я не знал лазаретных обычаев. Оказалось, что это шел ночным дозором старший врач. Сном больных доктор мало стеснялся, и раскаты его громового голоса гулко раздавались в ночной тишине. Путь открывал лазаретный солдат со свечой; за доктором шел лекарский помощник, фельдшер и каптенармус; последний докладывал, что Шульце шалил, за обедом бросал туфлею.

— На «третью порцию» его! — командует доктор фельдшеру. Грузная фигура пододвинулась ко мне.

— А ты что? Febris cataralis[97] — отчасти притворялись, да?! И он стал меня осматривать, выслушивать и в то же время скоро, скоро диктовать рецепт. Фельдшер с испуганным лицом и растрепанным коком записывал какие-то каракули в длинную, узкую, гнущуюся тетрадку. Я не мог понять, как это фельдшера ухитрялись не перепутать рецепты. Секрет, оказалось, заключался в том, что в лазарете практиковалось четыре, пять микстур, состав которых не только фельдшера, но и болевшие кадеты знали наизусть; достаточно было сказать первое слово, а там уж все было известно, как молитва.

После осмотра грозный доктор отнесся ко мне довольно участливо. Сказал, чтобы я не боялся, — опасности никакой нет, и через несколько дней могу «убираться в роту».

Через минуту старший врач уже разносил какого-то больного, не желавшего принимать лекарства.

По утрам в лазарет приходили амбулаторные больные; к ним пристроился мой брат и без спросу забежал меня проведать. Он успел сунуть мне горбушку черного хлеба, два леденца и пообещал поправить мою мазню в учебной тетради рисования.

Через день меня перевели на «вторую порцию», т. е. стали давать вместо полубулки — целую, и за обедом, кроме овсянки или бульона с гренками, прибавляли еще одно блюдо — рисовую кашу.

Несколько человек «хроников» были всегдашние больничные завсегдатаи. Большую половину корпусной жизни они проводили здесь, в лазарете. Сюда же стремились попасть и неохотники до уроков. Всеми путями старались они привить себе болезни. Мне

вспомнился теперь кавказец 3-ский, который ночью открыл форточку и в одной сорочке высунулся на мороз. Он достиг желаемого, «отдулся» от уроков, заболел и… умер. Многие попросту притворялись, «набивали пульс», «разогревали голову» и пускались на различные хитрости. Тогда термометры еще не были в ходу, и потому проделки иногда удавались, в особенности с благодушными младшими врачами. Старший врач, прежде всего, во всяком кадете, приходившем в лазарет, видел притворщика и страшно разносил правого и виноватого. Если у кого хватало духу обратиться к крикливому доктору с просьбой взять в лазарет, ввиду незнания уроков, то он, накричав, обыкновенно принимал.

С переводом на «первую порцию» меня послали в классы, а вскоре и совсем выпустили из лазарета. Как раз вовремя. Оказалось, что за моим товарищем, Нерадецким («Неродкой»), уже приехал арендатор Берко и ходил просить директора отпустить его ранее окончания занятий. Еврей так стал приставать к генералу, что тот разрешил Неродке уехать. Берко и впоследствии являлся первым за своим «панычем». Многие кадеты знали его и весело приветствовали вертлявого старика-балагура, являвшегося предвестником «отпуска».

В нашу роту стал все чаще заходить швейцар и вызывать в приемную то одного, то другого воспитанника. Опрометью бросались они туда в объятия родных, а то и попросту серых крестьян, «провожатых», приехавших за ними. Настал и наш черед.

Брат получил мой отпускной билет, взял узелок с нашими вещами, приготовленными каптенармусом, и мы весело вышли из корпуса. Роль «провожатого», без которого кадет не отпускали, играл десятилетий гимназист, племянник нашего знакомого.

Почти пять месяцев провел я взаперти. Как приятно было чувствовать себя свободным! Дышалось как-то легче. Все выглядывало таким светлым, радостным. Корпус отошел куда-то далеко, в другой мир.

Антоненко жил в деревне, а в городской квартире оставались два его племянника: Николай Федорович, преподаватель пения, и Ваня — гимназист. Николай Федорович оказался добрейшим и беззаботнейшим существом. Теории музыки он никогда не изучал, больше того, он и ноты плохо разбирал. Зачислен был учителем пения случайно. Начальство хотело оказать любезность его отцу — почтенному педагогу, не знавшему, куда пристроить сына, бившего баклуши. Открылось место учителя пения, вот его и «устроили на вакансию»; службу же он нес, кажется, в канцелярии училища.

После громадных, холодных корпусных зал небольшой домик

Антоненко показался мне чрезвычайно уютным. Солнце особенно весело заглядывало через маленькие окна в чистенькую гостиную-кабинет. Табачный дым, тонкой струйкой вившийся из столовой, в первый и, думаю, последний раз в жизни, показался мне заманчивым. До нас донеслись звуки вальса, кто-то пел мотив легоньким баском, за ним, ощупью, шел аккомпанимент гитары. Это незначительное обстоятельство на меня произвело самое приятное впечатление. Мне вспомнилась кавказская крепостца, маленький флигелек, в котором квартировал мой старший брат, офицер, также «с голоса» подбиравший на гитаре романсы.

В столовой, около весело кипевшего самовара, сидел Николай Федорович и разучивал вальс.

— Сейчас, господа, сейчас… Наливайте себе чаю сами. Мне нужно кончить вальс.

Порвавшаяся струна, однако, заставила его заняться настраиванием.

Доброе лицо гитариста так приветливо смотрело, что я почувствовал себя совершенно дома и принялся за чай со сливками, — роскошь, которая столько месяцев была мне недоступна.

Окна из столовой выходили в сад и примыкавший к нему двор; здесь бегала серая волохатая собака, сразу же мне понравившаяся; около сарая запрягали в сани тройку деревенских лошадок. Брат сообщил мне, что собаку зовут Валеткой, она страшно злая, еще в прошлом году подмяла под себя соседа шинкаря. Кучер Кондрат — первый силач на хуторе и во время косовицы идет в голове. Лошади: Шпанка, Казачка и Бурый. За Бурого, уверял меня брат, Антоненко давали большие деньги, да узнали, что мерин, и отступились. Казачка брыкается, Шпанка отлично идет под верхом.

Гимназист Ваня, уписывавший громадный ломоть хлеба с маслом, прибавил:

— А Бурый не дает садиться, скидает…

Я с живейшим любопытством вслушивался в эти объяснения и хотел идти во двор посмотреть поближе лошадей; но в это время Николай Федорович докончил настраивать свою гитару и предложил сыграть польку, разученную им с Ваней, наладившимся «подбирать» на гармонии. Конечно, мы с братом обратились в слух. Они заиграли, и в тех местах, где не выходило гладко, Николай Федорович ловко подпевал.

— Эх, жалко, что вы ни на чем не играете! Как бы у нас тогда дело пошло. Шик!

Мой брат незаметно вытащил из кармана губную гармонику и присоединился к оркестру. Это было даже для меня сюрпризом.

Эффект получился удивительный, а когда поощренный брат стал выделывать рулады, то восторг Николая Федоровича не имел границ.

— Вот ловко придумали! Вот ловко! Ну-ка, ну-ка, еще…

Полнейшее удовольствие разлилось по лицу Николая Федоровича, и он в пятый раз принимался за польку. Наконец, вошел бывший денщик Антоненко, дворник и в то же время лакей, Горобец.

— Та годи вам! Вже запрягли.

Николай Федорович крикнул ему, чтобы он убирался, и оркестр продолжал гудеть.

— Попробуемте, господа, вальс, — заявил брат, который научился отлично его насвистывать.

Попробовали, вышла каша. Гармоника затягивала совсем не то, а Николай Федорович никак не мог «подобрать» и лишь подпевал своим козлиным баском.

Перешли опять на польку и стали уже было вырабатывать план кадрили из русских и малорусских песен, как опять появилась в дверях голова Горобца.

— От майор рассердится, что панычи опоздали. Оркестр смолк. Николай Федорович побаивался дяди.

— Господа, знаете что? Я пойду вместе с вами на хутор. Пойдемте к Дехтярям, к Яссинским, к Нартовым играть танцы. Идет?

Встретив шумное одобрение, Николай Федорович заставил Горобца наскоро уложить свои вещи. Разместившись кое-как в санях, мы весело выбрались за город. Николай Федорович предложил устроить спевку.

— Ведь к Дехтярям в церковь поедем, неловко отказаться спеть обедню. Нужно им хватить «нотное!»

По дороге мы отлично навострились петь «Господи, помилуй!» лаврского напева, но Симоновская херувимская шла неважно. Мой брат пел в корпусном хоре и знал твердо свою партию, остальные, включая сюда и учителя, пели «по слуху».

— Ничего, — ободрял он себя, — в этом месте отец Александр (диакон) подпустит октаву, а тут Дехтяр поддержит альтом. Сойдет!..

Мы действительно запоздали, и на хуторе у самого крыльца нас ждал разнос майора, но ему нужно было спешно ехать по делам в другую деревню, и потому некогда было долго распекать.

В холодных сенях, заставленных сундуками, мы разделись. Надо было представляться, но я, одичавший в корпусе, заслышав женские голоса, переконфузился и не хотел входить. Ловким пинком брат вытолкнул меня из сеней, и я принужден был

влететь в комнату.

В небольшом зальце с выбеленными стенами и некрашенным полом встретили нас радушно домочадцы Антоненко: старуха-мать его, сестра и две молоденькие племянницы. По средине комнаты стоял обеденный стол, на котором уже дымилась суповая чашка. Старшая племянница, добрейшая Софья Федоровна, видя мое смущение, тотчас же взяла под свое покровительство и усадила за стол подле себя.

Бабушка — мы с братом тоже звали так впоследствии старушку — мать Антоненко, — хлопотливо потчивала нас.

— Та ты, Васю, пирожка возьми, с горохом, а бо с капустой, а то может хочешь пампушек?

Она предлагала и «кулишу», и «затирки», карасей, линей, кашу пшенную и взвар.

Наголодавшись в корпусе, я пробовал усердно все, что мне ни предлагали и, видимо, сильно зарвался, так как брат, воспользовавшись общей горячей беседой, толкнул меня в бок и шепнул, что «очень уж без церемонии».

После обеда бабушка ушла к себе, а Николай Федорович пожелал блеснуть оркестром…

Раздались звуки польки. В дверях стала показываться домашняя прислуга — все интересовались новинкой.

Барышни не вытерпели и стали вертеться по залу.

— Нет, ведь как ловко-то выходит, а?!.. — восторгался больше всех Николай Федорович.

Софья Федоровна пригласила меня танцевать; но для меня это казалось немыслимым. Я и в корпусе старался отделываться от танцев, а тут вдруг… с дамой.

В это время в дверях показалась бабушка.

— И не стыдно вам?! У людей пост на дворе, а они танцы играют.

Все притихло. Потом я привык к воркотне доброй бабушки, но первый выговор мне показался страшно обидным; я искал глазами брата, но он был занять хорошенькой Наташей, которая, видимо, осталась довольна кавалером.

Вскоре после обеда босоногая Гарпина влетела с самоваром, две другие горничные расставили на стол постные крендельки, бублики, коржики, варенье и пастилу. «Вот бы в корпусе так кормили!» — думалось мне.

Помня предупреждение брата, я старался есть меньше. Бабушке не нравилось это, и она все время потчивала нас то тем, то другим и ласково выговаривала за церемонность.

После чаю мы отправились при лунном свете кататься с горы. Николай Федорович уверил всех, что отлично управляет

большими «воловьими» санями. На длинные дровни постлали соломы, покрыли ковром; мы уселись и с хохотом покатились по скату горы на занесенный снегом пруд. До половины горы доехали благополучно, но Николай Федорович и понятия не имел об управлении, мы наткнулись на куст, и все пошло кувырком. Ушиблись-таки порядочно. Николай Федорович очутился под санями. Закутанные в салопы и платки барышни отделались счастливо. Наташа зубами ухитрилась расцарапать лоб брата и набила ему «гулю», что нисколько его не сердило, наоборот, видимо, сердечно радовало обоих.

Несмотря на эту передрягу, Николай Федорович хотел повторить опыт; по счастью, до нас долетел неистовый лай из «вулицы», разделявшей сады двух соседей-помещиков.

«Господа, пойдем собак стравливать!» — Барышни убежали домой, а мы вчетвером бросились к «перелазу». Предстояло для меня совершенно новое зрелище.

Николай Федорович кричал во все горло: «Сирко, на! Сирко! Лапка! Куцый!»

Ваня и брат вторили ему. Псы, заслышав лай и призыв хозяев, перепрыгивали через перелаз и бросались на подмогу своим, грызшимся уже, товарищам.

— Усь его! Усь! Лю, лю! Ра! Усю-сю!.. — раздавались крики с нашей стороны.

— Славно, славно! Благородны панычи, панское занятие надумали… — неожиданно раздался из-за плетня старческий голос.

Это был сосед-помещик, восьмидесятилетний Кубчинский. Николай Федорович первый бросился, что называется, «на втикача»; мы припустили за ним. Нам было немного стыдно, но Николай Федорович меня уверил, что Кубчинский сам страстный охотник стравливать собак, и если его собаки уступают неприятелю, то он злится, стреляет из дробовика и по старости может попасть в человека вместо собак.

Часов в 9 вечера подали ужин, опять появились пирожки с картофелем, с горохом и капустой, опять коржики.

За один вечер я столько набрался новых впечатлений, так надышался чистым воздухом и так насытился, что меня клонило ко сну. В гостиной на полу нам постлали перины, и мы «покотом» улеглись почивать.

На другой день с утра принялись нас откармливать. Экономия соблюдалась лишь на покупные закуски и лакомства. Софья Федоровна в своем комоде берегла 2–3 фунта дешевеньких конфет, которыми она сумела угощать нас в течение всех святок, выдавая ежедневно лишь по одной конфете на человека. У этой

милой барышни были и книги; она принесла нам их целый ворох, я выбрал исторический роман *«Жакерию»* и зачитался так, что перед завтраком брат насилу оторвал меня от книги. После завтрака решили устроить спевку, в которой должен был участвовать также и третий племянник Антоненко.

Перед спевкой Николай Федорович присел подле меня и сначала рассеянно начал пробегать развернутую книгу. Однако когда я хотел перевернуть страницу, он удержал. На другой странице он опять отстал; тогда я предложил ему читать вслух; Николай Федорович улегся на диван, а я принялся за чтение. Остальные хористы не чувствовали особого желания «спеваться» и разошлись. Николай Федорович совершенно увлекся *«Жакерией»,* и я читал до хрипоты, подбадриваемый его восклицаниями.

— Отлично! Превосходно! Теперь каждый день буду читать исторические романы.

В этот же вечер мы кончили роман и решили на другой день читать новый. Брат весело провел время с хорошенькой Наташей, он помогал ей чистить миндаль и делать «венчики». К ним было примостился и гимназист Ваня, но проходившая мимо Софья Федоровна его прогнала, так как он большую половину очищенного миндаля отправлял себе в рот.

На первый день Рождества на двух тройках мы отправились в церковь. Утром начали было спевку, но скоро подали лошадей, и приходилось допевать дорогой. От непривычного пения на зимнем воздухе и от усиленного чтения вслух я сипел и не мог служить украшением хора.

В церкви густой толпой стояли серые свитки и синие чумарки. С амвона заметил нас диакон, отец Александр, весело раскланялся и рукой показал, чтобы нам дали дорогу пройти вперед. Торжественно вошли мы на клирос, подле которого стоял уже старик-помещик Вехтярь. В детстве он был придворным певчим, затем, «за спадением голоса», был зачислен губернским регистратором в какую-то палату; удачно женился, приобрел именьице и под старость поселился в нем. Пение он любил и сам охотно подпевал старческим альтом. Николай Федорович громко совещался с диаконом относительно нашего пения. Решили ограничиться ектенией, «Херувимской», «Верую» и «Отче наш». Остальное должен был исполнить пономарь.

— А концерт-то? — громыхал зычно диакон. — Концертец запричастный хорошо бы хватить. А?!

Николай Федорович спешил было согласиться, но брат воспротивился.

Наш дирижер с большим смущением относился к камертону. Сначала он неловко прикусил его, затем ударил о колена.

Гимназист Ваня прыснул. Николай Федорович, весь красный и взволнованный, промычал нам что-то наугад, желая «задать тон». Первое «Господи, помилуй» вышло несмелое и нестройное. Затем присоединился густой бас отца Александра, послышался верный альт Вехтяря, и хор зазвучал довольно сносно. Николай Федорович смело, но совершенно произвольно махал рукой. К Херувимской шли долгие приготовления и совещания. Вехтярь перебрался на клирос. Молчавший до этого времени сын пономаря — семинарист, взялся за теноровую партию. В церкви все притихло. Солнечный луч ворвался через купол и, пронизав тихо подымающиеся волны кадильного дыма, осветил коленопреклоненную толпу молящихся. Торжественность минуты заставляла невольно вздрогнуть и задать себе тревожный вопрос: «Как я мог согласиться, без всякой подготовки, идти на клирос, на позор?! Ведь мы оборвемся, напутаем…» Николай Федорович съежился, стал меньше и уступил место Вехтярю.

Я рабски следовал за изгибами голоса брата, твердо знавшего партию сопрано. Хор то смолкал, то уносился куда-то ввысь, креп и рос. «Всякое ныне житейское» нежно и грустно прошептал тенор, и затем с юношеским жаром зарыдал «отложим попечение». Вехтярь восхищенно уставился на тенора и застыл с открытым ртом… Слышалось, как застучали в церкви усиленно поклоны. Разнеслись последние раскаты громовой октавы диакона, подпевавшего нам из алтаря; я обернулся и различил в толпе плачущих женщин, да и у некоторых мужиков видна была роса на глазах…

После обедни нас пригласили к священнику на чашку чаю. Помнится, меня в доме отца Андрея заинтересовали целые груды паляниц, книшей, бубликов и лукошек с яйцами. Брат шепнул мне, что все это насбирали от прихожан. Вот бы в корпусе столько съестного!..

От батюшки перешли к Вехтярю, где собралось немало народа: на одном столе играли в преферанс, а на другом — в ералаш «с назначением»; большинство гостей группировалось около хозяина и усердно распевало народные малороссийские песни: *«Ой на горі, та жінці жнуть», «Стоить явір над водою», «Ой у полі жито коштами сбіто», «Віют вітрі», «Грічанікі», «Гріцю, Гріцю до роботі», «Не люблю я ни Стецька, ни Гріцка»,* и еще много других.

Отец Александр затягивал: *«Ой ты, Днепр, ты мой широкий»;* но ничего не выходило, на второй строке хор и путался, и обрывался.

Николай Федорович прихвастнул своей гитарой и оркестром. Моментально верховой слетал к нам на хутор и привез

инструменты; брата не могли уговорить сыграть на гармонике. Он заупрямился и отказался наотрез. После уже я узнал, что Наташа подсмеивалась над его скошенным во время игры лицом.

Только что Николай Федорович с гимназистом разыгрались, как приехал родственник Вехтяря, становой пристав, с сыном Колей, который отлично играл на скрипке. В качестве дядьки с ним был музыкант из прежних дворовых. Приходилось очистить дорогу новым силам, и Николай Федорович пустился танцевать. Вернулись домой уже поздно ночью.

Каждый день почти мы ездили куда-нибудь в гости, и везде нас старались немилосердно закормить, а потом заставляли танцевать. Когда оставались на хуторе, то я или проглатывал романы, или вместе со всей компанией слонялся по конюшням и загонам, осматривая и оценивая лошадей и рогатый скот.

Две недели святок пролетели незаметно. Под конец настала оттепель. Санная дорога совсем испортилась, и на плотинах — «греблях» проезд был крайне затруднителен.

6-го января утром отправились в старой-престарой, громоздкой коляске, которую нужно было перевезти в N. для продажи. Коляску тащили две пары волов. Сначала нам казалось это смешно, но скоро надоело, и мы в прескверном настроении духа вечером въехали в город. В ночном сумраке едва-едва обозначался контур громадного корпусного купола, гордо поднимавшегося над всем городом. С не особенно приятным чувством всматривался я в эту громаду, которая должна была через час поглотить меня.

Вскоре тревожно пробирался я через спальную неранжированной роты к дежурному офицеру «явиться из отпуска» и получил строгий выговор за то, что опоздал на четыре часа.

Холодный, длинный дортуар с бесконечной вереницей железных кроватей с вытянутыми, лежащими по форме, «на правом боку» кадетскими фигурами смотрел неприглядно. Выровненные, с правильно уложенным платьем табуретки и те напоминали о форме, о порядке… В нескольких местах кадеты шушукались и, заметив меня, спешили опросить, не привез ли я чего съестного. Но я ничем не мог угостить. Раздался шипящий окрик дежурного: «не разговаривать!..»

В спальной зимой было очень холодно. Белые байковые одеяла наши служили со времени основания корпуса и, потеряв ворс, представляли собою очень ненадежный покров. Только в случае предполагавшегося приезда начальства раскладывали новые пушистые одеяла, и тогда мы сравнительно блаженствовали. При удобном случае кадеты старались

раздобыться добавочным покрывалом.

Мой сосед, предполагая, что я приеду на другой день, воспользовался моим одеялом, вытянув его из-под синего набойчатого покрывала. Приходилось отнимать и выслушивать воркотню. Ложась спешно в постель, я попал «в мешок», неизбежно устраивавшийся из простыни всем отпускным. Шушукавшееся товарищи прыснули от смеха. Приходилось перестилать постель. Вновь появился дежурный, и все замерло.

На утро предстояло вставать в шесть часов, есть кашицу, идти на уроки… Опять взаперти, опять на замке.

После рождественских праздников потянулись скучные, серые дни. Впереди далеко брезжил свет праздника Пасхи и, наконец, летних каникул. С особой торжественностью прошла неделя говения. К этому времени приурочивался и общий «генеральный» телесный осмотр. Некоторые кадеты, имевшие на совести тайные грехи, боялись этого осмотра так же, как и исповеди. Старший врач Горностаевский замечательно точно угадывал виновных в темном пороке и ставил таким нотабене. Этот значок был страшнее всякого нуля и розог. Товарищи моментально узнавали о нотабене, и получившему ее приходилось до выпуска выслушивать насмешки и гореть от стыда.

Перед исповедью некоторые кадеты выписывали на особый листок свои грехи и затверживали их наизусть, чтобы без запинки отвечать требовательному священнику. В день причастия св. Тайн мы запаслись просфорами и старательно всю нижнюю их часть сплошь покрывали чернильными надписями имен: «о здравии» и «за упокой». После причастия разрешалось всем, у кого не было даже знакомых, уходить в отпуск и притом без провожатого. Это отступление от правил делалось только раз в год, в надежде на то, что в такой день никто не натворит беды.

На Пасху ввиду сильной распутицы по грунтовым дорогам не было проезда, и потому, исключая тех, у кого родственники были в городе, все оставались в корпусе. Вспомнили мы с братом о пасхальных приготовлениях дома; но вспомнили, как о чем-то давно-давно прошедшем. У нас и мысли тогда не было о возможности проехать домой, повидать своих и, странное дело, несмотря на искреннюю любовь к родным, у меня как-то мало щемило сердце по дому. Письма мои, сколько помню, были тоже крайне бессодержательны, шаблонны и сухи.

Весеннее тепло принесло с собой некоторое оживление в корпусную жизнь. Взамен чинного гулянья по городским тротуарам, нас, неранжированную роту, стали водить на громадный кадетский плац, выходивший совсем уже за город и обрамлявшийся роскошным бордюром цветущей сирени. На

обширном зеленом луге было где вдоволь избегаться, вволю покричать и порезвиться без страха перед дежурным офицером, который не в силах был следить за воспитанниками, старавшимися держаться от него в почтительном расстоянии.

Для многих немалой приманкой служил продавец с лакомствами, «пряничник», он забирался в отдаленные углы плаца и бойко торговал. Желающим торговец предлагал разбивать одним ударом на две части пряник; причем выполнивший это условие получал его даром. Многие пробовали свое искусство: но редкие выигрывали, а приходилось платить из копеечных кадетских карманных денег. Большинство, конечно, с увлечением занималось разнообразными играми в мячи. Несколько человек собирали гербариум, а главным образом с необыкновенным усердием ловили бедных жуков и бабочек; беспощадно насаживали их на булавки, расправляли на пробковых пластинках и убивали камфорой. Как завидовали счастливцу, которому удавалось поймать махаона или достать адамову голову!..

Весна ознаменовалась также тем, что утренний сбитень заменялся очень порядочным молоком, а по назначению доктора десятки худосочных воспитанников ходили в лазарет пить какую-то зеленую бурду, настой из трав.

Переходные экзамены в приготовительном классе, конечно, были очень нетрудны, и оставалось у нас много свободного времени, которое мы не без удовольствия проводили на плацу.

Учитель русского языка, Степан Иванович [Пономарев], приходил к нам на плац и обыкновенно старался устраивать различные игры. На плацу скамеек не было, и нашему любимому преподавателю негде было присесть отдохнуть. Мы решили сделать ему сюрприз. Из канавы, обрамлявшей весь плац, под полой, втихомолку от дежурного офицера, кадеты натаскали кирпичей, сложили скамью и покрыли ее дерном, вырезанным перочинными ножами. Степан Иванович до слез был тронут нашей о нем заботливостью и очень благодарил, не подозревая, что мы разорили канаву.

Наконец придвинулись и каникулы. Все, кто имел лишь какую-нибудь возможность добраться до дому, собирались покинуть на лето корпус. У подъезда стали появляться деревенские брички, натычанки, тарантасы и фургоны. На козлах сидели Остапы и Кондраты в сивых шапках и синих чумарках. За кадетами приезжали отцы, по большей части отставные военные в незатейливых «сивильных» костюмах, вышедших из мастерской уездного Абрамки, а то и в отставной форме и при всех регалиях. Матери-вдовы в «темненьких» платьях также не пропускали срока

и наведывались в корпус за справками, в сопровождении, обыкновенно, подрастающего, будущего кадета, с любопытством глазевшего на воспитанников.

Те из кадет, кто жил в отдаленных сравнительно местностях, собирались в артели и подряжали себе еврейские фуры: громадные, дребезжащие экипажи, с длинным, чуть не волочащимся по земле дышлом, подле которого ковыляли в порванной веревочной упряжи заморенные шершавые клячи. Экипаж был непригляден, но зато весело было забиться туда большой компанией. Сколько приключений по дороге!..

Неприятно только «шабашовать» вместе с возницей.

Мы с братом поехали на хутор к Антоненко.

Когда мы ездили в деревню на Рождество, то местность казалась безотрадной; теперь же весной рассыпанные почти непрерывной цепью по балкам белые хаты, окутанные вишняком, яблонями и грушевыми деревьями, приветливо улыбались нам; высокие «млины» не казались уже мертвыми великанами, а бойко работали своими длинными крыльями. В ставках полоскались гуси и ныряли утки. Густая щетка зеленеющих пашней перемежалась утрамбованными, точно паркет, толоками, на которых серой волной двигались овцы, низко, точно ножницами, срезывая траву; бродил крупный малороссийский скот, и подпрыгивали спутанные лошади, и озабоченно исследовали землю свиньи. Любопытная молодежь подскакивала к самой дороге, а наперерез бросался пастух с длиннейшим кнутом и хлестким взмахом отгонял их к мирно пасшимся солидным родичам.

С каким интересом следили мы, сидя в бричке, как змеей извивалась левая пристяжная Шпанка и растяжным галопом старалась догнать спокойного и, казалось, еле двигающегося коренника, иноходца Бурого.

Эти обычные деревенские картины нас несказанно радовали, и жизнь казалась так хороша, так красна…

По дороге мы догнали тележку в одну лошадь, в ней на коврике из обрезок солдатского сукна сидел Петр Иванович Коржинский, хороший знакомый Антоненко, мелкопоместный «панок», служивший когда-то чиновником в интендантстве, но выдававший себя за майора и любивший повторять три-четыре ему известных французских фразы.

— А! Коман-ву-порте?[98] — крикнул он, обдав нас серой густой пылью из-под колес своей брички.

— К бабушке? Галопируемте вместе. Я уж давно оглядываюсь и гляжу, чья это пристяжная такие карамболи выкидывает. — Говорю Остапу, а это ведь, надо быть, кони Якова Антоновича; а

он дурак бурчит себе: ни, да ни. Ну, я приказал ему ехать потише, чтобы убедиться. Компреневу?[99]

— Что ж ее придерживать, вона и бігать не вміє, — заметил лукаво наш кучер.

— Ну, ты мужлан! — рассердился Коржинский.

— Та, ей-Богу, Петр Иваныч, сидайте лучше с панычами, а Остап поиде сзаду.

— А что же, это недурно. Вулеву?[100] — Мы выразили согласие, и через минуту костлявая, длинная фигура с громадными подкрашенными усами поместилась между нами. Скоро лошадь Коржинского, крохотный кучер, хлопчик Остап, и тележка скрылись из наших глаз, и только жеребенок бежал подле нас; но потом спохватился, залился тонким, тонким ржаньем, в ответ ему еле донесся родной призыв, и стригунчик, поднявши крохотный хвостик, бросился стремглав назад.

— Вот дармоед, Остап, должно быть, заснул, не подгоняет коня.

— Э, це вин хоче, щоб мы побильшы его выпередили; а там под самым хутором як страда обгонит нас, — спокойным голосом процедил кучер, — лица его не было видно, но, должно быть, ехидная улыбка подергивала его губы. Петр Иванович делал вид, что не слышит насмешки, и заговорил с нами о корпусе.

— Мой племянник, Петрусевич, с вами видь учится. — Савеву?[101] Его маменька, — моя дражайшая сестрица. Ограбила она меня, обобрала как липку. Компреневу? Дневной грабеж. Воспользовалась тем, что я в походах разных участвовал, она и завладела моим клином в пять десятин. Сестрица говорит, что клинчик ее и в нем будто всего три десятины восемьсот сажен, так я вам, господа, скажу: врет она, сестрица моя, врет она, дражайшая, пять десятин кровных моих, наследственных!..

Петр Иванович последние слова злобно прокричал, точно перед ним были его враги и судьи, а не два кадетика, балансировавшее на узком сидении.

— А хорошие там вышли у Марфы Ивановны конопляники! Дуже хорошие, — вставил свое едкое слово и кучер, пустивший в гору лошадей шагом.

— Да, что ты, бестия, злить меня хочешь?! Злить, что ли? — Кучер одернул свое добродушно лукавое лицо и, вытянув из кармана рожок, высыпал на ноготь табаку и, крепко нюхнув, заметил:

— Це я жаліючи вас же.

— То-то! — прохрипел наш спутник. Показавшаяся крыша Антоненковского дома вновь скрылась при повороте дороги, и, наконец, по узкой аллее мы лихо влетели в помещичий двор к

подъезду.

На хуторе мы застали не только всю семью Антоненко, но сестру Петра Ивановича, приехавшую к Якову Антоновичу посоветоваться по поводу тяжбы с братом. Марфа Ивановна, женщина удивительной толщины, не робкого характера и говорившая басом, удивительно, однако, боялась Якова Антоновича, как почти и все, имевшие с ним дело.

В момент приезда нашего онасидела в кабинете у хозяина. Николай Федорович сейчас же нам сообщил, что «посадница» Марфа уже дважды заявляла: «позвольте мне выйти!» — и выкатывалась из кабинета — «не выдерживала».

Петр Иванович, узнав о присутствии сестры, хотел было уехать назад, но отставший Остап не приезжал еще, и ему пришлось остаться. Николай Федорович потирал руки, предвкушая удовольствие, которое он надеялся почерпнуть от наблюдения за ссорой Коржинского и Петрусевич.

За обедом Яков Антонович заявил тяжущимся, что он их помирит следующим образом: купит спорный участок и разделит между ними деньги пополам. Петр Иванович готов был согласиться, но сестра и слышать не хотела о мировой сделке.

— Ведь уступи я ему, так он завтра и дом мой потребует делить. Хороший брат разве так должен поступать с сестрой, сиротой; да он бы свое еще отдал, а не требовал бы последнего от меня, бедной вдовы, — басила Петрусевич, жадно проглатывая третью тарелку борща с сушеными карасями.

— Атанде-с, атанде-с[102], дражайшая сестрица! — хрипел Петр Иванович, простирая по направлению к ней свои костлявые руки.

Николай Федорович толкал меня ногой под столом и силился удержаться от смеха. Зоркий глаз Антоненко видел, однако, проделки племянника, и он, не стесняясь его возрастом, заметил:

— А ты бы, горе-педагог, вместо того чтобы смущать детей и смеяться над другими, смотрел бы больше за собой. На косовице был сегодня! Много накосили?

— Да, порядочно! — робко ответил Николай Федорович.

— Что значит порядочно? — спрашивают тебя толком, — сколько? до какой межи?

— Да вот… я не знаю, как называется, этот… то есть клинок…

— Э-эх, брат, бачили, та не видали, ты и на косовице, видно, совсем не был. Работник!

— Помилуйте, дяденька, спросите… да вот Петр Иванович видел, как я с «лук» мимо его хаты шел.

Коржинский ничего не мог видеть, так как был в городе, но

Николай Федорович выбрал такой момент, когда у того был набит полон рот, а главное, педагогу было известно, что молодящийся интендант, несмотря на свои годы, страстно посматривал на Софью Федоровну, и потому не в его расчетах было ссориться с братом барышни.

После обеда враждующие стороны сейчас заторопились уезжать. Петрусевич приехала в тележке, в которую взбиралась с помощью двух горничных по особой, как у корпусных ламповщиков, лесенке. Все вышли на балкон провожать Цаплю и Копну, как звали у Антоненко брата с сестрой.

Недалеко от усадьбы прошли домой с лихой песнью косари. Вернулось с вечернего водопоя стадо. Проскрипели запоздавшие плугари.

Пришел приказчик за получением распоряжений на завтрашний день.

— А на луки с косарями поедут панычи, — сказал Антоненко, указывая на всех нас. — Они копны сосчитают.

Николаю Федоровичу не улыбалась перспектива вставать в 4 часа утра с тем, чтобы с воловьими подводами двигаться верст за пять; но мы с братом были в восторге. После ужина нам постлали постели на балконе, обвитом диким виноградом. В первый раз мне пришлось спать ночью на открытом воздухе. Обступивший вокруг дома темный сад казался каким-то таинственным, яркие звездочки на небе особенно как-то блестели. Со ставка потянуло прохладой, я закутался в теплое одеяло и только что стал засыпать, как до меня донеслись неясные звуки, приближавшиеся все ближе и ближе. То пренеприятно горланили десятки женских крикливых голосов. Николай Федорович встрепенулся.

— Господа! Пойдемте «на вулицу» водить хороводы.

Конечно, меня это не могло прельщать, и я скоро крепко заснул. Николай Федорович исчез.

На заре нас еле добудился кучер Кондрат. Мы взобрались на неоседланных лошадей, взнузданных веревочными поводками, и веселой гурьбой затряслись по дороге. В поле брат пустил во всю прыть Бурого, Кондрат и племянник Антоненко понеслись с ним наперегонки, я, самый младший и наименее искусный наездник, держался сзади на старом вороном кабардинце; но мой конь не выдержал всеобщего воодушевления, подбросил задом и пустился в погоню за товарищами, только, впрочем, без меня, так как я лежал на земле. Обошлось все благополучно. Через пять минут мы легкой трусцой проехали мимо усадьбы Петра Ивановича, который уже встал и на маленьком крылечке распивал чай.

— Угостил бы вас чаем, господа, да посуды не хватит.

— Нет уж, Петр Иванович, извольте угощать; гостей ведь

таких не скоро найдете, — приставал без церемонии к скупому интенданту Николай Федорович.

Босоногая горничная набрала каких-то разнокалиберных стаканов и чашек без блюдечек, и на утреннем холодке нам с братом чай показался удивительно вкусным.

Петр Иванович разошелся, приказал подать хлеб, масло и даже ром; последнее, видимо, пришлось по душе Николаю Федоровичу, так как он одобрительно крякнул и объявил, что останется у Коржинского, а мы можем ехать присматривать за косовицей.

Мы застали рабочих «за снеданием», они сидели вокруг чашек и солидно пережевывали куски черного хлеба, прихлебывая ложками чистую воду с солью, которая комочком, «грудочкой для скусу», лежала в самих ложках. Скоро Кондрат, а за ним и другие принялись оттачивать около самодельной наковальни косы и, наконец, вдоволь навозившись с ними, двинулись на работу.

Подле уснувшей реки, расплывшейся в причудливые, неподвижные плесы, широкой зеленой полосой, разрисованной цветами, тянулись заливные луга. Роскошная трава богатым ковром покрывала вдаль уходящую площадь. То здесь, то там поднимались над лугом птички и, покружившись в выси, опять спускались в уютные гнездышки, свитые среди высокой, приветливо покачивающей верхушками травы. Недолго красоваться и траве, и цветам!.. Пришли палачи, сверкнуло оружие, и поле быстро стало оголяться, теряя свой чудный цветочный убор… Широко расставя ноги и согнувши спины, десятки косцов, с Кондратом во главе, ровными уступами подвигались вперед и сильными саженными взмахами валили густую и сочную траву, безжизненно падавшую на землю длинными валиками. Вдали виднелись дивчата, сгребавшие скошенное вчера сено. Нам нужно было идти туда считать копны и подгонять работниц.

В то время как косари, безмолвно насильничая, обнажали луга, веселые дивчата, с венками на головах, с песнями сгребали подсохшее сено в копны и украшали мертвое поле этими, хозяйское сердце радующими, густо поставленными травяными могилками. Самые былинки, подсыхая, выглядывали бодрее, топорщились и наполняли воздух ароматом.

Часов в одиннадцать солнце стало сильно припекать, и по всей линии работа замолкла, замерла; все стали собираться к котлам, где уже готов был кулеш. Косари принесли с собой двух зайчат и перепелку с отрезанной ногой. Рабочим дали водки, дивчата гримасничали, конфузились, но все-таки некоторые

вытягивали горькую влагу из рюмки до дна.

Мы ели то же, что и рабочие, только из отдельной миски, и ели с волчьим аппетитом. После обеда невольно все растянулись на мягком душистом свежескошенном сене. Глаза упираются в небесный лазоревый шатер, повсюду утихает жизнь, лишь ястреб вьется высоко, высоко, да за ним порхают ласточки; солнце греет все сильнее и сильнее. Незаметно слипаются глаза, и протираешь их с изумлением часа через полтора, когда вокруг начинают подниматься на работу косари и вновь лязгать точилом и молотком о свои притупившиеся косы.

Пока тянулась косовица, мы исправно присутствовал и на работах, но скоро кончилось это полуобязательное для нас занятие, и мы должны были изобретать себе способы развлечения. Летом местные, больше все мелкопоместные «панки» жили совсем не так, как на святках. Тогда было разливанное море, танцы и постоянные гости. Теперь все сидели у себя по усадьбам, жались, никуда, кроме своего поля, не выезжали. Стол, даже у зажиточных Антоненко, был, по сравнению со святочным, значительно менее разнообразен и обилен. Мы бродили по окрестностям, собирали землянику, купались в ставках, водили на пастьбу лошадей, заходили в крестьянские хатки и толковали с хозяевами. Помню, меня сильно поразила голая бедность хуторян, только что освобожденных от крепосгаойзависимостиснаделомв1 1/4 десятины. Всеми дворах ни у кого не было ни одной коровы, и бедные хохлушки должны были выпрашивать у помещика молока или масла в обмен за цыплят или за работу,

За помещичьим хутором раскинулись казачьи усадьбы, ласкавшие глаз домовитостью и зажиточностью.

Книг в библиотеке Софьи Федоровны было немного, пришлось заимствоваться у соседок, племянниц старика Кубчинского. Они были очень гостеприимны, но старик, их дядя, держал таких злых собак, что мы могли ходить к ним в усадьбу лишь в сопровождении соседской горничной. Николай Федорович расхрабрился и пошел было раз вместе с Петром Ивановичем без провожатого, а последний захватил с собой кусок хлеба, которым он думал подкупить собак. Однако экспедиция двух кавалеров кончилась неудачно. Сейчас же «за перелазом» на них напали овчарки Кубчинского. Николай Федорович бросился назад и скрылся за плетнем, хотя брюки его все-таки сильно пострадали; а Коржинский заорал благим матом и от страха опустился на землю. На крик Петра Ивановича прибежала младшая племянница Кубчинского, Прасковья Павловна, разогнала собак и увела в дом испачканного, жалкого кавалера. Заботливость Прасковьи Павловны показалась интенданту знаком особого

расположения, он вообразил, что оназаним ухаживает, и сам неожиданно почувствовал к ней особое влечение.

Прежде он довольно часто посещал семью Антоненко и видимо млел в присутствии Софии Федоровны, хотя, впрочем, боялся заявить о своих видах, а после эпизода с собаками он повернул фронт и начал надоедать Кубчинским своими визитами. Николай Федорович засматривался также на красивую вдовушку, и как ни безопасен был Коржинский, но это ухаживание его коробило.

Прасковья Павловна смеялась над обоими ухаживателями и больше всех благоволила к нам, двум малолетним кадетам. Всегда было у нее для нас припасено какое-нибудь деревенское лакомство, или роман, или ласковое слово.

— Бедненькие вы, мои кадетики, закинули вас на чужую сторонку, — как-то нараспев добрым, добрым голосом говорила обыкновенно она и наделяла нас сочными, звонкими поцелуями.

У Кубчинских был прекрасный, выделяющейся среди всех окрестных, фруктовый сад. Старик-хозяин, страстный садовод, все время копался или на пчельнике, или подле своих деревьев, очищая их от насекомых и сутками защищая от птиц.

Когда начали поспевать шпанки, то мы, пользуясь радушным приемом Прасковьи Павловны, особенно часто стали появляться у соседей, даже собаки привыкли к нам и пропускали, как своих. Сам старик недружелюбно относился ко всем гостям и без церемонии вслух ворчал; но вдовушка просила не обращать внимания на воркотню и угощала нас шпанками, скороспелками-грушами и яблоками. Мы с братом так и делали, — не обращали внимания на Кубчинского и с удовольствием угощались фруктами.

Неблагодарные! Когда поспели вишни, а затем стали наливаться и яблоки в нашем саду, то визиты наши к Кубчинским стали реже. Впрочем, нам задали новую работу: наблюдать за начавшимся жнитвом озимых хлебов и делать расчет с крестьянами, работавшими «с четвертого снопа». Мы опять целыми днями проводили на полях, где мужчины косили, а женщины вязали снопы или жали хлеб. Не слышно было песен, не видно было цветов, а наоборот, повсюду выглядывали уже заморенные, коричневые лица, да пожелтевшие колосья, колосья и колосья. Работа шла не общим «загоном», как на косовице, а по участкам и разным «клинчикам», отдельными семьями. Повсюду, насколько глаз мог окинуть степь, копошился народ, выставляя лишь головы над колеблющейся поверхностью хлебов. В разных местах виднелись треножники с привешенными колышками, где пищали новорожденные плоды октябрьских браков.

Обливаясь потом, с открытой и загоревшей, точно голенище, грудью, крестьяне выбивались из сил, чтобы только успеть выработать себе хлеб насущный. Еще тяжелее приходилось женщинам, которые должны были работать по неделям в ненормально согнутом положении.

Мы с братом делали расчет и отмечали веточками «панские» копны, а неграмотный приказчик на своей бирке вырезывал ножом ему лишь понятные значки.

День заднем незаметно промелькнули июнь и июль, и настал «второй Спас», а на другой день и отъезд в корпус.

А я-то предполагал за лето сделать большие переводы по французскому языку и собрать коллекцию бабочек! Ни то, ни другое и на ум не пришло… 6-го августа, в ближайшем селе у Дехтяря, был престольный праздник и ярмарка. Мы с братом на рубль накупили целые горы монист, колечек и серег в подарок деревенской женской прислуге. У старого помещика по-святочному был пир горой, подали даже донское вино, диакон провозгласил многолетие хозяину, гости подхватили и подняли неимоверный крик, Дехтярь плакал от умиления. Петр Иванович хотел сказать спич, но, увидев смеющиеся глаза Прасковьи Павловны, запнулся и при общем хохоте, весь красный, должен был замолкнуть и уткнуться в тарелку. Съели неудавшееся, расплывшееся мороженое и рассыпались по саду. Через полчаса я с компанией встретил сверх обыкновения невеселого, но по-прежнему болтливого Николая Федоровича, который сообщил, что Петр Иванович делал сейчас предложение вдовушке и получил отказ.

— Что же вы, уважаемый коллега, не договариваете, пропускаете! Ведь я рискнул после того, как отказали вам, преподнесли, так сказать, гарбуз. Компреневу? — вдруг послышался хриплый голос Коржинского.

Приразъезде гостей Прасковья Павловна взяла меня с братом к себе в бричку. Она сначала подсмеялась над женихами, а потом стала вспоминать своего покойного мужа, молодого офицера, и сына, умершего грудным ребенком.

— Видь ему теперь время было бы поступать в корпус, муж хотел, чтобы он был тоже офицером. — А теперь обоих нет… В один месяц не стало…

После этих слов стало понятно тогда ее участливое к нам отношение.

Если после святок было неприятно возвращаться, то тем труднее было проститься с летними каникулами. Но что же делать!

В корпусе после ремонта небезопасно было подходить близко

к дверям и облокачиваться о стены, пахло краской и сапоги прилипали к полу; голоса, казалось, слишком гулко раздавались в громадных дортуарах, и не слышно было обычной детской возни.

Кадеты вернулись загорелые, круглолицые и большинство с заметным малороссийским акцентом.

— Тоже, вероятно, копны считали, — думалось мне, глядя на них. Дня через два дело наладилось, и кадетская жизнь потекла обычным путем. Появились новички, появились новые преподаватели, и завертелось корпусное колесо до следующих каникул.

2

Кадетские корпуса вскоре уступили место военным гимназиям[103]. Название это встречено было кадетами недружелюбно, и слова «корпус» и «кадет» не скоро еще уступили место новым наименованиям. В своих дальнейших заметках я, придерживаясь этого недружелюбного взгляда, называю по-прежнему свое заведение корпусом. Но если внешние формы были нам не по нутру, по внутреннему существу реформа не могла не произвести на нас свое благотворное влияние, хотя первые шаги показались нам неудачными.

Реформа смела многих старослуживых офицеров[104]. Наш Адам один из первых должен был подать в отставку. Как постарел и захирел сразу бывший грозный командир! Вскоре после отставки он встретился с нами на подъезде корпуса. В стареньком пальто без погон, сгорбившийся, со слезливыми глазами, он показался нам очень жалким. Мы все дружно приветствовали его и засыпали вопросами.

Оказалось, что Адам уезжает на вновь построенную дорогу багажным кассиром.

— Кормиться надо, господа, у меня пять человек детей, а пенсия, сами знаете, маленькая.

Хотя мы тогда не знали о размерах пенсии, но Адама стало жаль; прежде при всяких проделках, направленных по его адресу и, несомненно, влиявших на служебное положение Адама, как-то и не думалось о том, что у него есть дети и что ему «кормиться надо».

При последующих шагах реформы пострадал не только Адам, а должен был уйти и сам директор, генерал старых понятий, а также инспектор и многие из служащих. Приехал новый директор [Ф. И. Симашко] и, не вступая еще в управление корпусом, опасно заболел.

Новые порядки, оказалось, на первых порах некому было приводить в исполнение. Старый строй был нарушен, а новый не налажен. Выходил сумбур необычайный… К этому времени, как на несчастье, разразилась в корпусе сильнейшая коревая, а затем скарлатинная эпидемия. Пришлось под лазарет отделить часть ротных дортуаров, а здоровых сбить в тесное помещение. Должность директора исполнял старший из учителей, статский советник Котельников. В классах он наводил страх и смятение, но в качестве директора оказался бессильным справиться с кадетами, которым не нравился гражданский дух.

Поступившие вновь гражданские воспитатели были в полном

отчаянии. Они явились с новым взглядом на воспитание, были проникнуты отвращением к телесным наказаниям и хотели одним добрым словом укротить кадет, среди которых было немало таких, которые сроднились с другими порядками. Великовозрастные закалы мутили других, а гражданские воспитатели на первых же порах поставили себя в смешное положение.

Первое же дежурство одного из них ознаменовалось таким событием. Наша рота по звонку, введенному взамен барабана, выстроилась в зале для того, чтобы идти в столовую к обеду. Воспитателю нужно было скомандовать: «Смирно! Направо! Шагом марш!» Но он, не имея представления о командных словах, каким-то неестественным голосом крикнул: «Марш! Марш!».

Шум, не прекращенный командой «Смирно», на несколько секунд затих, но затем послышался смех и из строя выделились сначала два-три самых непокорных «закалов», а за ними почти вся рота понеслась галопом в атаку на стену, к которой с ужасом отступил и был невольно притиснут несчастный воспитатель. Смех, стук, крики были прекращены лишь с прибытием офицера-воспитателя, дежурного по другой роте, за которым успел сбегать расторопный каптенармус Тишлер, оставшийся у власти и при реформе.

На бедного мирного воспитателя такое тяжелое впечатление произвел кадетский скандал, что он больше не показывался перед нами и вышел в отставку. Другой штатский воспитатель, дерптский доктор медицины Пфейфер, также должен был подать в отставку, но сдался не скоро и провозился с нами месяца три. Историй с ним было немало. Явился он, обмундированный в новую форму гражданских чиновников военного ведомства, с погонами и даже шпорами. К воинскому строю, как немец, он питал почтение и видимо взял несколько уроков «одиночного обучения». Произнося довольно правильно команду, он сам первый торопился ее исполнять. Это нас тоже всегда очень забавляло.

Плохое знание русского языка ставило его в неловкое положение. Он приказал дневальному «тушить» огонь в спальне вместо того, чтобы «уменьшить». Как только кадеты очутились во тьме, начался кошачий концерт. Растерявшейся Прейфер кричал неистовым голосом: «Жги! Жги!». Кадеты подхватили припев к известной солдатской песне: «Жги! Жги! Говори, разговаривай!» и пошли куролесить, орать на все голоса и бросать полотенцами и подушками в дневального, пытавшегося зажечь масляную лампу.

Однако были в эту краткую переходную эпоху и такие воспитатели, которые не только умели справляться с буянами, но

и успели заслужить самую искреннюю привязанность. В наше отделение временно был назначен капитан Лебедев. Приветливый, справедливый человек, не терпевший ни наушничества, ни сплетни, ни слез, ни кривлянья, сам бывший же наш кадет и последнее время корпусный офицер. К сожалению, Лебедев оставался недолго воспитателем и получил другое, административное назначение. На расставании мы просили его, чтобы он каждому написал на особом листке свою фамилию. Подписи эти мы вделали в особые самодельные картонные рамочки и долго хранили как особую драгоценность.

Усиление эпидемии и полное неустройство заведения заставило начальство распустить на каникулы ранее обыкновенного времени.

По возвращении с каникул я не узнал своей роты. К сожалению, многих из воспитанников мы уже не досчитались, они явились жертвами реформы. Ввиду их великовозрастности, крайне плохих успехов в науках и непреодолимой склонности к беспорядкам, им предложили оставить корпус (военную гимназию) и вступить юнкерами в полки. При этом пострадало, если не ошибаюсь, более семидесяти человек, т. е. около 2о% всего состава воспитанников.

Разделенные вместо рот на четыре возраста, мы были сообразно этому делению старательно разобщены. Устроены были отдельные столовые, отведены каждому возрасту особые участки для гулянья; видеться с воспитанниками другого возраста можно было в общей приемной, и то лишь родственникам. Даже церковный хор и то составили на первое время из кадет одного возраста. Одним словом — разобщение введено было полное[105].

Из бывших четырех ротных командиров воспитателем оставлен был один Андрей Иванович Облонский. Громадный, с высоко поднятой головой, он делал вид недоступного начальника и в старокорпусное время таким и слыл. На самом деле это был добросердечнейший господин, с мягким сердцем и чувствительной душой, что он считал непростительной слабостью и старался маскировать. Это до некоторой степени ему и удавалось прежде, когда он был ротным командиром и мог держать себя подальше от кадет; теперь же, при постоянном общении с воспитанниками своего отделения, его скоро разгадали. Толстый Андрей Иванович, бывало, покричит громко, «покудахтает», но никогда не запишет в «журнал», попасть куда считалось чрезвычайно страшным. Позднее, когда подросшие воспитанники забирались в укромные уголки курить, то Андрей Иванович, хотя и беспокоил своим наблюдением, но, не желая поймать с поличным, что бы могло повести к печальным

последствиям, предупреждал о своем приходе мурлыканием песенки или громким окриком на встретившегося по дороге кадета или дневального.

Окончив давно уже образование, Облонский перезабыл, конечно, и математику, и другие предметы; в должности же воспитателя приходилось помогать кадетам на вечерних занятиях. Андрей Иванович предвидел это и потому старался не пропускать лекций, был наиприлежнейшим учеником и на вопросы своих воспитанников являлся уже совершенно подготовленным. Математикой он даже увлекся и в решении задач не знал себе после конкурента даже и среди преподавателей.

Математические способности, оцененные нами в IV, V классах, сильно подняли его в наших глазах и заставили относиться к нему с особым почтением.

Кроме Облонского, в нашем возрасте воспитателями еще были штатский учитель русского языка Яфимович и два военных, Гровлевский и Слезков. Яфимович видимо старался сделаться «любимым воспитателем», но это, несмотря на все его бесспорные способности, ему не удавалось. Он устраивал и педагогические прогулки, и чтения, и лакомствами угощал, и дружелюбные словечки рассыпал, но кадеты всегда сторонились его и чувствовали отсутствие истинной сердечности и теплоты. Яфимовичу надоело кокетничать с кадетами, да, вероятно, и рамки захолустного города его стесняли; он года через два уехал в Петербург искать счастья и устроился отлично.

Гровлевский и Слезков, оба незлобливые и порядочные, не выделялись ничем особенным, добросовестно дежурили, подчас записывали в журнал и сажали в карцер. Гровлевскому вредило очень его польское происхождение. В корпусе большинство было по происхождению малороссы, следовательно, недружелюбно настроенные к полякам, и бедному воспитателю приходилось иногда быть свидетелем неприязненных выходок и выслушивать от злых школяров пущенную вдогонку кличку — «пшик».

Незаметно один год сменялся другим. Постепенно подвигался я вперед, вперед, и наконец уже промелькнул и IV класс.

В отворенные громадные корпусные окна весна врывается ароматным потоком. Сады оделись роскошною зеленью и манят к себе кадет, у которых на плечах тяжелая обуза — экзамены. Первый назначен по географии. Страшен не предмет, а преподаватель — строжайший Рыков. Воспитанники разбились на группы и усердно готовят «предмет». Два-три особенно

выдающихся «зубряшек» занимаются поодиночке, находя для себя неэкономным терять время на неизбежные в сообществе с другими разговоры и споры.

На гулянье, на плац и в сад кадеты идут с книгами, не переставая и там заглядывать в учебники. Самые завзятые лентяи и те как будто взялись за ум. Наростовцев, курносый, с неподдающимися щетке вихрастыми волосами, надоедает всем расспросами: «что к экзамену надо и что не надо».

— С какой стати я буду дарить ему (учителю), — твердил он и после самых тщательнейших разведок с нескрываемым удовольствием вычеркивал «ненужное».

Я навербовал себе трех безнадежных «камчадалов» и повторял с ними курс географии. Они покорно слушают меня, но вряд ли многое усваивают; да и я сам стал очень рассеян, и мысли мои летают далеко от учебника.

Горский, шустрый блондин, старается поддержать за собою славу «способного», потому в сад не берет учебника и подзадоривает товарищей устроить какую-нибудь игру. Желающие находятся, покидают более прилежных собратов, продолжающих носиться с книгами. Постепенно площадь оживает. Среди мерно, тихою поступью двигающихся групп начинают шмыгать играющие кадеты и мешают заниматься.

Глаза устремлены в книгу, а ухо прислушивается к возгласу: «бар на пленного!». Тщетны усилия сосредоточиться. Врожденное желание порезвиться сказывается все сильнее и сильнее. К концу «прогулки» за книгами, под деревьями остаются единицы, маячащие, как часовые, в стороне от кипящей детворою зеленой поляны, украшенной довольно большим памятником.

Слушатели мои одни из первых увлеклись игрой, а я продолжал держаться в стороне от других. Четыре года уже я не видел горячо любимых родителей. Обыкновенно я, как и другие товарищи, не особенно тосковал по дому, но вот уже несколько месяцев, как отец опасно захворал, и с каждым письмом в душу мою вливалась новая горечь. Как страстно хотелось мне перелететь туда, далеко-далеко в родной дом и прижаться к своим… Как все хорошо там! Какие чудные горы! Какие сады и леса! Там все лучше. Перед экзаменами я получил письмо от матери; она собиралась привезти отца для совета с врачами в «Россию» и, конечно, завернуть в N повидать детей. С момента получения письма меня охватило одно нестерпимое желание поскорее свидеться со своими. На гуляньях я почти все время проводил у ограды, жадно вперив взгляд в длинную улицу, по которой пролегал почтовый тракт с юга. В каждом показывавшемся вдали дорожном экипаже я предполагал увидеть

дорогие, родные лица; но скоро разочаровывался и вновь выглядывал следующий экипаж.

Барабанная дробь сзывает роту, и кадет ведут в классы, на экзамен. После приветливого, зеленого сада раскрасневшиеся от беганья и крика кадеты попадают в обстановку, навевающую уныние. В большой классной комнате прибавлено несколько страшных, точно виселицы, черных досок, с новыми губками и массою обернутых в бумагу мелков. Вместо обычной кафедры стоит длинный стол, покрытый красным сукном; на нем разложены списки и веером раздвинуты билеты. Подле стола дежурит предусмотрительный классный сторож Бондаренко, он караулит билеты и чистоту новеньких досок. Однако теперь не до школьничества. Тихо размещаются воспитанники по своим местам. Одни нервно перелистывают учебник, торопясь подкрепиться сведениями; в глазах рябит, и им кажется, что они ничего не знают, все надо перечитать. Другие, систематики, успели сделать коротенький конспект, который в полчаса могут пробежать. Наростовцев, все предэкзаменные три дня потративший на добросовестное сокращение курса и составление конспекта, не рассчитал время, не успел приготовиться и теперь дрожал, держа в руках плоды трехдневных забот, красиво переписанные таблички, испещренные условными замысловатыми значками. У Наростовцева одна надежда на билет № 7, который по каким-то каббалистическим вычислениям должен достаться ему. Перед самым экзаменом уверенность эта сильно поколебалась; проверяя свое цифровое гадание, он начал сомневаться, не идет ли речь о № 9, который он совсем не знал.

Пробило 9 часов. Экзаменаторы еще не являются. Постепенно кадеты привыкают к торжественной обстановке и успокаиваются. Слышится разговор. На одной из скамеек даже решились «жать масло». В окно заглядывают лапчатые листья громадного клена, и из сада доносится веселое чирикание птиц, вдали слышится стук экипажей, трясущихся по мостовой, и возглас надседающегося разносчика: «мо-рро-женное хо-рро-шее!».

— Счастливец, право, этот мороженик!..

Несмотря на присутствие Бондаренко и страх встретиться с дежурным офицером, Наростовцев решается разведать у дневального, собрались ли экзаменаторы.

Скоро он возвращается с радостным лицом.

— Господа, Рыкова нет, должно быть, заболел.

В эту минуту вовсе незлобивый Наростовцев, да и добрая половина класса желали всяких невзгод строгому преподавателю географии, полковнику Рыкову.

— Рыков не придет, экзамен отменят.

— Вот будет здорово! Вот ловко!..

Многие относятся недоверчиво к подобному предположению и не допускают мысли, чтобы исправнейший Рыков мог не придти.

Говор становится слышнее.

«Приходящий» (не пансионер) воспитанник, крохотный Донской, вытащил из сумки булку и колбасу к страшному соблазну облизывавшихся соседей.

Но вот внезапно отворились двери, и на пороге показался инспектор, а за ним Рыков и ассистент, учитель истории Клименко.

Гробовая тишина моментально воцарилась в классе. Донской и приятель его, Наростовцев, окаменели с полными ртами.

Дежурный по классу громко отрапортовал и стал внятно читать молитву.

Наконец все уселись. Экзаменаторы пошептались, алфавитный список забегал в руках сурового Рыкова. Инспектор с Клименко несколько отодвинулись и, усевшись поудобнее, стали рассматривать программы, точно они видели их в первый раз. Рыков стальными глазами уперся в кадет и видимо старался продлить мучение. Хотя избавиться от экзамена невозможно, но отвечать первому многим очень не хочется.

— Пожалуйте сюда, — раздается строгий тенорок Рыкова, — господин… — Рыков останавливается и вновь инспектирует глазами класс. Наростовцев, чувствуя на себе пристальный, инквизиционный взгляд, не выдерживает, делает вид, что уронил книгу и нагибается под скамью. Бедняга! Напрасная увертка.

— Господин, — повторяет еще раз преподаватель, — да, вот, ты, Наростовцев, ступай-ка сюда!

Бледный, с дрожащими, замасленными колбасой губами, выходит к столу несчастный сократитель учебников. Глаза безусловно всех воспитанников направлены на Наростовцева, нервно одергивающего мундирчик. Инспектор, показав мельком на билеты, оборачивается к ассистенту и начинает с ним беседу о чем-то постороннем.

— Го-спо-дин Донской, Горский, Свиридов, Лех, — продолжает выкликать Рыков, пока не заполнятся места у всех пяти досок, на которых вызванные и начинают царапать мелом чертежи.

Наростовцев то и дело смахивает губкой свою невыразимую мазню. За ним насмешливо наблюдает Рыков и ловит его просящий помощи взгляд, брошенный в сторону класса. Показать чертеж или подсказать у Рыкова немыслимо, он отлично знает все ученические проделки, сам осматривает бумажки, которыми

завернуты мелки, и внимательно наблюдает, не написано ли что на ладони.

Пока Наростовцев неловко мнется, Горский решительно набрасывает на доске Азию. Мелок бегает по чертежу, торопливо вытягивая длинные реки с причудливыми зигзагами; не все ли равно, какие делать излучины, ведь ни Рыков, ни Клименко, ни инспектор, да, может быть, и составители карт не знают точного течения какого-нибудь Киянга или Брамапутры. Из-под ловкой руки Горского скоро вырастают узорчатые горы, которые весьма возможно, и отодвинуты им на сотню-другую верст в сторону; но на ученической карте такие неточности дела не портят. Еще несколько взмахов, и до этой минуты пустынная Азия запестрила городами в виде кружков, кое-где зазубрившихся (крепость) или раздвинувшихся даже в четырехугольник (столица). Рыков, любивший бойкий чертеж, с удовольствием взглянул на расчерченную доску и, пошептавшись с ассистентами, точно за судейским столом, не спрашивая, посадил Горского на место.

Ревнивый к успеху товарища, забыв на время домашние горести, я весь отдался треволнениям. Нехорошее чувство закрадывается в мое сердце при виде успеха соперника. Вытянувшись, я наблюдал за карандашом экзаменаторов и с сердечной болью заметил, как все трое поставили 12. Мне не сиделось на месте, хотелось скорее отличиться, выпалить тот ворох сведений, который я собрал за год; но вызывают не меня, а другого ученика. Приходится ждать очереди целые томительные часы. Наростовцев все еще не может справиться со своим чертежом, но ему не позволяют больше возиться с губкой.

— Видим, голубчик, видим, как вы отлично чертили, теперь расскажите нам, что знаете. И экзамен принимает обычное течение: у досок раскрасневшиеся лица, запачканные мелом костюмы, большею частью нескладные, отрывистые, с запинкой ответы. В списке царят больше «семерки» и «восьмерки», виднеются и злополучные непереводные «пятерки».

Подготовившиеся к экзамену воспитанники во время «перемены» окончательно овладевают собой, успокаиваются и желают лишь скорее отделаться. Неспрошенные «камчадалы» в унынии, они знают, что Рыков не только поставит единицу, но еще и поглумится вволю.

Экзамен кончился. Читают баллы. Наростовцев получил 5 и протестует, будучи вполне убежден, что его спросили тот отдел, который «не проходили». Неудачник за подтверждением обращается ко мне, также чрезвычайно возмущенному существующим порядком вещей — я, отвечавший чуть не полчаса, получил всего 11 баллов, а Горский, не сказавши ни одной

фразы, — 12…

Честное слово, несправедливо!

За географиею потянулись экзамены по другим предметам. Нервное возбуждение у некоторых воспитанников дошло до сильного напряжения. Хороший ученик Митрофанов, занимавшийся украдкой по ночам, до того зазубрился, что на экзамене по математике не мог ответить на самые простые вопросы и, как неспособный, оставлен был в классе на другой год.

Измученный постоянной лихорадкою ожидания приезда родителей и тревогой за больного отца, я все более и более становился задумчивым и, что со мной никогда прежде не случалось, удивительно рассеянным. Книги валились у меня из рук, мысли витали вне корпуса, а нужно было готовиться к экзаменам. Я принуждал себя к усиленной работе, старался нагнать потерянное время, но вскоре опять энергия оставляла меня. Брат, шестнадцатилетний кадет, всецело был занят серьезными выпускными экзаменами, и я не мог отвести с ним душу. По ночам я долго не мог заснуть, а во сне грезились Кавказские горы, перемешанные с классными досками, испещренными геометрическими чертежами; снился больной отец, призывавший к себе, снилось, что приехали родители, и я будто бежал в приемную…

Наступил уже праздник весны — Троицын день. При распределении времени подготовления к экзаменам праздники были сравнены с буднями, так что и в эти дни отдых нельзя себе позволить.

В Троицын день я вместе с несколькими товарищами поднялся спозаранку и в четыре часа утра был уже за учебниками и тетрадями. После утреннего чая кадет повели в церковь. Громадный, залитый солнцем белый храм выглядывал особенно торжественно, приятно. Повсюду виднелись приветливые зеленые ветки деревьев, букеты цветов и гирлянды полевых трав.

В экзаменационный период воспитанники особенно усердно несут свою лепту в церковь, и паникадила облеплены тройными рядами толстых восковых свечей.

Пахло увядающей листвой, свежим сеном и полевыми цветами. Священник с диаконом в блестящем белом облачении, парадная форма служащих в корпусе, яркие костюмы дам, радостное церковное пение заставляют верить, что люди празднуют, радуются Пятидесятнице. Однако забота о больном отце и экзаменное бремя тяжелым камнем легли на моем сердце. Первые полчаса я молился усердно и с молитвенником в руках следил за песнопением. Некоторые с очень живым характером кадеты всеми мерами стараются уклониться от утомляющей их

продолжительной церковной службы. Под видом стояния на коленях они садятся, опираясь на ступни ног, выходят в коридор, закрывая нос платком, будто унимают кровотечение.

На клиросе едва поместился полный хор кадетских певчих. Регент, старик Кальченко, обыкновенно ссорился со старшими кадетами из-за «нотного» пения. Он стремился довести исполнение простых напевов до известного совершенства, а большие певчие относились к этому спустя рукава и горели желанием изобразить что-нибудь «концертное». В особенности было трудно справиться с басами. Эти господа, с неустановившимися голосами, молоденькими петушками силились перекричать друг друга, и большого труда стоило регенту умерить их дикие восторги и завывания. Недовольные резкими замечаниями регента, баски нередко устраивали ему «бенефисы», не являлись на клирос, а шли в церковь в ротном строю, ссылаясь на недомогание. В таких случаях басовую партию пел сам регент и старательный учитель французского языка, швейцарец, баритон Лизард. В большой праздник Кальченко не решился вступать в борьбу с певчими, сдался на капитуляцию, и по церкви носились раскаты концертного запричастного стиха. С надувшимися от напряжения жилами и красными лицами неудержимым натиском бросились басы на верхние ноты, причем Кальченко с отчаянием простирал в их сторону обе руки и силился сдержать вокальный наскок; но вот партия спускалась ниже и ниже, кадетские басы, «без низов», как колол их регент, уже бессильно жужжали шмелями, чудные дисканты и альты выступали вперед и своими свежими и естественными голосами выкупали недочеты старших товарищей. Широкое, бритое лицо старого регента постепенно расплывалось в блаженную улыбку, и он уже с благодарностью, чуть не с умилением, смотрел в рот здоровенного кадета Надарова, замечательно мастерски в конце «пускавшего октаву».

— Хоть бы в капеллу, так и то в пору! — шептал растроганный Кальченко плохо понимавшему по-русски Лизарду.

Я, едва держась от усталости на ногах, заслушался пения и незаметно в мечтах перенесся из церкви опять в далекие страны, к себе на родину. Голоса доходили до меня все тише и тише, все вокруг как-то плавно завертелось, свечи мерцали темнее и темнее, пока наконец и совсем не потухли… Я упал в обморок. Стоявший очень близко от меня гроза корпуса, старший врач, крикун Горностаевский, один из первых подбежал ко мне и на своих могучих руках вынес из церкви. Несколько воспитанников суетливо помогали Горностаевскому и, воспользовавшись удобным случаем, выскочили вслед за больным товарищем.

Откинув в сторону свою обычную суровость, Горностаевский заботливо и почти нежно перенес меня в примыкавший к церкви лазарет и принялся приводить меня в чувство. В лазарете никак не ждали в этот день Горностаевского, и потому франт военный фельдшер Петухов не примочил по обыкновению квасом свои волосы, а завил роскошный кок, надел крахмальную сорочку и выпустил бронзовую цепочку.

Когда неожиданно появился Горностаевский со своей ношей, то ничего не подозревавшей Петухов подплясывал в приемной перед зеркалом, подпевая довольно громко: тра-ла-ла! тра-ла-ла!

При виде Горностаевского фельдшер на минуту остолбенел от ужаса и приготовился уже получить кару из рук обыкновенно свирепого доктора, проникнутого николаевскими традициями. Однако Горностаевский как будто не видел ни кока Петухова, ни смятых постелей в палатах, ни высунувшегося в открытое настежь окно больного; он весь был занят мною. Горностаевский уже давно заметил, как я на гуляньях ежедневно кого-то высматривал на улице. Предполагая, что кадет высматривает какого-нибудь запретного разносчика, он было налетел на меня, но, узнав причину любопытства, примолк и даже ласково меня потрепал за подбородок.

Вероятно, теперь Горностаевскому вспомнился этот случай, вспомнилось ему, быть может, и далекое детство, когда он также был с окраины, из Сибири, занесен от родных на чужбину с тем, чтобы никогда уже не увидеться с ними…

Неудержимой волной хлынуло забытое, и ему стало жалко и себя, и бедного мальчика. Когда я открыл глаза, то еле узнал нагнувшегося ко мне доктора, настолько непривычное выражение изменило Горностаевского. Доктор ласково ободрил меня, успокоил прибежавшего впопыхах моего брата и лишь при выходе из лазарета громыхнул на фельдшера, который неосторожно подвернулся ему на глаза.

Проспав часа два, я совсем оправился и хотел идти в роту, но меня не пустили.

Близость каникул и невозможность избавиться от экзаменов выгнали из лазарета всех «сомнительных» больных. Осталось очень немного: худосочный, тщедушный Кареев с зеленым зонтиком над красными глазами; грузин Пакнадзе с раздутой от золотухи шеей, порезанной в нескольких местах; здоровенный на вид школяр Лещина, запустивший себе собственноручно в ногу все лезвие перочинного ножа. В отдельной комнате, за ширмой, стонал и метался в жару бедный мальчик, Волнянский, вздумавший сейчас же после обеда заняться головоломными гимнастическими упражнениями, за что и поплатился заворотом

кишок. Подле него дремлет сторож, отставной солдат. Родные трудно больного живут также далеко от корпусного города и не помышляют, конечно, о той опасности, которая угрожает их сыну. Лекарств подле него целая батарея, но нет заботливой, родной материнской руки…

По утрам ватага худосочных и золотушных воспитанников прибегала в лазарет пить какую-то невозможную бурду — настой весенних трав. Они вносили некоторое оживление в скучную атмосферу лазарета; с их уходом все погружалось в грустное настроение. Неприятно тикал маятник стенных часов в коридоре, Пакнадзе с Лещиной неутомимо играли в шашки; как тень скользил по комнатам восковой Кареев, и из комнаты Волпянского доносились жалобные стоны… А в саду так хорошо, так манит туда веселая весна! Из окон лазарета виден лишь маленький участок захолустного переулка, по которому изредка продребезжит извозчик. При каждом стуке экипажа я жадно бросался к окну, боясь пропустить приезд своих. Но ожидания были напрасны. Какая это мука! От окна я шел в дежурную комнату, где, развалясь на диване, отсиживал «лишки» фельдшер Петухов. Старший врач не пропустил отступления от формы одежды, нарядил бедного франта на несколько лишних дежурств и приказал немедленно, тут же, в лазарете, его остричь. Петухов с горечью высказывал мне свои жалобы на доктора, «мужлана», человека, по его мнению, не понимающего, что кавалеру неловко стричься под гребенку и носить некрахмаленную сорочку. Петухов имел всегда большой запас старых газет, которые он получал от своего пациента-приятеля парикмахера и любил читать вслух интересующимся политикой кадетам. Я очень благодарен Петухову за его газетные номера; они мне зачастую доставляли большое удовольствие, и ими я иногда стал зачитываться так же, как прежде *«Жакерией»* или *«Черной Пантерой»*.

Вскоре после поступления в лазарет ко мне пришел брат. Он получил письмо, в котором говорилось о безнадежном состоянии отца, затем в конце, другим почерком, прибавлено, что он умер. Чувствуя себя единственным покровителем брата, нервно и без того уже расстроенного, он силился преодолеть свое горе и поддержать более слабого. Объявить сразу о тяжелой утрате ему казалось невозможным, и старший брат заговорил об усилившейся болезни отца. Узнал он это, по его уверениям, из только что полученного письма, которое будто бы затерял. Это обстоятельство сильно встревожило меня, усомнившегося в действительности потери драгоценного для нас пакета. Напрасно я упрашивал брата не скрывать от меня, а сказать правду. Тот

успокаивал меня и просил не тревожиться. На другой день истина открылась. Брат, обливаясь слезами, объявил о смерти отца и желании матери видеть в тяжелую минуту детей подле себя. Четыре года разлуки с отцом и теперь, вместо ожидаемого свидания — смерть! Как в забытьи прошел для меня день получения печальной новости. К вечеру я глубоко заснул, и мне снился Кавказ, снился родной дом и плачущая мать. У меня сердце разрывалось от горя, и мне хотелось полететь к матери, и прильнуть к ней, и выплакать свою душу. Наутро пришел брат и заговорил о поездке домой. Тысячеверстная, тяжелая дорога в перекладной не пугала нас. Лишь бы отпустили в такую даль «без провожатого»…

Через неделю после получения письма о смерти отца к корпусному подъезду подкатила почтовая телега, братья-сироты торопливо уложили свои вещи и вскоре уже довольные, с улыбающимися лицами тряслись по городской мостовой. За городом мы перегнали еврейскую фуру, в которой сидело чуть не до дюжины кадет. На козлах, подле чахлого еврея-кучера, помещался грустный Наростовцев. Экзамена он не выдержал, после каникул мерещились тяжелые переэкзаменовки, а дома предстояли тяжелые объяснения с суровым отчимом, к которому он ехал в отпуск. Экипажи остановились. Кучер, воспользовавшись случаем, забегал с ведром и принялся поить лошадей.

Наростовцев не выдержал и начал жаловаться мне на придирки экзаменаторов, спрашивавших его «непройденное».

Вскоре подъехал к кадетской группе еще один экипаж, тарантас, в котором, среди массы свертков и коробок, сидел кадет Горский, перешедший в следующий класс первым. Отодвинувшиеся было на время душевного траура школьные интересы при виде соперника вдруг снова охватили меня. Ах, как бы мне хотелось в будущем учебном году отличиться и взять верх над товарищем.

Звякнул почтовый колокольчик, и тройка покатила дальше; густая пыль, поднявшись столбом, сразу окутала нас и отделила от фургона и тарантаса. Домой, скорей домой!

Через десять дней утомительного путешествия на перекладных мы подъезжали к той кавказской крепостце, где мы родились и где теперь ждала нас мать. Здесь пролетело наше беззаботное детство до отъезда в корпус. Нам казалось, что на родине все нас приветствует: и зеленые горы, и синеющее вдали море, и встречающиеся по дороге горцы, и солдаты с белыми погонами. Когда, наконец, показались башни родного укрепления, а вскоре из-за холма выглянули беленькие дома с

глиняными крышами, а за ними широко раскинулись далеко уходящие вдаль роскошные сады, — мое сердце сильно застучало, и я готовь был разрыдаться. Ямщик-татарин гаркнул на лошадей, и почтовая тройка лихо подкатила к воротам нашего дома, откуда уже все выскочили встречать дорогих гостей. Мы бросились к похудевшей и начавшей уже седеть матери и осыпали ее поцелуями. Растроганная мать радостно ласкала нас и все повторяла: «как вы выросли, переменились!..».

Мне хотелось многое, многое сказать матери, но в то же время также неудержимо влекло осмотреть дом, сад… Через час по приезде я уже обегал всюду и счастливый и довольный сидел за обеденным столом.

Домашние блюда мне казались верхом совершенства, и я, не жалея черных красок, описывал незавидную корпусную еду.

И понеслось каникулярное время.

После каникул старшие мои братья уехали в Петербург в военное училище, и я остался в корпусе совсем одиноким. Как-то в одно из воскресений меня позвали в приемную, где ждал Николай Федорович, которого я не видал уже около года.

— Представь, каждое воскресенье собираюсь к тебе, да все что-либо мешало; а сегодня ехали мимо корпуса с Лидой, вспомнили о тебе, а она приказала мне привезти тебя к ним обедать!

— Кто это Лида?

— Да дочь Ждановича, единственная наследница и шестнадцатилетняя брюнетка. Этакое невезенье, вообрази, приходится мне кузиной!

А то бы… — И Николай Федорович так победоносно взглянул, что нельзя было сомневаться в его уверенности в победе над сердцем девушки.

Идти в гости мне казалось удивительно страшным, и я стал отказываться. Но с Николаем Федоровичем нелегко было в таких случаях справиться, и он, забывавший меня в течение года, невольно свидевшись со мной, проникся нежностью и уверял меня, что будет приходить ко мне во все приемные дни, принесет мне новые журналы и достанет билеты в любительский спектакль. Наконец я сдался, и мы с ним отправились к Ждановичам.

Это было очень состоятельное семейство, переехавшее в первый раз еще из деревни на зиму в город вывозить дочь. Отец, очень суровый и необщительный человек, однако, души не чаял в дочке, которая умела, хотя и не всегда, справляться с ним. Мать, болезненная, кроткая женщина, не могла еще осилить горя об умершем года два тому назад единственном сыне, уже офицере.

Лида заметила нас из окна и встретила в передней. Из

соседней комнаты слышались звуки вальса. Еле я успел снять пальто и неловко, конфузясь, поклониться девушке, как она подхватила меня и заставила влететь в гостиную вальсом. Розовенькое, смеющееся личико, черные глаза и вообще вся хорошенькая фигурка сразу произвели на меня, затворника, одуряющее впечатление.

Я, ни за что не соглашавшийся на корпусном вечере войти в танцевальную залу, удивлялся, как это так свободно танцую с барышней. Меня оставили обедать, и я вернулся в корпус в восторженном состоянии.

Старик Жданович пригласил меня бывать у них, и я этим воспользовался, явившись на следующее же воскресенье. Плутовка Лида подметила мое к ней неравнодушие и слегка кокетничала со мной; правда, я был единственным кавалером.

Перед знакомством с Ждановичем я довольно близко сошелся с кадетом Сонимским, недавно переведенным из Московского корпуса. Он любил Вальтера Скотта и, обладая изумительною памятью, рассказывал исторические романы с мельчайшими подробностями. Бывало, на гулянье возьмет меня под руку и ровным голосом, с небольшим откашливаньем в течение часа пересказывает мне разнообразные рыцарские приключения, пока барабан не ударит сбор; тогда он замолкал, точно захлопнутая книга, и прибавлял: «продолжение до следующего номера», и я с нетерпением ждал этого продолжения. Но теперь меня не тешили чужие романы, мне хотелось говорить о своей героине, и я расписывал Лиду самыми яркими красками, оделял ее наилучшими благороднейшими стремлениями. И мне было хорошо. Все казалось таким живым, светлым в Божьем мире.

Лида любила танцы и хотела во что бы то ни было танцевать, а ее никуда не вывозили. Старик Жданович скучал по деревне, бранил город и никак не мог собраться выехать с визитами. Жена его чувствовала себя все нехорошо и тоже никуда не выходила. Таким образом, с переездом в город развлечений у барышни не прибавилось, а главное, не было кавалеров. При таких обстоятельствах и кадет был желанным гостем, тем более что он смотрел влюбленными глазами и торопился исполнять все ее поручения.

Прошел месяц. Лида делала мне глазки, позволяла целовать кончики розовых пальчиков и вздыхать, вздыхать!.. Я был на седьмом небе и мечтал, что такое блаженное состояние продолжится вечно. Приближался Николин день, который знаменовался всегда большим балом в институте, куда приглашалось самое избранное местное дамское общество, а для танцев — кадеты. Я раньше никогда не был на этом балу, но

слышал многое от моего товарища, сына директрисы, и рассказывал Лидии о предстоящем веселом торжестве. Она захотела во что бы то ни стало попасть туда и пристала с этим и к матери, и к отцу. Мне лично не очень улыбалась перспектива ее выезда. Как бы хорошо, думалось мне, не нарушать заведенного порядка и быть подальше от других, от усатых кавалеров, от возможных соперников.

Ждановичи не знали никого из институтской администрации и, следовательно, попасть на бал было нельзя. Лида страшно огорчилась и, вбежав в свою беленькую комнатку, бросилась на диван, уткнулась в подушку и горько расплакалась.

Мне стало невыразимо жаль это маленькое, хорошенькое создание, и я решил утешить ее.

— Лида, не плачьте. Вы будете танцевать на балу, я вам это устрою. Клянусь!

Кудрявая головка немного приподнялась, на меня глянули недоверчиво большие заплаканные глаза, и улыбка заиграла на осветившемся личике.

И я устроил. Устроил через сына директрисы, своего товарища.

От корпуса назначили на бал целый отряд — шестьдесят человек. Те из кадет, которые имели деньги, покупали новые перчатки, духи, помаду; неимущие сами в кадетском рукомойнике мыли перчатки, выжимали их в полотенце и сушили за форточкой; бегали «на перевязку» в лазарет за репейным маслом для волос или просили у товарищей «один раз колупнуть» в помадной банке.

В шесть часов вечера уже все кадеты были готовы. Лицо и руки по нескольку раз вымыты яичным мылом; волосы припомажены, пуговицы и сапоги вычищены до предела возможности. Некоторые шикари — в собственных мундирах с офицерскими петлицами, с крахмальными выставленными воротничками и манжетами. Вкус наш неприхотлив, и нам кажется, что они хорошо одеты.

С нами едут несколько воспитателей. Один из них, недавно назначенный, конно-артиллерист фон Драншем, очень видный брюнет, с лихо расправленными бакенбардами, с капитанскими, несмотря на поручичий чин, эполетами и также с высокими воротничками и толстой часовой цепочкой.

Драншем ходит как-то по-балетному развертывая носки. Кадетам нравится эта походка, нравится его бравая фигура, и ему подражают. Стараются так же, как он, откидывать назад голову, так же держать правую руку между второй и третьей пуговицей мундира, так же по-балетному ходить и отстукивать каблуками в

мазурке.

Мы собираемся в институтской приемной и по проезде директора поднимаемся вверх. Кадеты первые гости. Лестница убрана цветами, пахнет духами, сверху слышится, как воспитанниц сдержанными окриками гоняют в зал, не дают взглянуть на поднимающуюся вереницу кавалеров.

Седой директор и воспитатели бесстрашно двигаются вперед, а у некоторых кадет от непривычной обстановки и предстоящих танцев «с дамами» душа в пятки уходит. Они обдергиваются, стараются взглянуть в зеркало, взбить волоса на висках и выровнять пробор.

На верхней площадке нас встречает величавая начальница и окидывает всех зорким испытующим взглядом. Мы неловко кланяемся, и не зная, куда деть руки, толчемся в коридоре, а из дверей залы на нас с любопытством уставились оживленные личики воспитанниц. Сборный оркестр, составленный из двадцати еврейчиков, настраивает свои инструменты. Место дирижера занимает наш регент и учитель музыки Кальченко. Приятно видеть знакомое лицо, и мы, чуть не все, обращаемся к нему с различными вопросами.

Приглашенные мало-помалу собираются. Оркестр сыграл польский и перешел на вальс. Начальство вошло в залу, институтки расселись по стенкам в ожидании блаженного момента; громадный зал с вылощенным, как зеркало, полом пугает кадет, столпившихся у двери и нервно натягивающих давно уже одетые перчатки. Воспитатели ободряют танцоров. Долее ждать нельзя, и вот два более храбрые, сбивая по дороге друг друга, подходят к ближайшим воспитанницам, заранее уже с блаженными улыбками приподнявшимся навстречу кавалерам. Понеслись первые две пары, а за ними через минуту по зале завертелись десятки кадет и институток. Появилось несколько фраков, офицерских мундиров и шлейфов. Кальченко неустанно машет рукой, еврейские скрипки заливаются и всхлипывают, контрабас мерно гудит, а пары все носятся и носятся по залу…

Танцуют еще и в трех классных комнатах, откуда вынесена вся мебель. Здесь прыгают воспитанницы младших классов и те из кадет, кому страшно идти в большую залу. Музыка сюда плохо долетает, но это не мешает оживлению.

Лакеи разносили конфеты и фрукты, но держали подносы или высоко, или так стремительно проходили, что полакомиться мог лишь особо настойчивый кадет.

Перед кадрилью я встретился в коридоре с сияющей Лидой; она была в белом платье, убранном цветами. Не знаю, как другим, но мне она показалась положительной красавицей и

недосягаемой. Первая кадриль заранее была мне обещана. Послышался ритурнель. Лида оперлась на мою руку, и я, не слыша под собою ног, горделиво вошел в залу. Визави мой, однако, не являлся; видимо, он струсил и забился в одну из классных комнат. Меня это нисколько не огорчало, и я с удовольствием променял бы кадриль на беседу tête à tête[106] в коридоре; но моя дама была не того мнения и приказывала мне разыскать визави. Фон Драншем, стоявший недалеко и присматривавшийся к Лиде, услышал, в чем дело, приказал мне представить его ей и предложил свои услуги в качестве визави.

По мере того, как одна фигура сменялась другою, я чувствовал, что Лида уходит от меня все дальше и дальше… Она не спускала глаз с ловкого конно-артиллериста, который, позванивая шпорами, молодцевато проделывал балансе и шены.

На моих глазах, в течение четверти часа деревенская беззаботная барышня без боя сдалась и впорхнула в клетку на всю жизнь.

Ревность клокотала в моей груди, а поручик торжествовал, и я слышал, как ему обещали и вторую кадриль, и мазурку.

Какая неблагодарность! Я же ее сам сюда пригласил, и теперь казнись. И виной, думалось мне, визави Юневич. Какое он имел право не явиться в зал!!

Оркестр гремел вновь кадриль. Я увидел, как Лида оживленно беседовала с фон Драншемом, не мог оставаться в зале и пошел искать Юневича, собираясь с яростью обрушиться на него. Он действительно забился в последнюю комнату, но не один, а с прехорошенькой с пепельно вьющимися волосами институткой Задонской. Она конфузливо слушала его, а он с увлечением доказывал ей что-то. Так вот что заставило его уклониться от визави! Я подошел ближе и услышал, что он расписывал ей прелести нашего корпусного стола.

Юневич с одушевлением перечислял наши блюда, а барышня краснела.

— Я бы очень хотела попробовать кадетских блюд, — послышался мне робкий голос институтки.

— Завтра же пришлю вам целую корзину наших пирогов.

— Что вы, что вы?! Разве это можно!!

— Да уж пришлю. Скажу, что… Ну, там выдумаю что-нибудь.

— Откуда же вы возьмете пироги?

— Откуда?? Господи, да для вас весь корпус отдаст все свои порции.

— Какой вы, право, смешной… А знаете, сюда, наверное, придет Анна Карловна и разбранит меня, отчего я не танцую, а разговариваю здесь с вами.

— Неужели вы так боитесь выговора, а я-то думал…

— Что вы думали? Скажите скорей!.. Только не громко. — Но ответ мне не удалось услышать: в эту же комнату, вероятно, в поисках за уединением, вошел Драншем под руку с Лидой. Я не успел совладать с собой, кровь бросилась в голову, и я хотел незаметно проскользнуть в коридор, но Лида меня заприметила, подозвала к себе и попросила разыскать внизу ее человека и принести ей sortie de bal[107].

— У вас теперь есть кавалер, пошлите его, — буркнул я грубую фразу и не помня себя бросился вон. Мне послышался противный смех Драншема, а соболезнующий голос Лиды звучал: бедный мальчик!

— Мальчик, бедный мальчик! да мне уже скоро пятнадцать лет! — хотелось мне крикнуть в сторону Лиды.

Уехать из института ранее окончания бала было нельзя, и я казнился до конца. Мне, впрочем, доставляло даже удовольствие, сложивши руки на груди, с презрением поглядывать на носившуюся в бешеной мазурке пару. К сожалению, они, немец и коварная, меня не замечали, но стоявший вблизи воспитатель, толстяк Андрей Иванович, за женой которого, как кадетам было известно, ухаживал Драншем, видимо, понял мое положение, участливо потрепал меня по плечу и сунул в руку апельсин.

Так недавно все вокруг казалось мне хорошим и добрым, а теперь сердце щемило и… хотелось плакать, плакать слезами обиды.

Из института мы возвращались на каких-то громадных розвальнях. Холодный воздух освежил, подбодрил меня, и в корпус я вошел значительно успокоенный. Зато мой сосед, Юневич, имевший неприятную привычку и в обыкновенное, мирное время, толковать вслух во сне, в эту ночь особенно разошелся и то и дело как-то восторженно выкрикивал; дежурный дядька будил его, он переворачивался на другой бок, шамкал губами, успокаивался на время, а потом опять нес околесицу.

Кадетское ухо привыкло не только к ночным разговорам и крикам, но и барабанный бой по утрам не беспокоил многих, в особенности после бала, и воспитателю приходится самому тормошить некоторых беззаботных. Когда Андрей Иванович сдернул одеяло с Юневича, то у него с постели упала роза.

— Ах, разбойник, вот он отчего вставать не хочет, спит с розой! Грузный, добрейший Андрей Иванович, довольный своим каламбуром, смеясь подошел ко мне и забасил:

— Что, брат, отбили даму! — Но запнулся, покраснел, рассердился и во всю глотку крикнул:

— Вставать, — инсти-тут-ки! Моментально! не то запишу в

журнал.

За уроками по кадетским рукам заходил листок с акростихом, написанным Юневичем в честь Задонской. Начиналось так: «Золотые кудри, аленькие щечки». Конфетное стихотворение всем нам понравилось. Строгий учитель математики, невозмутимый полковник Ширко, преподававший также и в институте, перехватил листик, прочел, улыбнулся и, заметив по вспыхнувшему лицу Юневича, кто автор, обратился к нему:

— Юневич, неточно выражаетесь, у Задонской не золотые, а пепельные волосы. По математике она слаба, очень слаба. Жаль, очень жаль!

Ширко вновь начал читать акростих и, как нам показалось, с особенным чувством, причем отбивал такт рукой, но, не окончив сонет, нечаянно ткнул пальцем в чернильницу, врезанную в стол, и этим, конечно, произвел неожиданный эффект. Кадеты, привыкшие видеть Ширко неразговорчивым, требовательным, педантически чистым, «его мел даже не марал», и вдруг! Ширко декламирует кадетские стихи и обмакивает в чернила пальцы. Многие засмеялись. Учитель вспыхнул.

— Юневич! К доске!

И Ширко, ничего не задав вызванному, заходил по классу. Все примолкло и ждало грозы. Юневич дрожал, так как приготовления к балу и, наконец, самый бал отдалили его от математики, к которой он никогда склонности особой не имел. Наконец Ширко взглянул на оробевшего кадета, нервно разворачивающего на мелке бумажку, и остановился перед ним. Лицо учителя постепенно просветлялось непривычной для нас доброй улыбкой.

— Что, господин влюбленный, не до математики теперь? Ну, садитесь и готовьтесь к следующему разу.

За завтраком большинство кадет нашего отделения отдали Юневичу свое единственное блюдо, длинные порционные пироги, начиненные жилисто-хрящеватым фаршем. В складчину была куплена корзинка апельсин, и на дне ее уложены пироги и акростих. Влюбленному удалось-таки доставить обещанное и получить из института спустя несколько дней, через родственника Задонской, кадета, пирожное безэ.

Когда мы пошли в корпусный сад на гулянье, то я занял свой обычный наблюдательный пост, откуда была видна самая лучшая городская улица, по которой перед завтраком ежедневно гуляла Лида. На этот раз она тоже появилась, но не с одной гувернанткой, а еще с кавалером — Драншемом.

— Господа, смотрите, Дранчик ухаживает за какой-то

хорошенькой брюнеткой.

— А она ему делает глазки, честное слово, кокетничает с ним.

Мне было и больно, и стыдно, и злость кипела к офицеру. Страстно хотелось заявить о себе каким-нибудь чрезвычайным образом. Мне чудилось, будто на Лиду налетает карета, я бросаюсь под лошадей, задерживаю ее своим телом и окровавленный, умирающий, но с презрительной улыбкой говорю: «Можете теперь спокойно продолжать веселую прогулку с трусливым, самозванным капитаном».

Лида, подойдя поближе, весело кивнула мне головой; а я не мог убежать, не мог отвернуться от Драншема, а должен был вытянуться и отдать ему честь. Хорошо еще, что он был офицером в другом «возрасте» и, следовательно, редко попадался мне на глаза. Сонимский, знавший мои сердечные тайны, взял меня под руку и тихо начал «продолжение следующего номера». Я постепенно заинтересовался перипетиями лордов и леди и рисовал себя героем романа: рыцарем, выезжающим на турнир, закованным в черные латы, с опущенным забралом, с грозно нависшим копьем. Затрубили трубы, загремели литавры — но это не рыцарские фанфары, то трубит горнист, сзывая кадет в строй. Нужно покидать сад, идти опять в классы. В институте или на гулянье я простудился и должен был отправиться в лазарет, где меня ласково встретили старые знакомые, фельдшер Петухов и дядька Платов. Вскоре я узнал, что Драншем после Рождества женится на Лиде и откомандировывается от корпуса. Лиду я больше не видел: она скоро уехала с матерью в Москву делать приданое, а затем венчалась в деревне.

Прошел еще год, я уже перешел в выпускной класс и, как многие из товарищей, к этому времени сильно вытянулся и принял вид юноши. В классе уже слышались не детские голоса, а некоторые совсем-таки басили. Состав воспитанников изменился значительно. Начальство решило соединить два небольшие порознь отделения в одно. С прибавкой сюда оставшихся на другой год в классе, общество вышло пестрое и не спевшееся. Воспитатель приходил в отчаяние и почти каждый вечер журил класс и рисовал нам в будущем невеселые картины.

Веяние начала 60-х годов проникало и в корпусные дортуары, которые, казалось, были так плотно закрыты для всякого рода внешних влияний.

Хорошие идейные стремления того времени общественной массой были плохо переварены и главным образом повлияли на столь свойственное славянской натуре отрицательное отношение к сложившимся жизненным условиям, традициям и прежним

авторитетам. Эти веяния далеко не на всех подействовали освежающе, на многих и многих они произвели действие пыльного урагана. Как через незаметные щели дорожного сундука проникает в него шоссейная пыль и грязнит платье, так и нравственная пыль пробиралась в закрытое заведение…

Во время отпуска кадеты, так же как и воспитанники других заведений, нередко наталкивались на проповедников новых начал, читали без разбору ходкие по тому времени сочинения и, не переварив этой пищи, сбивались с дороги. Впрочем, можно было и не выходя из заведения поучаться новому слову.

В классе был приходящим сын корпусного учителя французского языка, Катсис. Он был главнейшим провозвестником нигилистических теорий. Конечно, большинство воспитанников отнеслось если не враждебно, то без всякого интереса к поучениям несимпатичного молодого француза, но нашлись и такие, которые живо восприняли его слова и вскоре в крайностях перещеголяли своего учителя, образовали кружок «заговорщиков». Сюда вошли: Смаховский, Овцын и Марофон. Смаховский, в высшей степени несимпатичный юноша, ни с кем в классе не ладил, исподтишка делал всем неприятности, занимался специально химией, почему и слыл под именем «Алхимика».

Овцын и Марофон были славные ребята и способные ученики. После сближения с Катсисом Овцын, способнейший математик, бросил заниматься науками и весь ушел в чтение приносимых французом книг. Все трое они решились по окончании корпусных экзаменов бросить военную службу и поступить в один из технических институтов.

«Заговорщики» подтрунивали над прилежными и «паиньками».

Грустно вспомнить, что разные непростительные выходки кружка заговорщиков против религии и начальства не встречали явного, гласного отпора от товарищей. Общее течение незаметно уносило большинство семнадцатилетних кадетов и делало их нечувствительными к подобным дурным проявлениям.

Воспитатель, подполковник Слезков, старый кадет, пользовавшийся прежде общим уважением за ровный характер и справедливость, подвергся, заглазно, конечно, особому вышучиванию Катсиса и Смаховского и постепенно в глазах класса из достойнейшего человека обратился в глупого ретрограда, отъявленного бурбона и надоедливого, шипящего «гусака».

Слезков чувствовал, что говорится что-то неладное, хотя вряд ли знал действительное состояние умов своих воспитанников. Не

проходило вечера, чтобы он, старательно заперев в коридор дверь, не читал бесхитростных нотаций. Однажды воспитатель явился совершенно расстроенный и прерывающимся голосом заговорил о той путанице понятий, которая завелась в некоторых головах, и под конец обратился к побледневшему Смаховскому и предсказал ему виселицу, если он не бросит «завиральных идей». Подобное заявление, сказанное особенным, непривычным для воспитанников, раздраженным тоном, немало удивило кадетов и показалось дикой выходкой разгоготавшегося гусака. Только после выпускных экзаменов стало известно, что Смаховский пытался отравить Слезкова хлором и был им пойман. Слезков никому не рассказал об этой гнусной истории, и она так бы и не открылась, если бы не хвастовство самого преступника.

В последнем классе многие из кадетов с особенным старанием занимались математикой, этим излюбленным в корпусе предметом. Преподаватель, литвин Ширко, благодаря своим познаниям, отличному изложению и удивительной находчивости в решении задач, вырос в наших глазах. В корпус начали проникать толки об исключительных выгодах инженерной службы, и среди семнадцатилетних юношей находились такие, у которых уже начали роиться мысли о земных благах железнодорожных строителей. Два кадета объявили о своем желании поступить в институт инженеров путей сообщения.

В то время, когда мы чувствовали прилив особого почтения к математику, один из учителей, Шершов, привлекал нас все более и более своею задушевностью и страстною любовью к преподаваемому им предмету — русской литературе. Шершов недавно только приехал из Петербурга, окончив после духовной академии педагогические курсы. Наш корпус он выбрал, надеясь на юге поправить свое плохое здоровье.

Неудовлетворительных отметок Шершов не ставил, а лишь помечал на тетради: «жаль воспитанника, лишающего себя возможности наслаждаться художественным произведением».

Однажды перед Рождеством Шершов принес наши сочинения на тему: «О психической деятельности человека» без всяких отметок. Его засыпали по этому поводу вопросами.

— Мне не следовало давать вам эту работу, вы еще… слишком молоды. Я сам виноват, что не взвесил ваших сил.

Эти робко произнесенные слова подействовали на нас, как удары плетью.

— Николай Николаевич, — заявил кто-то, — позвольте мне еще раз на эту тему написать.

— И мне, и мне! — послышались с разных скамеек голоса. Шершов объявил, что первая письменная работа после

праздников будет на произвольную тему.

Многим захотелось доставить удовольствие добрейшему Николаю Николаевичу, и потому мы засели с большим усердием за необязательную работу. Большинству пособием служило находившееся у нас под руками сочинение Ушинского.

Не знаю, насколько откровенен был Шершов, но в следующий раз он принес тетради с довольной улыбкой и благосклонными отметками, а одну из работ, как «очень рассудительную», по его словам, прочел вслух и предсказал автору публицистическую известность.

Шершов часто прихварывал, но старался все-таки не пропускать лекций; однако под конец курса он слег в постель, и мы, беспокоясь о здоровье учителя, выбрали депутацию, которая отправилась в воскресенье проведать его. Как он был нам рад! В то же время он видимо конфузился неприглядности своего крошечного помещения, которое он занимал со своей, также болезненной, женой. По странной случайности он помещался в двух отдельных комнатах квартиры Антоненки; остальные комнаты были в распоряжении Николая Федоровича, не появлявшегося, по обыкновению, ко мне ни разу с самой осени. Я отправился в другую половину квартиры, и через четверть часа были отставлены шкапы, отперта соединительная дверь, и мы вкатили в просторную столовую кресло сконфуженного Шершова. Вместо пыльной, узкой улицы, перед глазами зеленел сад, и из цветника веяло ароматом только что высаженных в грунт цветов. Шершов с наслаждением вдохнул чистый воздух и с оживлением заговорил о предстоящих каникулах, о том, как он в деревне наберется сил, возьмет в будущем учебном году больше уроков, наймет отдельный домик и заведет корову для своей бедной, больной Меланьи Ивановны; а она, слушая эти слова, рыдала в другой комнате:

— Не поправиться ему, моему голубчику!

И грустно, и тяжело было видеть иссохшего больного преподавателя, и в голове вертелась скверная, эгоистичная мысль: кто-то будет экзаменовать, вместо него, по русскому языку?..

Наконец наступили и выпускные экзамены, — окончание курса среднего учебного заведения. Корпусный сад опять манил к себе своей роскошной зеленью, опять нервное возбуждение и упадок сил. Но труднейшие экзамены сданы, остаются более легкие, забота отлетала, и на меня нахлынуло новое чувство, сердце болезненно сжималось при мысли о скором расставании навсегда с корпусом и большинством товарищей. Чувствуя близкую разлуку, все особенно дружно держались, только

Смаховский с Катсисом бродили по-прежнему в стороне.

Вот незаметно подполз и последний день, день расставания. После каникул все должны были возвращаться в корпус и оттуда уже, с воспитателем, ехать в Петербург в военные училища; я же получил более продолжительный отпуск и теперь же должен был проститься со всеми. Тяжело было бросать заведение, в котором провел семь лет…

Уезжая из N, я долго еще оборачивался и с любовью взглядывал на царивший над всем городом корпусный купол. Почтовая тройка, однако, уносила все дальше и дальше. Скрылся из глаз город, скрылся и корпус…

II. Юнкерские годы. 25 лет назад[108]

1

Юбилей! 25 лет!.. Да, много воды утекло со времени производства в офицеры. Жизнь прошла, и все, что было тогда юно, молодо, порывисто — состарилось, успокоилось и молодость не вернется никогда…

В памяти рельефно выступает училищная жизнь со всеми ее мелкими, но дорогими для меня подробностями. Длинная портретная галерея начальников и товарищей развернулась нескончаемой лентой; приветливые и суровые, добрые и насмешливые лица стали передо мной, точно на вечернюю «перекличку». «Одних уж нет»… другие разбросаны по всей империи; очень немногие задержались в Петербурге и осели тут навсегда. Зато как приятно встретиться с старым товарищем, с однокашником и припомнить былое, прошлое!

После окончания курса в одной из провинциальных военных гимназий[109] я приехал в Петербург в военное училище[110] один, без товарищей, которые под руководством воспитателя «привезены» были ранее меня на несколько дней. Прямо с вокзала я направился в училище. Невский проспект меня не особенно поразил, по картинам и иллюстрациям я знал уже его, знал и столичные монументы; здание же училища показалось мне очень некрасиво, а подъезд и вестибюль очень небольшими, по сравнению с тем, что я ожидал встретить.

Из-под маленькой лестницы, из своей конуры, откуда тянуло жареным кофе, выскочил старик-швейцар в красной ливрее и указал, как найти дежурного офицера. Пройдя через небольшую приемную, я уперся в большой стол, за которым сидел насупившийся, свирепый на вид капитан, с лицом, обильно заросшим черными волосами. Офицер резко оборвал мою речь и приказал отправиться в роту.

Этот неласковый прием обдал меня холодом и укрепил желание скорее перебираться из «академии шагистики» в инженерное училище, на что я имел право. О своем желании я заявил по начальству и был убежден, что через несколько дней буду переведен, но вышло совсем иное. Меня позвали к начальнику заведения, очень мягкому и доброму человеку, который заговорил со мною языком военно-гимназического воспитателя и советовал остаться под его начальством, рисуя передо мною в будущем радужные картины. Говорил генерал очень хорошо, хотя имел дурную привычку прерывать плавно льющуюся речь какими-то, видимо ободрявшими его, звуками «пхе-пхе».

Корпусные товарищи отстаивали точку зрения начальника и окончательно убедили меня, махнув рукой пока на инженеров, оставаться в «академии шагистики». По поводу этого решения устроено было в «курилке» генеральное чаепитие.

В небольшой комнате, отведенной специально для курения, разрешалось также пить чай. Дым столбом стоял всегда в этом своеобразном ротном клубе. Недавние кадеты, добравшись до запретного плода, немилосердно палили самодельные крученки из дешевого табаку, хранившегося в самых разнообразных помещениях, вроде коробки от монпансье. Более зажиточные, впрочем, покупали готовые папиросы, которые набивал училищный музыкант, фаготист, и раз в день торжественно, с надуто-важным лицом, разносил по ротам в бельевой корзинке свои произведения. Вместо пепельниц в «курилке» стоял большой деревянный серый ящик для дров и непрезентабельным видом нисколько не шокировал юнкеров.

Ротный клуб служил вместе с тем и концертным залом, так как в остальных помещениях строго было запрещено пение, которое в мое время очень любили юнкера.

Особенно часто раздавались хоры из *«Жизниза царя», «Аскольдовой могилы» ш «Русалки».* Композиция была несколько исправлена училищными меломанами, не справлявшимися, конечно, с партитурой, но работавшими на память, без скучных нот. Зато раз установленный таким образом номер исполнялся уже всегда с точностью, в этом неписанном, приспособленном к юнкерским силам, издании. Удивительно азартны были певцы и не жалели ни горла, ни времени, к большому огорчению жившего рядом с «курилкой» адъютанта.

«Генеральное чаепитие», в отличие от «холостого», обставлялось некоторою роскошью: являлся лимон, сливочное масло, шафранный хлеб, сдобные крендели, сладкие пирожки и тогда для нетребовательных юнкеров, казалось, шел пир горой. Таким генеральным чаепитием ознаменовалось и прикрепление меня к училищу.

Кадетские страхи о строгости порядков «академии шагистики» оказались сильно преувеличенными. Мы здесь чувствовали себя несравненно свободнее, чем в военной гимназии. Не ограничиваясь ротным помещением, можно было бродить по длиннейшим коридорам и дортуарам всего исторического здания, гулять на громадном плацу и в саду. Любителей гулянья, впрочем, насчитывалось не особенно много, в особенности не в ясную погоду. Бывало, в свежее утро выскочишь в одном «бушлате» в сад, заложишь руки в обшлага и быстро маршируешь по пустым почти аллеям, встречая лишь

сосредоточенные лица военных мечтателей, бродящих, точно послушники за монастырской стеной. В саду и на плацу тишина, а оттуда, из города, доносится вечный шум водопада — грохот столичных экипажей.

В числе немаловажных преимуществ училища, по сравнению с военной гимназией, был значительно более вкусный и обильный стол. В то время как в нашей военной гимназии полагалось на продовольствие человека в сутки $12^1/_2$ коп., в училище выдавали ровно вдвое — 26 коп. Деньги небольшие, но в массе можно было кормиться. Кухней заведывали выборные из юнкеров артельщики и, кроме того, по общей батальонной кухне назначался дежурный, который в этот день ел за четверых.

Меню обедов составляли юнкера, не отличавшиеся изобретательностью. Котлеты играли выдающуюся роль.

В торжественные дни в громадной, сводчатой столовой играл оркестр, а юнкера заказывали, как особенный деликатес, кофе на молоке и шоколад. Шутники уверяли, что училищные повара ухитрялись в одном кофейнике сразу варить и шоколад, и кофе. Разницы во вкусе не было никакой.

За плату у повара, не всегда, впрочем, можно было получать пельмени и котлеты. Надо было посмотреть, какое неимоверное количество пельменей уничтожал сибирский кадет Боб-в!..

В училище за каждым шагом уже не следил воспитатель. На все четыре роты был лишь один дежурный офицер, который раз или два в день обходил роты, а затем сидел в дежурной комнате. Офицеры не мозолили нам глаза своим присутствием, но зато, в случаях соприкосновения с ними, требовалось безусловное послушание и точное, беспрекословное исполнение всех требований. В случае недоразумений доказывать начальству свое право, «объясняться» было немыслимо. Исключение практиковалось лишь по отношению к преподавателям. Опоздать, хотя на минуту, в строй считалось преступлением. Вообще в нашем училище на юнкеров смотрели не так, как прежде на кадет специальных классов, а как на лиц, действительно состоящих на военной службе, и потому строгая дисциплина проводилась систематичной, сильной рукой. Для военных гимназистов в этих требованиях исполнительности и точности ничего не было нового; но для «штатских», то есть бывших студентов и гимназистов, которых у нас было немало, тяжело было вполне освоиться с новою жизнью, и тяжело не потому, чтобы они были под влиянием либеральных стремлений, а просто оттого, что с дисциплинарными требованиями нужно сжиться, усвоить их рядом лет своеобразной и нелегкой военной обстановки. Вот почему молодые солдаты, хорошо стреляющие, марширующие и

обученные всякой «словесности», далеко еще не являются истинными служаками и, сняв форму, быстро огражданиваются.

Большинство «штатских» и по внешним приемам, и по взглядам на товарищество резко отличались от своих сослуживцев — бывших кадет. Этот гражданский приток, вливаясь впоследствии в офицерскую реку, долго еще имел свою окраску, а там, где на стороне «штатских» был численный перевес, там изменялись давние традиции и уступали новым взглядам, новым жизненным приемам.

Начальник училища ежедневно делал обход заведения, но не для «разноса» и устрашения, а больше для смягчения нравов. Всех юнкеров он знал не только по фамилиям, но и по успехам в науках. Плохо занимавшимся совестно было попадаться на глаза генералу, и они спешили заблаговременно скрыться и уклониться от отеческих нравоучений. Впросак попадал только близорукий С-в. Этот беззаботнейший юноша был большой спорщик и доказать ему что-нибудь не было никакой возможности. Обыкновенно его оппоненты уходили от него с сокрушенным сердцем, а он, с довольным лицом победителя, запускал руки в карманы и, артистически посвистывая, направлялся на свободу в «Сборное зало», где зачастую и натыкался на генерала, возвращавшегося из лазарета. Начальник училища не выносил фигуры юнкера с опущенными в карманы руками, свист также выводил обыкновенно добродушного генерала из себя. С-в, конечно, «по лишкам» знал это лучше нас, но не проходило недели, чтобы не происходило опять злополучного «столкновения поездов».

Генерал любил искусство. Он поощрял музыкальное развитие. Устраивал юнкерский оркестр и очень покровительствовал певчим, предоставлял им лишний раз в неделю ходить в отпуск и на казенный счет давал ложи в оперу. Благодаря его стараниям и усилиям Николая Ивановича С-ва, вечно розовенького и аккуратненького учителя пения, юнкера пели на двух клиросах. На спевках все шло превосходно, но в церкви Николай Иванович не дирижировал и некоторые яростные басы своим ревом портили иногда общий ансамбль.

В некоторых учебных заведениях существует и до сих пор взятое от немцев начальническое отношение старшего курса к младшему. У нас в училище этого положительно не было. В роте имел авторитетный голос фельдфебель и дежурный портупей-юнкер; другие же в офицеров не играли и я не припомню случая присвоения себе старшим курсом каких-нибудь начальнических прав.

На фельдфебеле же и дежурном лежала очень трудная и щекотливая обязанность сохранять полный порядок и

спокойствие в роте. Нужно было иметь много такта и силы воли, чтобы выйти победителем из этого положения.

При моем поступлении в училище фельдфебелем в нашей роте был Нал-н, стройный, бравый юнкер с смеющимися голубыми глазами и приятным голосом. Помню, с большим почтением приблизился я к его единственному в дортуаре письменному столику около постели, украшенной красной именной дощечкой, в отличие от синих, простых юнкерских и сине-красных портупей-юнкеров. Нал-н быстро меня ободрил и потом мы с ним очень сошлись. Он всей душою стремился из Петербурга, который, несмотря на то, что вырос в нем, органически ненавидел. Мечты о Кавказе и Туркестане, о казачестве, о боевой, бивуачной жизни одолели его настолько, что он бросил заниматься науками и все время, свободное от лекций и строевых учений, посвящал чтению путешествий, военной истории и атлетическим упражнениям.

По ведению списка дежурств и разных рапортичек ближайшим его помощником и исполнителем являлся ротный писарь из юнкеров же. Эта хлопотливая обязанность вовсе не вознаграждалась льготой — освобождением от дневальства. Надо было удивляться, что находились люди, соглашавшиеся брать на себя подобную должность, хотя, впрочем, впоследствии, в жизни, приходилось не раз встречать добровольцев, бескорыстно наваливавших на себя письмоводительскую, чисто канцелярскую работу в разных неофициальных комитетах и получавших в награду лишь затрещины. Вероятно, находили же они себе в этом какую-нибудь сладость…

Наш ротный писарь, Гол-в, совершенно не походил на канцелярского строку. Это был кипучий и мало усидчивый юноша, запевала в хоре и один из лучших гимнастеров. С Нал-ным он сходился в убеждении, что из мертвых учебников ничему не научишься, и потому также никогда не готовился к репетициям. Плохие отметки по всем предметам он получал хладнокровно, не мог лишь мириться с низкой оценкой его знаний по тактике. Он громко протестовал и искренно заверял, что У-в не имеет права ставить ему 6 баллов, так как «тактика не наука: один думает, что так нужно поступить, а другой иначе и окончательное решение нельзя ни от кого получить. У него своя тактика, у меня своя!» Не раз требовалось вмешательство инспектора для прекращения спора юнкера с преподавателем.

Товарищи изводили Гол-ва, устраивали складчину на поднесение ему синих брюк, в которых ходят штабные писаря, дарили ему чернила, линейку и вообще подсмеивались над его незавидной должностью. Гол-в выходил из себя, кипятился и

объявлял, что завтра же откажется от писарства; но наутро, побеседовав с Нал-ным, он снова выводил красивым почерком рапортичку и считал это за истинную работу.

Два старших портупей-юнкера Ст-ч и Кин-в, inseparables[111], были соединены узами самой нужной дружбы, учились превосходно, вели себя безукоризненно и обещали сделаться образцовыми гвардейскими офицерами. Оба они были петербургские уроженцы и потому при первой возможности исчезали в отпуск. Зато один из портупей-юнкеров, почтенный «штатский», «дядько» Гор-ч, сиднем сидел в училище и в курилке. За стаканом чайку любил он степенно поговорить о Малороссии, о будущей службе и грядущей офицерской жизни. Гор-ч с начала года уже приготовлялся к выпуску, приценивался к вещам, списывался с бывшими юнкерами, выспрашивая подробности о их житье-бытье, материальном положении и охотно делился с нами этими сведениями.

В дежурство «дядьки» Гор-ча мне пришлось в первый раз «дневалить».

Для соблюдения порядка в роте в помощь дежурному ежедневно назначались в его распоряжение два дневальных. Целые сутки приходилось ходить затянутыми в портупею, с неудобным тесаком и в кепи с султаном. Все бы это ничего, если бы не бодрствованье ночью, что для кадет, привыкших в военной гимназии ложиться в 9 часов, казалось очень тяжело. Неприятна была также обязанность будить юнкеров, в особенности после обеда. В течение дня строго было запрещено ложиться и даже садиться на постель; исключение делалось лишь после обеда, когда, по усмотрению дежурного офицера, разрешалось спать от 1/2 часа до часу. Этой льготой некоторые юнкера очень дорожили, несмотря на юный возраст, скоро приучились заваливаться после обеда спать, точно отяжелевшие майоры, и с благодарностью относились к тому офицеру, который давал больший срок для dolce far niente[112]. Поднять на ноги таких разоспавшихся «майоров» было очень трудно, приходилось несколько раз обходить дортуар, тормошить российских лентяев и выслушивать в ответ или клики и неприятности, или воззвания к человеколюбию и к чувствам товарищества.

Ночью, когда все вокруг погружалось в здоровый молодой сон и лампы еле-еле освещали громадный зал, в уголку, у коптящего ночника обрисовывалась фигура дневального в кепи с султаном и в серой шинели. Некоторые из дневальных на дежурстве клевали носом, но это было опасное занятие, так как можно было прозевать обход дежурного офицера и тогда в результате пришлось бы «получить несколько лишек», т. е. не в очередь быть

назначенным на дневальство.

Кроме дневального юнкера, бодрствовали с трех-четырех часов утра служители. Многие юнкера отдавали им чистить свои сапоги, а также бушлаты и мундиры, усеянные медными пуговицами, за ничтожное вознаграждение, не свыше рубля в месяц. Каждый из наших немногочисленных служителей старался набрать побольше клиентов и заваливал себя, несчастный, непомерной работой. Без этого заработка подвальному училищному населению пришлось бы очень плохо. Отношения служителей к юнкерам были, благодаря чистильному промыслу, самые подчиненные и совсем не походили на военно-гимназические, где начальство преследовало всякое материальное со стороны воспитанников вознаграждение прислуги; но зато тамошние служители иногда и наушничали на нас. Дежурные служители обязаны были без особого вознаграждения чистить платье фельдфебелям, но, конечно, те платили «чистильные» деньги наравне с другими товарищами.

Помню, в первое дневальство мой корпусный однокашник принес мне из отпуска купленный по моему поручению курс почвоведения и в подарок от себя корзиночку с пирожным. В течение ночи я съел все пирожки и усердно занимался земледельческими вопросами.

Нахлынувшее в то время на меня и на моего приятеля увлечение агрономией продолжалось недолго; военная школа скоро отодвинула от нас всякие другие гражданские перспективы, вначале еще соблазнявшие нас…

К главному старинному зданию училища примыкала под прямым углом двухэтажная пристройка, в которой помещались «классы». Бесконечный верстовой коридор, тянувшийся по всему почти дому, поворачивал сюда и обводил заботливым бордюром все учебные комнаты. Здесь уже не было глянцевитого паркета, вместо него виднелся некрашеный пол, классная мебель также не отличалась ни изяществом, ни удобством. Несмотря на установившееся за училищем реноме «академии шагистики», а «не наук», все-таки центр деятельности заведения был не в залах, не в манежах, не на плацу и военном поле, а здесь, в этих неказистых «классах». Самые заматерелые «фронтовики» уже понимали, что сила в голове, а не в носке… Какое бы значение начальство ни придавало строевым занятиям, но успех мог иметь только юнкер, хорошо аттестованный в науках, и отличные отметки не приносили желанных портупей-юнкерских нашивок лишь исключительным вахлакам и физическим неудачникам. Некоторые предметы читались не «в классах», а в довольно обширных аудиториях, где собирался весь курс. Здесь в первый

год мы слушали историю, статистику, законоведение, а впоследствии артиллерию и долговременную фортификацию.

Нам нравился, в особенности сначала, внушительный вид аудитории, наполненной многочисленными слушателями. Это уже не были корпусные лекции, перемешанные ответами учеников, замечаниями и выговорами преподавателя-учителя; здесь уже в течение часа профессор стремился произвести на нас впечатление своим красноречием и своей эрудицией. Впрочем, артиллерист Ш., большой оригинал, держал себя иначе и не бил на эффекты. Он довольно часто обращался к слушателям и задавал всему курсу разнообразные вопросы, конечно, не с тем, чтобы делать оценку знаний, а желая лишь удостовериться в понимании. На неудачный ответ он разражался резкими выходками, вызывавшими юнкеров на возражение. Впрочем, он и перед офицерами не особенно сдерживался и непонимание и неточность выражений казнил беспощадно. Несмотря на полковничий чин, ученый артиллерист далек был от дисциплинарных правил и нисколько не смущался отсутствием чинопочитания к нему. Прежде он был грозой на репетициях и экзаменах и беспощадно казнил непонимание сложных математических выводов и положений. Один из юнкеров, потерпевший у него на экзамене, застрелился, и с тех пор полковник отказался от роли экзаменатора, баллов не ставил и лишь читал в аудитории, причем мы должны были следить за ним по особому печатному конспекту с вклеенными в него чистыми листами для записывания деталей. На лекциях Ш. присутствовали преподаватели-репетиторы, дававшие нам потом, «в классах», пояснения.

Мы заслушивались интересными лекциями «нашего историка», страстного украинофила [Н. И. Костомарова], очень красиво и образно излагавшего нам новую и новейшую историю. Почтенный, всегда щегольски одетый лектор, однако, иногда увлекался своим предметом до того, что хотя стульев и не ломал, но зато совсем сливался с изображаемой им эпохой. — «Я помню, — задумчиво, с расстановкой произносил он с кафедры, — я помню, как Наполеон I, окруженный своим штабом, поднялся на холм»… Затем он воодушевлялся сильнее и сильнее, и казалось, действительно, он ехал в свите великого полководца, среди маршалов и слушал его распоряжения. В моменты вдохновения «историк» не щадил красок и с помощью боевого огня пек яблоки на деревьях и варил суп в котлах. Аудитория внимательно слушала лектора, но случалось, что кто-нибудь из скептиков заговорит с соседом или примется читать что-нибудь. Это была кровная обида человеку, близко знавшему и Ришелье, и

Кольбера, и Наполеона. Громкий голос историка вдруг понижался почти до шепота и при этом внезапно архималоросс переходил на речь с немецким акцентом. Вероятно, в юности строгий немец-педагог оставил в нем по себе глубокую память. «Я вижу там, — обыкновенно в таких случаях начинал историк, — на последней скамейке юнкер, этот юнкер позволяет себе читать, этот юнкер не слушает лекции, я буду жаловаться на этот юнкер!»

Кончал он уже во весь голос и своими черными, колючими глазами пронизывал провинившегося. На репетициях он, обыкновенно, не довольствуясь устными ответами, давал письменные работы и крайне, до обиды, придирчиво следил за тем, чтобы юнкера не воспользовались при этом каким-нибудь пособием. И насколько сам он любил цветы красноречия и анекдотические историйки, настолько он преследовал их в письменных ответах и систематично добивался лишь существа характеристики той или другой эпохи, того или другого исторического лица.

Своим «вполне ревностным» отношением к делу он сердил юнкеров, но все-таки достиг того, что «второстепенный» предмет изучался юнкерами с большой основательностью.

Профессор статистики, в то время известный своими трудно усваиваемыми печатными работами экономиста, говорил замечательно бойко, закруглял умело фразы и точно из рога изобилия сыпал и сыпал словами. Он никогда не довольствовался категоричными, короткими выражениями, а нанизывал целые ожерелья аналогичных понятий. Разъяснению дела это способствовало мало, но фейерверк получался удивительный. Нам, юношам, не избалованным в средней школе красноречием учителей, вначале казалось, что Вр-н читает талантливо, и мы накинулись было на одного из товарищей, заметившего, что он не понимает, зачем Вр-н топчется на месте и подбирает слова, вроде: «расширяется, распространяется, расползается, расходится, разливается, раскидывается… растет, поднимается, повышается, увеличивается, вздымается, выступает»… Своей подкупающей внушительной внешностью и внешним блеском изложения Вр-н долго продолжал чаровать аудиторию, но под конец года он утомил слушателей и к нему стали относиться холодней…

Большим уважением пользовался добрейший священник З-ч, впоследствии архиерей. По училищной программе следовало проходить историю церкви, что и предоставлялось нам усваивать из печатных «записок», а на лекциях З-ч весь отдавался борьбе с материалистическими учениями. Философские вопросы многими воспринимались очень смутно, да и батюшка не очень был речист, он немного заикался; но нам казалось очень смелым

изложение антирелигиозных теорий и критический разбор их. Помню, в особенную заслугу священнику юнкера ставили то, что он прослушал курс медицинского факультета. «Вот так молодчина!..» Почтенный З-ч особенно вырос в наших глазах после того, как его лекциями заинтересовался «сам» Д. А. Милютин, в высокий педагогический авторитет которого мы все верили свято.

Кроме истории, статистики и закона божьего из общеобразовательных предметов нам читали еще законоведение и историю русской литературы, да, кроме того, обязательны были занятия по немецкому или французскому языку. Вся совокупность этих предметов отнимала от нашей школы специально военный оттенок и придавала учебным занятиям много интереса. Хотя эти общеобразовательные науки и считались второстепенными, но тем не менее, за исключением, к сожалению, иностранных языков, на эти предметы в училище обращали внимание и по требованиям на репетициях ничем они не отличались от специально военных.

Вообще вся учебная программа военного училища была выработана превосходно и давала возможность военным гимназистам докончить общее образование и осмысленно ознакомиться с основами военных наук. Средних способностей юнкер должен был поменьше развлекаться и усидчиво работать, чтобы не отставать от курса. Репетиционная система подбодряла малодушных и не позволяла запускать подготовку в долгий ящик; даже не имевшие никакого влечения к науке поневоле принимались за книги, а еще охотнее пристраивались к какому-нибудь «прилежному», который из чувства товарищеской поддержки, а также из желания проверить свои знания, «объяснял» беспечным. Встречались из последних такие, которые так, «с голоса», не развертывая учебников, проходили весь курс, и иногда весьма удовлетворительно. Конечно, исключения везде возможны, так и у нас в роте было несколько человек отчаянно беззаботных…

Ежедневно в течение двух предобеденных часов здание училища наполнялось шумом, стуком и криком невероятным. Но это не был беспорядок — то был отклик физических упражнений, топание сотен ног и команда десятка голосов. В громадном, двадцатисаженном сборном зале юнкера надсаживали себе горло, практикуясь к командованию в «восьмирядном ученьи» или «смене караулов». В гимнастическом зале гремел надтреснутый зычный голос бывшего прусского фельдфебеля, гимнастера Ш-та, составившего какой-то невероятный головоломный учебник гимнастики, где были указаны способы спасания при пожарах,

при столкновении поездов и других чрезвычайных случаях. С выпяченной «прусской» грудью, с неестественно черными для шестидесяти лет волосами, скрипучим голосом и поистине геркулесовской силой, Ш-т усердно занимался укреплением наших мускулов. Без смеха нельзя слышать было его русского языка; а он, как нарочно, все время немилосердно тараторил: «Таки неловки, таки толсти! Ешо раз прошу выпригивать. Ах, таки неловки! Ну, я буду показать. Ррраз! Есть! Смотрите, каки ловки я, каки красиви! какикрепки мускл имею! Ешо раз!..»

В фехтовальной, длинной комнате, под зорким глазом известного всем офицерам Г-на, в сетчатых шлемах и нагрудниках, бились юнкера с учителями на рапирах, на эспадронах и на ружьях.

— Я закроюсь, вам колоть! Так! Я закроюсь, вам колоть! Так! — басил рыжий и красноносый фехтовальщик. И голос его разносился по всему училищу, никого не беспокоя. Многие юнкера с большим рвением предавались фехтованию; но самым любимым упражнением была «верховка». В небольшом училищном манеже в часы строевых занятий неустанно кружилось лошадей двадцать и носили на себе счастливцев, наряжавшихся для этого случая в синие рейтузы, отороченные кожею. Офицер-инструктор разносил наездников и сыпал насмешливыми уколами, но юнкера все-таки с нетерпением ждали своей «смены».

После обеда, два раза в неделю, репетиции, а в другие дни едва-едва выкроишь время пробежаться по саду, зайти в библиотеку просмотреть газету, да с четверть часика просидеть в клубе — «в курилке», как уже наступает время «вечерних занятий», в так называвшихся «занимательных» комнатах; и тут уж не до чтения, так как приходилось готовиться к репетициям.

В юнкерской библиотеке, открывавшейся ежедневно часа на два, нумера *«Голоса»* и *«Петербургских ведомостей»*[113] брались с приступу, и кандидаты ждали их с нетерпением. *«Русский инвалид»* также имел обширный круг читателей и некоторые уже в училище начинали смаковать прелесть первой страницы этого военного органа. Книг брали немного. Библиотекарем был инженерный полковник, изобретатель особенно хитрой системы фонаря для маяков. В юнкерскую «читальню» он и не заглядывал и царил в большой «фундаментальной» библиотеке и училищном историческом музее. Здесь, как и во многих подобных фундаментальных библиотеках, книги хранились чинно и крепко под замком… У нас же в читальне распоряжался почтенный Павел Иванович, только что кончивший курс Технологического института, студент, мужчина в годах, женатый, основательный.

Сын одного из маленьких училищных чинов, он родился и вырос в этом здании. Училище и юнкеров очень любил.

— И охота вам читать романы, господа, — журил он нашу молодежь. — Опять Крестовского, Шпильгагена? Только и слышишь, что Крестовский да Шпильгаген. Ага, *«Губернские очерки»,* это люблю, — ободрял он какого-нибудь поклонника Щедрина.

И подобные диалоги слышались ежедневно в нашей небольшой, уютной библиотеке. Но наступало 11 часов и двери на запор.

— Пожалуйте! пожалуйте! — весело покрикивал Павел Иванович, позвенивая ключами.

В училище я впервые прочел *«Войну и мир»* Льва Толстого. Сколько помню, тогда еще истинная величина литературного гиганта не совсем была понята окружавшей меня молодежью. Проглатывали гениальное описание патриотической эпопеи с громадным интересом, но считали это больше «занимательным», чем идейным чтением.

В общем, вопросами литературы и политической этики в училище заметно менее занимались, чем в выпускном классе военной гимназии. Это было знаменательно, в особенности, если припомнить, что протекали годы разнообразных треволнений столичной молодежи; ведь 70-е года только еще начинались! Училищные стены точно отделили нас от всех тогдашних увлечений. Конечно, причиной тому, кроме воспитания, был режим нашей жизни.

День так полно был занят всякими обязательствами и физическими упражнениями, что к вечеру глаза слипались, и в 10 часов роты спали глубоким сном.

Так шли дни за днями и не позволяли отложить записки и учебники в сторону, для того чтобы зачитаться и речей заслушаться о переустройстве вселенной.

Экзамены показали благодетельность репетиционной системы для неусидчивых славянских натур. Курсы были основательно проштудированы в течение года, и большинство шло на испытание без чрезмерного нервного напряжения, этого постоянного спутника лиц, готовящихся лишь к экзамену.

В отпуск можно было ходить два раза, а певчим даже три раза в неделю. Большинство юнкеров были из провинциальных корпусов, не имели никаких знакомых семейных домов и потому выходили из училища только пофланировать по городу или в театр.

Во всей громадной столице у меня не было не только ни одного родственника, но ни одного знакомого, исключая,

конечно, юнкеров. За двухлетнее пребывание в училище я все время находился точно на военном корабле. Время от времени заходил в новый порт, съезжал на берег, ходил по главным улицам иностранного города, кишевшего совершенно чужими мне людьми; а затем опять на шлюпку, опять в корабельную обстановку…

Там, далеко-далеко, на Кавказе, был родной угол, родная семья, от которой образовательная повинность оторвала меня с десяти лет. В милой Полтаве, в которой я воспитывался, также издали улыбались мне знакомые лица добрых, хлебосольных горожан и хуторян, приветливо относившихся к «своим кадетам». А в Петербурге никто на нас не обращал внимания. Никто, никто! Будущий генерал, быть может фельдмаршал, едет по улице, и на его серую солдатскую шинель, на его несчастное кепи с жалким султаном никто и не взглянет. Много было предметов более интересных. Подождите же, петербуржцы, узнаете вы нас!.. Но столичная толпа оставалась по-прежнему далека нам и не подозревала о чувствах, клокотавших в груди «молоденьких солдатиков»…

Товарищи мои были люди малосостоятельные; за малым исключением — беднота, получавшая из дому от своих отцов-офицеров незначительные суммы; но, тем не менее, денежные повестки ожидались с большим нетерпением. Вместе с синенькими и красненькими «бумажками» юнкер получал и письма, большей частью наставительного характера, на тему о необходимости экономии, так как «жалованье у отца небольшое и другие дети подрастают». Большинство с грустно-сосредоточенными лицами углублялись в чтение весточек из далекого дома; но об экономии скоро забывали и быстро проедали «бумажки». Все это мотовство не превосходило десятков рублей… Общее экономическое состояние родителей юнкеров было почти одинаковое, не особенно завидное. Те кадеты, которые были посостоятельнее, поступали в кавалерийское училище, а у нас оставались такие, для которых обед у *«Старого Палкша»* считался роскошью.

Богатство, просто даже комфорт были так от нас далеки, что мы об этом даже и не мечтали. Столичная роскошь казалась нам созданною для другой породы совсем чуждых нам людей, а не для бывших кадет и юнкеров, которым суждено весь век жить на скромное жалованье. Помню твердо — богатству мы не завидовали, у нас были другие, не материальные, но радостные приманки в жизни.

Платье, белье и сапоги были у всех казенные. Единственную роскошь позволяли себе юнкера — это белые перчатки. Ни о

лихачах, ни о кабинетах в ресторанах, ни о креслах в театрах нечего было помышлять. Теперь постоянно в театральном партере встречаешь юнкеров: люди, видимо, богаче стали; а в прежнее время мы, главным образом, направлялись в оперный рай и, максимум роскоши, в ложу 3 яруса, которая стоила тогда, кажется, 5 рублей. Драматический театр менее привлекал нас, зато «на верхах» Мариинского мы были свои люди. Один из юнкеров имел знакомство в кассе, и билеты нам были всегда обеспечены. Как же горячо мы восторгались Лавровской, Левицкой, Петровым, Мельниковым, Васильевым 1-м, Платоновой, Комиссаржевским и Сариоти!.. Как большие любители музыки, мы особое почтение питали к Направнику, единственному из той стаи славной, оставшемуся и до сих пор на своем посту.

Из экономии мы обыкновенно не отдавали капельдинеру наши шинели, а клали на сиденье; буфетные конфеты и фрукты также были нам не по карману, сладости же мы очень любили, и потому приносили с собой фунтики с миндальным пирожным, яблоками или апельсинами. И какими мы себя расточителями считали, как велики нам казались наши театральные расходы!.. По окончании спектакля юнкера, надрывая себе глотки, с усердием удивительным, трогательным, вызывали своих любимцев и, спускаясь с райских вершин, постепенно перебегали в нижние яруса и оттуда сыпали аплодисментами, пока не потухала люстра. Гимнастическим шагом, вприпрыжку, возвращались мы в училище, припоминая по дороге понравившиеся мотивы и перекидываясь компетентными замечаниями о do диэз Никольского или re Васильева 1-го. Гол-в, ротный писарь, уверял, что он сам также грудью берет do, только нужно распеться. Завтра в курилке он нам покажет, как нужно брать и «ми-и-ром благим» *в «Жизни за царя»*…

Чем ближе театралы подвигались к училищному подъезду, тем более встречалось юнкеров, спешащих к той же цели, к столу дежурного офицера. «Подарить» начальству не хочется ни минуты из отпускного срока, но зато и опоздать немыслимо. И вот с приближением часовой стрелки к *и,* приемная быстро наполнялась юнкерами, спешно оправлявшими кепи и портупеи, а затем вся группа гуськом, точно к кассе, придвигалась к дежурному офицеру и поодиночке, на вытяжку, рапортовала о выпавшей на их долю чести ему явиться.

Случалось изредка, что среди юнкеров с безукоризненной выправкой попадал кто-нибудь с чуть колеблющейся походкой и не совсем твердым языком, тогда товарищи быстрее подходили к столу и уже не гуськом, а по два, по три, стараясь закрыть

подкутившего юношу.

В те далекие годы меня больше тянуло к сладкому, и наш небольшой кружок, когда был при деньгах, во время отпуска спешил к *«Saint-Micheb,* так называлась маленькая кондитерская. Здесь, в задней комнатке, за чашками шоколада или кофе с пирожным мы с удовольствием читали газеты и перелистывали иллюстрации. Старик немец-кондитер и вся его семья всегда с особым радушием принимали нас и приветливо, конечно за плату, угощали своими произведениями.

Теперь эта старинная кондитерская, пережившая столетие, обратилась в ресторан и совершенно изменила прежний патриархальный характер.

Товарищ мой по отделению П-ский приглашал раза два-три в маленький ресторанчик на Вознесенском проспекте, теперь уже несуществующий. Здесь был удивительно гостеприимный хозяин, за прилавком стояла хорошенькая буфетчица, и на столе уже появлялась водка и коньяк… Новички в выпивке, ободряемые красноносым хозяином, не желая отстать от товарищей и видя в этом особое молодечество, через силу вливали в себя рюмки. Некоторые, правда немногие, постепенно не только приучились к этим излияниям, но и пристрастились к ним. Во главе наших кутил стоял П-ский, ныне покойник. Правда, он еще до училища испробовал всякого рода соблазнов и поступил к нам уже обстрелянный. Воспитывался он в каком-то московском иностранном пансионе, был вольноопределяющимся и, наконец, попал в закрытые стены военного училища. Среднего роста, плечистый, плотный, с открытым лицом, он не знал физических препятствий, не знал страха перед физической силой, и этот же самый атлет дрожал, как овечка, перед учителем, начальством и подпадал под любое влияние. Большой весельчак, балагур, он свободно цитировал целые страницы поэтических произведений и сам удачно рифмовал события юнкерской жизни. Товарищи его любили и прощали ему незлобливые шуточки, до которых он был страстный охотник. Два раза, впрочем, у него вышли крупные неприятности. Сначала с нашим «анахоретом», чуждавшимся всех юнкеров. П-ский подсмотрел, как не вполне нормальный юноша подкладывал в сапоги бумагу, чтобы казаться выше ростом, и, конечно, разблаговестил о своем удивительном открытии. «Анахорет» никогда ему не простил этого. Другое столкновение было с большим любителем салонных романсов, «баритоном», страшно обидевшимся на П-ского за мимолетное уподобление, во время «практических занятий» по военной администрации, его сплюснутой головы со *«Сводом военных постановлений».* Баритон, воображавший себя красавцем, вскипел южным гневом и пустил

книгой в П-ского, который, нисколько не сердясь, схватил живой *«Свод военных постановлений»* за руки и выдержал до полного его успокоения. Это был единственный случай, когда мне довелось видеть среди юнкеров нечто вроде драки. Учился П-ский очень посредственно, но всей душой пристрастился к строевой, показной службе. Как в нем уживалось поэтическое творчество с отчеканиванием перед зеркалом ружейных приемов и усиленным, отошедшим уже и тогда в архив, вытягиванием носка в строе — было непонятно. Чудной был человек!.. В конце концов, уже по выходе в офицеры, над безвольным П-ским взяла верх страсть к вину и он, бедняга, окончательно погиб. Мир его праху!..

2

Наш ротный командир, всеми уважаемый полковник Р-в, любил сердечно строевую службу и знал ее превосходно: «Коль скоро, мало-мальски, — говаривал он, — поступили в училище, так извольте заниматься делом». И действительно, он по части выправки, маршировки, уставов, сборки и разборки винтовки и стрельбы был очень требователен. По часам занимались мы «одиночным ученьем» под руководством учителей — юнкеров старшего курса. Сам Р-в особенно наблюдал за подготовкой ординарцев, которые на разводах с церемониею в Михайловском манеже должны были подходить к Государю. Подолгу стоял он перед выбранной парой, заставляя их поочередно подходить к себе и «являться». Иногда он сам брал ружье и артистически, не дрогнув плечом, маршировал и художественно делал приемы.

Заботы Р-ва о нашем «строевом образовании» сильно возросли при слухах о том, что состоится осенний парад. Приходилось спешно обучить церемониальному маршу роту, половина состава которой была всего лишь недель шесть в строю. Однако молодежь быстро приноровилась и вскоре, в батальонной колонне, браво выступала перед начальником училища.

Настал и царский смотр, первый смотр для меня и моих сверстников! Очень хотелось скорее попасть на Марсово поле, и в то же время брала какая-то робость. Утром нам дали так называемые «батарейные», большого калибра булки, начиненные котлетами. Такой усиленный утренний завтрак полагался лишь в исключительных случаях. В ю часов утра батальонная колонна стояла перед квартирой начальника училища и держала ружья «на-краул». Музыканты — «левиты», по юнкерскому прозвищу, — грянули встречный марш, и из подъезда показался с озабоченным видом адъютант, а за ним красивый юнкер вынес училищное знамя, на котором уже не осталось признаков материи и лишь развевались выцветшие ленты с надписью, свидетельствовавшей об исключительной древности заведения.

Вид старой корпусной хоругви, пробуждавшей благородные чувства многих и многих выпусков бывших кадет, а потом боевых начальников и даже фельдмаршалов, подействовал на нас возбуждающим образом. Под этим знаменем юношей ходил сам Царь! Точно электрический ток пробежал по батальону, и наша колонна вдруг выросла, возмужала и из забавного войска обратилась в истинную воинскую часть…

Весело идти по городу с музыкой, невольно стараешься бодриться и подтягиваться. Начальник училища, которому, по

нашим сведениям, рекомендовано врачами воздерживаться от верховой езды, встретил нас лишь у Марсова поля. Батальон вел пожилой полковник Т-н, преисполненный торжественного парадного настроения, смешанного с беспокойством за исход церемониального марша. Он часто останавливался, пропускал колонну перед собою и не удерживался от замечаний: «ногу короче, короче ногу! Голову выше!» И затем, к большому удовольствию уличных зевак, пришпоривал старую лошадь, которая от неожиданности поднимала хвост трубой и выносилась перед батальоном. Адъютант с сосредоточенным, недовольным лицом, с болтающимися щеками от лошадиной рыси, еле поспевал за полковником. Несчастному поручику приходилось ездить на известной всему училищу, по своей нестерпимой тряске, лошади юнкерской конюшни, Лиссабоне.

Р-в, как полковник, не мог в строю командовать ротой, и мы на время стали под начальство капитана К-на, которому служба уже надоела, и он давно потерял строевую ретивость.

На Марсовом поле гвардейские полки дают нам дорогу, наши немногочисленные, но престарелые «левиты», с вензелями еще императора Николая I на погонах, победно гремят марш-поппури из *«Жизни за царя»,* и мы занимаем место на правом фланг всех войск.

Подле нас стоят преображенцы, на правом их фланге — саженный гигант, на которого с почтением поглядывают левофланговые юнкера-малыши и сравнивают его с гордостью училища, 12-ти вершковым Л-ко и 14-ти вершковым отделенным офицером С-о.

Долго, утомительно долго и совершенно бесполезно выравнивает нас «в затылок» батальонный командир. Поднявшись на стремена, он вглядывался в глубину колонны и немилосердно кричал, желая достигнуть идеального построения колонны, при взгляде на которую с фронта можно было видеть только первую шеренгу. Небольшое отклонение кого-нибудь в сторону сейчас же портило картину точно «расчесанной» колонны. При первом же разрешении «оправиться», конечно, многие юнкера несколько сдвинулись, «потеряли места» и вновь слышится жалобно-крикливое всхлипывание полковника: «в затылок!» Т-н мало кого знал из юнкеров, но зато эти немногие так прочно засели в его память, что при частых вспышках особенного, известного хорошо военным, психического состояния — «строевого гнева» — моментально вставали они перед ним во весь рост и их одних, казалось, он только и видел. Фамилии этих несчастных постоянно повторялись, и зачастую всуе. «Парвский вправо! — гремел полковник на старательного портупей-юнкера. — Там! Трет,

шестой, в затылок! Парвский вправо!» — повторял Т-н и доводил до истомы неповинного, но известного ему юношу.

Постепенно к правому флангу войск собираются начальствующие лица и доносятся «здравия желаю…ство», в ответ на генеральские приветствия. Вот все засуетились, раздались повсюду команды, и по линиям живописно проскакал с своим штабом бравый, жизнерадостный главнокомандующий.

Все это нас, провинциалов, не видевших еще больших парадов, сильно занимает, мы интересуемся и тем, и другим генералом, и в то же время от холода не попадает у нас зуб на зуб, а в воздухе начинают носиться снежинки.

Крепостная пушка, напоминая всему Петербургу о полдне, гулко прошумела на Марсовом поле, и тотчас же от Инженерного замка показалась группа всадников. Как по шнурку на люстрах пробегает огонек, так и нервное «смирно» пробежало по войскам и замерло где-то за Мраморным дворцом. К нам приближается государь. Мы держим ружья на-караул и вытягиваем невольно головы, чтобы лучше рассмотреть дорогие черты человека, которого с раннего детства научились беззаветно любить.

По всему громадному Царицыну лугу, заполненному войсками и народом, пронесся какой-то исполинский вздох, а затем вместе с гимном и встречным маршем загремело радостное «ура!». Вот уже государь перед нами, знамя склонилось, большие серые глаза внимательно обводят юнкеров и, несмотря на гул и гром, наше чуткое ухо ясно различает, как обожаемый царь, слегка картавя, произносит: «Здравствуйте, господа», и мы изо всей мочи отвечаем на приветствие. Отовсюду доносятся звуки музыки, верезжанье маленьких флейт и раскаты барабанов. Перед государем уже склонилось знамя 1-го батальона преображенцев, а громадная свита все еще продолжает ехать мимо нас. Кое-кто из них, в особенности иностранцы, внимательно поглядывают на юношеский батальон, а большинство, не поворачивая даже головы в нашу сторону, равнодушно двигается вперед… Крупным галопом проносятся запоздавшие свитские… Государь уже повернул во вторую линию войск, затихнувшее на время «ура» вновь крепнет, и волна его подвигается к нам все ближе и ближе, пока и наш батальон не присоединяется к общему стихийному клику.

Объезд окончен. Все стихло. Мы видим, как от царевой свиты отделяется главнокомандующий и красиво на буланом коне с пушистым хвостом подскакивает к середине фронта. Звонкая отчетливая команда главнокомандующего: «батальоны кругом», доносится до нас, и в воздухе виднеется его поднятая сабля. И наш насторожившийся полковник и много еще таких же

полковников в эту минуту громкими голосами запевают: «батальон кру!..» На этом слоге они застывают и, точно загипнотизированные, смотрят на блестящий конец сабли главного начальника. Вот он опустился и повсюду раздались неравномерные окрики: «гом!» «том!..» Нас отводят назад, но недалеко, надо спешить, так как мы начинаем церемониальный марш. Полковник горячится, поворачивает несколько раз батальон; наконец, вводит его «в линию желонеров», офицеров гвардейского инвалида, и обиженным, сдавленным голосом кричит: «на месте». Пользуясь прикрытием конвоя Его величества юнкера стараются подравняться. Равнодушнейший из смертных, ротный командир спокоен вполне, и это внушает к нему почтение молодежи; не обращаясь лично ни к кому, он негромко повторяет: «не волноваться и не расхлёбываться». Но мы и не собираемся расхлёбываться, по кадетской привычке не отделяемся от товарищеского локтя и держимся довольно стройно. Недалеко от меня юнкер старшего класса, «из штатских», идет как-то «между тактом».

— Ш-ов, не танцуйте! — слышится окрик гиганта офицера С-о.

Мы невольно оборачиваемся в его сторону, и, видимо, все в эту минуту, забывая, что это «С-ще из гарнизона», с удовольствием глядят на его атлетическую нарядную фигуру, так красиво выделяющуюся на нашем фланге. Все напряженно ловят равнение, а старые «левиты» мнутся перед фронтом и мешают идти полным шагом. В середине что-то замешкались, линия фронта вдруг сломалась, и выскочил вперед левофланговый.

— Не расхлебывайся! — доносится возглас ротного командира.

Волнообразная линия постепенно выпрямляется. Вот уже близка и группа всадников, к которой мы подвигаемся довольно быстрым шагом под звуки училищного хора, успевшего, наконец, отойти в сторону. Полковник дает шпоры коню, вылетает стремительно вперед и, описав полукруг, подъезжает к свите. Там же среди офицеров-зрителей виден наш «строевик» Р-в, не усидевший дома в день смотра и пришедший взглянуть на своих питомцев. Он взором эксперта всматривается в вытянувшуюся прямую линию передней шеренги и одобрительно кивает головой капитану. Юнкера не чувствуют ног под собой, сердце сильно, учащенно бьется и кажется, что весь мир теперь смотрит на нас, на полк военно-учебных заведений. Еще несколько секунд и мы, нервно вздрагивая, боясь даже слегка повернуть голову в сторону, слышим одобрительный возглас: «Славно, господа» и отвечаем радостным перекатным кликом: «ррадво… ство».

Сзади нас загремел громадный оркестр і-й дивизии, но мы уже свое дело сделали и, израсходовав нервное возбуждение, тихо плелись в свое училище, где нас ждал ранний обед…

Зимою, во время пребывания государя в Петербурге, каждое воскресенье назначался развод с церемониею в манеже, и от училища посылали всегда взвод юнкеров. Наши строевики любили воздух Михайловского манежа и эмоции, вызываемые парадированием. Начальство мало беспокоилось о церемониальном марше, так как юнкера посылались выборные и в небольшом числе. Главное внимание было обращено на ординарца, на обмундирование и пригонку амуниции. Малейшее отклонение от формы замечал зоркий глаз государя. Двубортный мундир армейского унтер-офицера нельзя сказать, чтобы особенно красил юношеские фигуры, хотя с ним еще можно было мириться; но что особенно было уродливо — это кепи австрийского образца, совершенно не соответствовавшие славянским лицам.

Утром, в день развода, юнкера особенно тщательно возились у рукомойников и подвергались пытке бритья у казенного цирюльника, которого звали Мухой. По его признаниям, он льнул к женскому полу, как муха к меду. Несмотря на свой немолодой уже возраст, плоское лицо с пуговкой вместо носа и значительную лысину, прикрытую «височным займом», Муха играл роль jeune premier[114] училищных подвалов, густо населенных семьями служителей.

Слишком упрощенные приборы и мыльница с холодным мылом нисколько не вызывали желания бриться; но начальник училища был враг бакенбард и следил за отсутствием растительности на лицах юнкеров, отправлявшихся на развод. С одним из моих товарищей, Д-дзе, произошел случай, напомнивший повесть *«Бакенбарды»*. Наш генерал заметил красивую внешность грузина и пожелал, чтобы он подходил к государю ординарцем, но предварительно приказал ему сбрить чудные шелковистые бакенбарды. Когда Д-дзе, выслушав от Мухи рассказ про ядовитость толстой полковничьей кухарки, встал с табуретки и посмотрел на свое бритое лицо, то пришел в ужас и не знал, что ему делать: застрелиться или прибить неповинного цирюльника? Лишившись главного, как внезапно оказалось, своего украшения, грузин был похож черт знает на кого, но не на красавца Д-дзе. Он ушел в лазарет, где и запустил себе вновь бакенбарды, кандидатура же в ординарцы потеряна была навсегда.

«Батарейные» булки фигурировали также в разводные дни, и после раннего завтрака мы отправлялись не прямо в манеж, а

сначала рядом с ним, в казарму Гальванической роты, а оттуда уже во всем новеньком, без шинелей, несмотря на морозы, в одних мундирах скорым шагом переходили в парадный военный зал с земляным полом.

Фельдфебель роты Его величества и ординарец, как лица, которым предстояло представляться государю, приезжали в казенной карете начальника училища.

После большого осеннего смотра маленькие манежные парады не производили уже такого сильного впечатления и привлекало нас сюда главным образом присутствие императора.

3

В 1872 году мы выступили в лагерь поздно[115], так как 30-го мая юнкера участвовали на большом параде в память двухсотлетия со времени рождения Петра Великого. Парад был на Петровской площади, не засаженной еще деревьями, только часть Исаакиевского собора уже и тогда была одета «в леса».

На торжество это я не попал, лежал в лазарете.

Первая для меня петербургская осень, с ее туманами и дождями, как-то не оставила особенно дурного впечатления. Новая обстановка, театры и занятия всецело завладели мною, и я не тосковал по югу. Первая зима, которую мне довелось провести на севере, была не особенно суровая; после легонького кадетского пальто в юнкерской серой шинели было тепло. Однако продолжительность зимы, а потом безрадостная, холодная календарная весна без зелени заставили вспомнить о благодатном юге. С тех пор эта климатическая неудовлетворенность закралась в меня, и навсегда поселилось недружелюбное чувство к петербургскому молоч-но-серому небу, к невскому туману и к назойливым дождям. В особенности злили меня скучнейшие дожди, которые не приносили с собой бодрости для природы, а беспощадно и безрезультатно выливались на голые прутья, на черные, не оживавшие липы и лили неустанно по целым дням. Я не выдержал напора кислой весны и захворал.

По сравнению с военной гимназиею в лазарет за помощью обращалось значительно менее народу. Играл тут, конечно, роль более возмужалый возраст, а затем и отсутствие болезни febris cataralis[116] — «отчасти притворялись». Как и в кадетском лазарете, так и здесь любимые микстуры старика доктора были не разнообразны, не только фельдшера, но и больные знали их наизусть. Прогресс выразился тем, что давали лекарство не с ложки, а в особых стаканчиках.

Благодаря Бога, я скоро выправился и «выписался» из лазарета. Сосед мой по кровати не был так счастлив. Рослый, краснощекий, с вьющимися кудрями, жизнерадостный грузин, воспитанник Воронежской военной гимназии, Н-дзе, не мог осилить подкравшегося к нему незаметно, предательски, северного врага. Бедняга зачах от холодного, промозглого воздуха и заснул навек… Молодая жизнь, испугавшись страшного для нее климата, быстро, почти без борьбы, оставила прекрасное тело навсегда. В жару горячки, верно, чудился ему родимый дом, приютившийся у нагретой полуденным солнцем скалы, с очаровательным видом на цепь уходящих в синюю даль гор,

слышался ему голос матери, виднелись товарищи, собравшиеся у журчащего ручья под тенью развесистого орехового дерева… Да, там ждали его, опору и красу семьи… С улыбкой на губах застыл Н-дзе, и мы с музыкой, торжественно проводили его на Смоленское кладбище. За два года пребывания в училище это был единственный раз, что я прошел по нумерным линиям Васильевского острова и его проспектам; до этих похорон и после я знал лишь Кадетскую линию и Набережную.

После петровского торжества мы переселились в лагерь.

Училищный лагерь в Красном Селе отвернулся спиной от красивого озера и от смотрящего в него Дудергофа и стал лицом к безотрадному военному полю, на котором с утра до вечера двигались воинские четырехугольники, виднелись дымки и доносились пушечные и ружейные выстрелы, смешанные с барабанным боем и неутомимым рыданием горнистов.

Юнкера помещались в больших палатках, по две на каждую роту. В сильный дождь шатры пропускали воду, а главным образом, нисколько не защищали от холода, иногда, как известно, довольно ощутительного под Петербургом и в начале июня.

Что было всего неприятнее — это подниматься в четыре часа утра на стрельбу. Сонливые, в скверном расположении духа тянулись мы на далекое стрельбище и там часами простаивали в ожидании очереди выпустить свои четыре пули. Возвратившись в лагерь, юнкера жадно глотали чай и засыпали до обеда крепким сном чернорабочих.

На скате горы, за палатками, ближе к озеру, под деревянным навесом, устроена была столовая. Было все крайне незатейливо: подавали деревянные миски и такие же тарелки. Несмотря на усиленные порции, вероятно ввиду невозможной сервировки, у меня осталось не совсем приятное впечатление о лагерных юнкерских обедах и ужинах. Подспорьем являлся буфет без крепких напитков Харлампия, помещавшийся на перепутье и между палатками и столовой.

В этом учреждении и у мороженщиков летом оставлялись все родительские денежные присылки.

Небольшой, толстенький, с черной бородкой Харлампий не успевал делать разнообразнейшие бутерброды, большого «заграничного калибра». Рыжий повар с синей сливой вместо носа все время шмыгал из маленького чуланчика-кухоньки в ледник и сам же подавал яичницу, бифштекс или телячьи котлеты. Большинство юнкеров распивало здесь чай, благодушествуя на «вольном воздухе». Случалось, что в чайниках вместо кипятку хранилась другая влага.

Большой соблазн для зеленого юношества представляли

разносчики, специально лагерные мороженщики и фруктовщики. После обеда они неотступно вертелись подле юнкеров, входили в палатки и умели отлично расторговываться, не стесняя юнкеров немедленной уплатой. Нормальная лагерная порция мороженого была солидная, квасная кружка! И ничего, съедали и не болели.

После вечерней зари, когда по всей длинной линии авангардного и главного лагерей замолкали солдатские голоса, безыскусственно, но с трогательной верой певшие молитву Господню, наступало время отдыха. Юнкера еще не скоро ложились спать: устраивался хор, шли беседы, толковали с солдатиками, соседями-стрелками, пока, наконец, усталость не брала свое и не загоняла в шатер на горбатый набитый сеном тюфяк, ежившийся на деревянной кровати, разгороженной посредине высокою перегородкой на два узких ложа!

Бодрствовать оставался караул при знамени и дежурные на линейке.

Мне пришлось стоять в карауле, под начальством вечного «вице-портупея», совершенно «штатского», благодушного армянина Д-ва. Глаза его глядели грустно-грустно, и говорил он жалобным, хотя громким голосом, точно служил панихиду. Несмотря на свой горестный вид, он был большой комик, всегда смешил своих соседей и пользовался большою популярностью в училище. Д-в обыкновенно ухитрялся после учения баловать свои ноги туфлями, в которых расхаживал по училищу, несмотря на строгие правила о соблюдении формы.

Целую ночь у нас в караульной палатке не сходил чай со стола. Под утро приходил проверять дежурный офицер и остался доволен порядком. Наконец, встали юнкера и выступили на ученье. Тогда Д-в, почувствовав себя в безопасности, снял походные сапоги, надел туфли и растянулся понежиться. В это время, стоя часовым у «фронта», я заметил внезапно появившуюся на дороге из оврага группу всадников, впереди которых виднелась красивая и мощная фигура великого князя Николая Николаевича-старшего. Не своим голосом я крикнул караулу: «вон!». Юнкера что-то замешкались, выбежали не все сразу, в разнообразной одежде: одни в шинелях, другие в мундирах, и растерянные стояли в ожидании непоявлявшегося начальника караула. По всему авангардному лагерю перекатом понеслись громкие выклики дневальных: «всех на линию!» — и все, кто не вышел на ученье, высыпали на «переднюю линейку».

Главнокомандующий остановился перед нашим караулом и, не произнося ни слова, ждал окончания смятения. И он дождался! Вылетел Д-в в мундире, застегнутом на все пуговицы, и с туфлей на одной ноге вместо сапога. От неожиданности он совсем

остолбенел и забыл командные слова. В это время на линейку прибежал запыхавшийся дежурный офицер Ф-в и, увидев безнадежное положение караула, сам до того перетрусил, что, уставившись в великого князя, заикнулся и не мог ему отрапортовать.

— Хороши! Все хороши!..

С этими словами главнокомандующий уехал, а мы, страшно переконфуженные и трепещущие, стояли перед начальником сводного училищного лагеря, генералом Гаг-ом.

Через час наш ротный командир и поручик Ф-в отправились в Красное Село на гауптвахту, Д-в засел в училищный карцер, а несколько других участников «срама» и «разврата», как выразилось возмущенное начальство, получили «лишки».

Красносельские лагери 1872 г. были исключительно короткие, и мы не успели оглянуться, как назначен был высочайший смотр училищному батальону. В один день с нами выходил на экзамен, теперь уже упраздненный, учебный батальон, который по-старому еще тогда называли образцовым полком. Со всех концов России присылали сюда из очередных частей офицеров и нижних чинов для ознакомления с нововведениями в уставах и введения однообразия в войсках по обмундированию, снаряжению, укладке вещей и т. п. специальным мелочам. Над батальоном царил прежний, уже отживший, плац-парадный дух и, по-видимому, все собственно «полевое» образование сводилось к изучению буквы устава, к отчетливой «ломке строя» и идеальному равнению при церемониальном марше.

Ежедневно перед нашими глазами двигался громадный, укомплектованный по военному составу, батальон и, не уходя далеко для маневрирования, что уже практиковалось во всех других частях, принимался за учение николаевских времен. По целым часам производились ружейные приемы, свертывались и развертывались колонны, а потом долго-долго гудел оркестр с сильным барабанным подбоем и тихим, плавным шагом двигались учебные роты развернутым строем.

Со стороны было красиво смотреть на эти точные, размеренные движения, на плавный шаг, на идеальное равнение; но путем каких чрезмерных усилий получалось это — мы убеждались собственными глазами, и в нас закрадывалось недружелюбное чувство к трынчикам и строевикам старой школы. Нам казалось, что они стремились все затруднять, вносить мертвенность в уставы и самое обмундирование во что бы то ни стало обратить в неудобную, не элегантную и безвкусную форму.

Смотр нашего сводного от двух училищ батальона состоялся

на второй версте Гатчинского шоссе. Начальства и свиты собралось больше, чем юнкеров в строю. Батальонный командир не нашего училища, полковник Д-н, лишь только наскоро выровнял длинную линию развернутого строя, как показалась царская коляска и громкое «смирно!» заставило нас застыть на месте. Государь объехал верхом батальон, вглядываясь пристально в каждого юнкера. Мы помнили правило, что надо на начальника «смотреть весело и провожать его глазами», но перед нами был государь, и невольно, при его взгляде, пробегали мурашки по телу, а шея как-то нервно вздрагивала, точно не выдерживала тяжести головы. Государь остался доволен бравым видом юнкеров и, объехав батальон, сказал: «молодцы!» Это одобрение ободрило юнкеров и развязало скованные волнением члены. Все шестьсот человек обратились в один послушный механизм, который от одного нажима, моментальным общим движением сбрасывал с плеч и подбрасывал обратно ружья. Внезапно открывался то один клапан, то другой, то сразу все и затем равномерно закрывались. Подле меня в строю стоял молодцеватый Гол-в, и я чувствовал, как весь он отдался ружейным приемам, поворотам и маршировке, нисколько не уступая ни одному из «образцовых» унтер-офицеров. Гайки на стволе его ружья нарочно были неплотно стянуты и при приемах лязгали в такт, что доставляло ему видимое удовольствие. Мой левый сосед, «не военный» Ив-в 1-й также лез из кожи вон и от усилия как-то болезненно гримасничал. Поминутно слышались благодарность государя и наши радостные ответы. В заключение учения мы моментально, бегом, с удивительной быстротой переменили фронт, живо выровнялись и приготовились к залпам. Лишь только полковник Д-н протяжно запел: «бата-ли-он!» и не успел произнести быстрое «пли!», как кто-то дернул курок и раздался выстрел. Для смотра это хуже, чем детонирование певца, это равносильно полной потере ансамбля, так как за таким выстрелом обыкновенно сыплется горохом пальба несдержавшихся соседей, потом следует спешная команда и получается некрасивая каша. При звуке злополучного выстрела у многих пронеслась мысль: «пропал смотр»; но, к счастью, никто не соблазнился дурным примером и ружья батальона продолжали гладким, блестящим металлическим зонтиком спокойно висеть по фронту. Такая выдержка впору очень опытным солдатам, и государь тотчас же похвалил нас. Затем последовал моментальный залп, и быстро заряженные ружья вновь были «на изготовке», снова залп и, наконец, третий, заключительный залп. Все вышло хорошо. Начальник училища и командир батальона с расплывшимися от удовольствия лицами выслушивали

благодарность за хорошую подготовку.

После церемониального марша государь приказал вызвать песельников, и под звуки громогласного Воротниковского *«Грянем, братцы, песню!»* он ехал подле батальона до тех пор, пока наш громадный юнкерский хор, аккомпанируемый оркестром, с воодушевлением не закончил песню словами: «на воротах Царя-града водрузим Олегов щит!»

И вскоре, через пять лет, большинству этой молодежи пришлось действительно двинуться к воротам Царьграда[117]. Немало из них спят уже вечным сном на полях Болгарии, и все участвовавшие в боях показали себя истинными героями, оправдав и царскую отеческую ласку, и царское спасибо…

Маневры в этот год продолжались очень недолго и закончились 12-го июля. Несмотря на краткость маневров, я в жизни никогда так не уставал, как за эти памятные четыре дня. В особенности тяжело пришлось на первом бивуаке, подле Александровской станции у Царского Села.

С вечера мы все были в отличном расположении духа, аппетитно поужинали и с веселым говором разлеглись под открытым небом на солому, которую нам роздали по снопу на брата. Ночью пошел дождь; сначала мы только ворочались и старались своими шинелями укрыться от непогоды, но вода скоро подобралась холодными струйками снизу и заставила постепенно подняться весь батальон. Офицерство спало в палатках на складных койках, и нашу долю разделял лишь дежурный. Дождь не переставая шел всю ночь. Промокший до костей, иззябший, я, да и другие семнадцатилетние воины, товарищи мои, возроптали и стали порицать военную службу с ее невзгодами и лишениями. Ужасно было жалко себя в эту ночь!.. Кто-то указал на возможность укрыться в дровяном сарае железнодорожной станции. Несколько десятков юнкеров бросились туда и в темноте так неудачно стали размещаться, что сдвинули поленницу и дрова загремели на нас, к счастью не зацепив никого. Пришлось покинуть этот приют и мокнуть до конца.

Утром батальон юнкеров двинулся к Красному Селу. Солнце в этот день старалось высушить нашу мокрую одежду и сильно припекало. Преследуя отходившего к лагерям неприятеля, нам приходилось зачастую идти по вспаханному полю, спотыкаясь на кочки и скользя по мокрой глине, или путаться в низкорослых, ни на что путное не годных «кустах». От жары и после бессонной ночи все вскоре сильно устали. Пить хотелось нестерпимо, а по дороги кроме желтой болотной воды ничего не встречалось. Некоторые юнкера, несмотря на окрики офицеров, припадали к этому ужасному пойлу и через носовой платок втягивали в себя

красноватую воду; а другие, совсем обессиленные, присаживались на землю. Постепенно за батальоном образовался длинный хвост отсталых.

Появились хищные, всюду поспевавшие, разносчики с корзинками на головах, и в несколько минут распродали по чудовищным ценам свой товар. За сельтерскую воду платили сначала по 60 к., а потом и по рублю. Я едва-едва тащился. Помню, увидел у кустика разносчика с осклабившимся лицом, спросил у него воды, но он показал пустую корзинку. Тут же я свалился в глубокий обморок и пришел в себя уже в лазаретной фуре…

На другой день мы, новички, попривыкли к трудностям похода и вскоре втянулись совсем. Закончились маневры благополучно, без больных. 17-го июля, вместе «с отбоем» маневров, состоялось и производство в офицеры юнкеров старшего класса.

Младший курс остался в лагерях для топографических, «полуинструментальных», съемок. Нас разделили на несколько партий, по семи человек в каждой, и заставили бродить с приборами вокруг Дудергофа и Киргофа, провешивать линии, измерять цепью расстояния и наносить на планшет. В нашей партии главным образом работал хороший чертежник Сн-ский, который с замечательной добросовестностью и бескорыстием отделывал план за всех.

Так как наши официальные руководители, отделенные офицеры, «полуинструментальной» съемкой сами не занимались никогда, то, во избежание недоразумений, при обращениях: «объясните, г-н поручик», благоразумно воздерживались от контроля над нашими работами. Предоставленные сами себе, мы пользовались полной свободой и целые дни проводили вдали от официальных лиц, от казенной обстановки.

За две недели мы отлично изучили красносельские окрестности, знали все пригорки, овраги и лощины, число дворов и жителей в грязных чухонских и несколько более приглядных русских деревушках. Некоторые, из более предприимчивых и пылких юнкеров, узнали и кое-что еще, кроме этого…

Прекращение съемки и возвращение в Петербург нас, не уезжавших в отпуск, нисколько не порадовало, и мы без особенного удовольствия выступили на зимние городские квартиры.

4

Никогда уже впоследствии я не испытывал такого удовольствия от служебного повышения, как при производстве в фельдфебели. Также несказанно, по-детски, был я рад получить прусскую медаль во время приезда в Петербург Вильгельма I. Счастливые, радостные моменты! Далек я был от всякого философствования, не затемнял непосредственных впечатлений досадным анализом и совершенно был счастлив, любуясь на свои нашивки и на саблю с серебряным темляком. Мне казалось, что не только в училище, но и на улице прохожие не без интереса поглядывали на мои погоны…

Однако новая должность несла с собой и очень колючие шипы. Приходилось, оставаясь добрым товарищем, не ронять своей начальнической роли и не прибегать к карательному вмешательству ротного командира. С самого раннего утра надо было во всем сдерживаться и не позволить себе никакого отступления от правил, чтобы не дать повода к подражанию.

Вечером, после дня, проведенного за усиленными физическими упражнениями и учебными занятиями, рота возвращалась из столовой ленивым шагом и строилась «покоем» для «переклички». Я читал длинный литографированный список-свиток юнкеров и каждый при звуке своей фамилии произносил: «я!». Исстари так завелось, что при этом некоторые позволяли себе отвечать или чрезмерно громко, точно в рупор, или с комическим оттенком. Опять нужно было балансировать так, чтобы не прослыть за придиру, «трынчика», и в то же время не позволить слишком уж резких проявлений веселья.

Сколько приходилось выслушивать объяснений о назначении на дежурство и дневальства!..

Я невольно выработал себе особую манеру говорить перед фронтом, причем мой голос казался мне самому чужим, каким-то сухим и жестким.

Бывало, рота выстроится по какому-нибудь случаю и, видишь, небрежно плетется запоздалый приятель-товарищ. Нечего делать, скрепя сердце насупишь брови, «наденешь на лицо маску», и делаешь при всех ему замечание; а если, на грех, он буркнет недовольное слово в объяснение, приходилось возвысить голос и резко оборвать забывшего дисциплину, а у самого кошки скребутся на душе. И рота стоит смирно, никто не пошевелится и не улыбнется. Для испытанья своего авторитета стараешься выдержать такое приподнятое настроение добрую минуту, и в то же время страшно передержать момент, а вдруг кто-нибудь, на

грех, чмыхнет или сделает демонстративное движение; тогда ведь протест внезапно охватывает массу, и с ней уже не в силах справиться товарищ-начальник.

В общем, громадное большинство относилось очень благодушно к фельдфебельским требованиям, а некоторые из товарищей просто поражали старательнейшею помощью мне в интересах порядка. Вот уже именно неизвестные, бескорыстнейшие деятели! Вспоминается мне, например, левофланговый С-ский, удивительно рачительно относившийся к служебным требованиям. Не только приказание офицера, но поручение портупей-юнкера было для него законом, и он тщательно все исполнял, не отделяя обязательное от необязательного. Надо было видеть его в строю, как он старался добросовестно, от души, «тянуть носок» или левым плечом «поддерживать» равнение…

Много, много еще других старательных юнкеров прошло перед моими глазами, всех их переименовать было бы скучно, разбрелись они теперь по всей России и верой и правдой не в больших чинах служат царю и отечеству.

Несмотря на некоторые шипы, я с благодарностью вспоминаю фельдфебельскую должность. Это была превосходная жизненная школа, которую приходилось проходить практически, без руководства и постороннего вмешательства.

А время все двигалось вперед и вперед, и выпуск, производство в офицеры приближались. После девятилетнего пребывания в казенных корпусных и училищных стенах надо было, наконец, вскоре стать на свои ноги.

До этого жизненного перелома о наших нуждах думали другие, все первые потребности были обеспечены, а дальше как будет? К концу года стала выясняться действительная разница имущих от неимущих, разница, до сих пор остававшаяся незаметной, в особенности в военной гимназии, где, во избежание зарождения зависти, усиленно урезывали карманные кадетские расходы и не позволяли приносить даже лакомства. Теперь уже было другое, и задрапированная действительность начала мало-помалу открываться перед нами.

При выпуске полагалось на обмундирование 226 р. Для некоторых это был не только весь ресурс, но под эту сумму уже была взята некоторая часть у солдата-музыканта, еврея Ш-ча, который, невзирая на кажущуюся свою глупость и большую рискованность, вел свои банковские операции очень удачно. Сколько процентов брал тромбонист, никто не высчитывал. Условливались просто: «возьмите десять, а при выпуске (т. е. через несколько месяцев) отдадите двадцать»… И я не слышал,

чтобы юнкера жаловались на подобные лихвенные проценты, это казалось обыкновенной вещью. В нашей роте был молодой, симпатичный солдат, каптенармус, который убежден был, что не занимается ростовщичеством; однако у него можно было всегда на неделю, на две раздобыться желтенькой или синенькой, причем ему возвращали «без процентов», но в двойном размере.

К концу учебного года в роте стали появляться портные, которые начинали работу заблаговременно: снимали мерки, примеряли платье.

Иногда слышался возглас товарища: «г-да офицеры!» Не знаю, почему, но я нисколько не ощущал сладости приближения производства и с тревогой подумывал о предстоящей жизни;

Как и в прошлом году, экзамены прошли, сравнительно, очень спокойно. Громадное большинство кончило по 1-му разряду, а по 2-му — лишь несколько человек или совершенно неспособных, или ничего не делавших. На экзаменах, конечно, нервы были несколько приподняты, но не было ни обмороков, ни столбняков. До сих пор мне живо помнится диалог одного из товарищей в день последнего экзамена. Б-в просил и дневального юнкера, и дежурного служителя разбудить себя в 4 часа утра. Его насилу растолкали.

— Которрый час? — испуганно закартавил он.

— Уже четверть пятого. Вставай!

— Поздно. Прровалился!

Как мешок, вновь упал он на постель и заснул крепчайшим сном до общей повестки. Но опасения Б-ва не сбылись. Несмотря на то, что он не успел повторить весь курс, репетиции помогли, и он выкарабкался на 8 баллов. Вторые лагери начались с глазомерной съемки. Опять мы закружились в окрестностях Красного Села, теперь уже в одиночку. Встречались работы, отделанные с удивительной любовью; но иные намуслили что-то неподобное…

У Харлампия все больше и больше стали засиживаться товарищи, и за чайниками, наполненными не всегда чаем, велись беседы о разборке вакансий, о присылке «именных» и о расходах на обмундирование. Большинство, конечно, стремилось «выйти» поближе к родным. Заранее шла самая деятельная переписка и хлопоты о соответствующих вакансиях. В гвардию записывались больше по настояниям родных, чем по собственному призванию к петербургской жизни. У отцов, стариков армейских офицеров, было особое представление о гвардии как об учреждении, делавшем обязательную карьеру. «Перебьешься первое время как-нибудь, — писали они своим сыновьям, — а там, Бог даст, и устроишься!..» Да, мы уже это по рассказам училищных офицеров

знали, что это значить «перебиваться» в гвардии и как это легко достается. Однако выходили же ранее бедные юнкера в гвардии, перебивались и устраивались… Попробуем и мы… Некоторым юнкерам безразлично было «выходить» в ту или другую бригаду, полк или батальон. Решающим моментом в таких случаях служила казачья шапка, шитье мундира или вовремя сказанное кем-нибудь похвальное слово о части. Наш бывший товарищ, «дядько» Гор-ч, прислал в роту письмо, в котором подробно описывал привольное житье-бытье офицеров их батареи, квартировавшей в одном из уездных малороссийских городов. За целый дом в пять комнат он с товарищем платил в месяц пять рублей; стол обходился им тоже удивительно дешево, и лишь одного не хватало — не было оперы и кондитерской. Письмо перечитывали все выпускные, некоторые же, намотав себе на ус о выгодах гор-чской стоянки, заранее рассчитывали, как дешево им будет обходиться жизнь, и смело шли к тромбонисту Ш-чу занимать деньги в счет будущей офицерской экономии…

Во время «разборки вакансий» всех охватило сильное оживление. В наше училище в 1873 г. прислано было более сорока гвардейских вакансий, что заставило нескольких юнкеров переменить артиллерийскую веру на старую пехотную.

Когда определилось окончательно, кто в какую воинскую часть выходит, то сейчас же начала обнаруживаться некоторая рознь среди однокурсников, сбившихся за время двухлетнего постоянного совместного пребывания в довольно твердую, однородную массу. Надо, кстати, заметить, что корпусная и военно-гимназическая спайка, образовавшаяся с детства и крепнувшая в течение семи лет, была сильнее училищной.

Будущие однополчане и однобригадники, разбитые пока по разным ротам и даже училищам, начали группироваться, знакомиться ближе и вскоре у них явились свои особые интересы, шушуканье и чаепитие новыми партиями. В особенности это было заметно среди будущих гвардейцев, которые после визита офицерам своих полков набрались некоторой гордости и старались уже попасть в такт будущей их военной семьи.

Лагери быстро подходили к концу, и у петербургских военных портных кипела горячая, спешная работа по обмундированию нескольких сотен молодых офицеров. В училище заметно прибавилось количество писем с пятью красными печатями. Присылаемые суммы были обыкновенно очень скромны, но и это небольшое, несомненно, отнималось от куска насущного хлеба семьи, и потому письма по большей части не вызывали особых восторгов и прочитывались с нервной торопливостью, с желанием спрятаться от неприглядной

действительности.

Привычка с раннего детства к товарищескому сообществу, невозможность в течение девяти лет пребывания в казенных стенах уединиться, запереться в свою комнату заставляли и скрытные по природе натуры откровенничать и открывать свое сердце. Однако один из отличнейших юнкеров К-ов и при этой обстановке не делился ни с кем вестями из родного дома. Его считали сухарем и «бесчувственной амфибией». На одну из вечерних перекличек, обыкновенно исправный, К-ов не явился. Когда все юнкера разбрелись по «линейке», я пошел отыскивать пропавшего: он оказался в палатке, на своей постели и, к моему удивлению, рыдал над свертком полученного им с почты белья.

— От матери, от мамаши это! — всхлипывая, заговорил он. — Пенсии всего триста рублей получает… Это все она шила и вязала, а это вышивала сестра моя! — говорил он, показывая на шелковые цветные узоры на сорочке… — А вот… вот в этом носке, смотри… тут три старых полуимпериала, червончик, вот два старинных талера, десять рублей бумажками и рубль восемьдесят… во-семь-де-сят ко-п-ееек м-е-е-л-о-очью… И при этих словах он залился слезами.

— Ведь это из последнего, из копилки! Это мамаше от бабушки еще досталось!

И долго в этот вечер говорил он мне о своей семье, о матери-вдове, о сестрах подростках и о своей радости придти теперь им на помощь.

На другое утро К-ов был уже опять прежним бравым, малообщительным юношей, но при встрече со мной добрая улыбка освещала и согревала его энергичное, несколько холодное лицо.

— Господа, кто хочет видеть одеяло, под которым спал начальник дивизии?! — провозглашал, не то шутливо, не то торжественно П-ский, ныне уже покойник, рассматривавший свое офицерское приданое.

Охотники посмотреть нашлись.

— Целый год мать с сестрой вязали мне одеяло, смотрите, какое шикарное! Один пух! Шик! Во время инспекторского смотра начальник дивизии квартировал у моего зятя, командира полка, и прикрывал свои старые косточки моим парадным одеялом.

Юнкера посмеялись, но многие не без почтения отнеслись к одеялу и осторожно, не без любопытства, потрогали его.

Кроме одеяла, П-ский, один из наиболее достаточных среди нас, получил бобры для шинели и каракуль для пальто с придачею пятисот рублей для полной столичной экипировки. Нам казалось, что П-ский, положительно, богатый человек; он,

вероятно, и сам так думал и потому стал желанным гостем маркитанта, подававшего ему в чайнике шампанское. Разносчики-фруктовщики и мороженщики усиленно ломали перед ним шапки, ловко всучивали ему свой товар и усиленно просили не беспокоиться и не платить сейчас. Перед маневрами у П-ского уже не было ни копейки, а за заказанные вещи почти ничего не было заплачено. Он загрустил и стал говорить о загробной жизни; но вскоре мысли его приняли другой оборот. Юркий разносчик Филипп, разузнав, что у П-ского бездетная сестра замужем за командиром полка, предложил ему двести рублей под вексель на три месяца в триста рублей. Живший лишь настоящим и вполне беззаботный о будущем, П-ский быстро уверил себя, что он в отпуску достанет деньги и потому не только согласился с радостью на эту финансовую комбинацию, но даже дал разносчику три рубля на чай. Тот же искуситель-разносчик усиленно стал предлагать в долг сладости безродному Гл-скому, который, прельстившись папахой, взял вакансию в восточно-сибирский линейный батальон. Ловкий ярославец с бегающими плутоватыми глазами, почуяв большие прогоны, решил воспользоваться подъемными деньгами и успешно, без расписки, авансировал Гл-скому небольшие суммы, а перед маневрами неопытный юноша, для округления неудобопонятных счетов, неожиданно для себя должен был подписать вексель на восемьсот рублей.

Большинство выпускных записались в артиллерию, ходили на артиллерийские ученья и пехотой стали пренебрегать. «Пехота, не пыли!» — кричали они нам, оставшимся верными своему роду оружия и не променявшим винтовку на пушку. Мы же подтрунивали над их неподготовленностью к артиллерийской специальности.

Многочисленные будущие артиллеристы с иронией смотрели теперь на тяжеловесное ружье системы Крика и после царского смотра видимо стали критически относиться к «чистоте приемов и твердости шага».

Два «беззаботных артиллериста» решили, что теперь уже не надо чистить винтовки после стрельбы, и ходили в строю как-то нехотя, за что жестоко раскаялись, так как для укрепления точных представлений о дисциплине им пришлось просидеть до выступления на маневры в иноческой обстановке, в тесном, душном карцере, куда свет проникал из маленьких окошечек, прорезанных у самого карниза.

Батальонный командир напомнил юнкерам, что в училищной хронике бывали случаи отставления от производства или выпуска по второму разряду из-за увлечения близкими эполетами. Все

подтянулись…

Наконец, мы выступили на маневры. Погода стояла прекрасная, и окрепший за год организм не чувствовал уже прошлогодней усталости. Особенно весело было во время дневки в большом селе Ильешах. День был праздничный, и наш громадный, соединенный из двух училищ хор пел обедню, чем доставил громадное удовольствие многочисленным богомольцам, стекающимся сюда издалека для поклонения чудотворной иконе.

Под вечер деревенские красавицы угостили нас хороводом. Разносчики в этот день заработали большие деньги. Весь их запас шоколада и залежалых конфет был раскуплен на угощенье певиц-крестьянок, пищавших неестественными голосами. Одна из них, водившая хоровод, была действительно очень красивая и кокетливая девушка. Несколько юнкеров моментально влюбились в нее, не было возможности их оттащить от хоровода даже на перекличку, и для водворения порядка понадобилось вмешательство дежурного офицера, который на время тоже было раскис при виде писаной красавицы…

На эти маневры первый раз выдали юнкерам tentes-d’ abrís[118]; хотя они и увеличивали вес снаряжения, но перспектива ночной защиты от непогоды заставляла относиться к ним очень дружелюбно. Теперь, с приходом батальона на бивуак, поле живо покрывалось серыми бугорками, в норки которых после позднего обеда спешили заползти юнкера. На бивуаке, наружно, оживление улегалось быстро и маячили лишь дежурные, да часовой ходил у знамени…

Настал и день производства. На наше несчастье, маневр закончился не по заранее составленному предположению, и училища оказались за несколько верст от царской ставки. Ввиду этого нам не удалось выслушать поздравление с производством из уст государя. Приехал на тройке главный начальник военно-учебных заведений Н. В. Исаков и роздал нам приказы о производстве. Государь очень скоро уехал в Москву, так что нашему выпуску не выпало счастье представляться ему и после производства.

Несмотря на то, что в последний день маневров мы уже сделали переход верст в тридцать, юнкера просили начальство не останавливаться на бивуаке и сейчас же идти в Красносельский лагерь. Быстро, с песнями, прошел батальон еще двенадцать верст, и через час после прихода весь старший класс уже катил по железной дороге в Петербург, где нас ждала офицерская форма и открывалась новая жизнь, казавшаяся большинству такой розовой, цветущей…

Ни одно из служебных повышений не изменяет так человека

по внешности и по отношениям к нему, как производство в офицеры. Точно куколка обращается в бабочку. Час назад еще, одетый в незатейливую форму нижнего чина, он был на солдатском положении, все было ему запретно, перед всеми он вытягивался, от всех выслушивал замечания и вдруг, одно мгновенье, и тот же человек, точно при театральном превращении, является в блестящем костюме — он офицер. Двери перед ним открыты и в самом даже дворце он становится носителем рыцарских преданий и предпочтительным предметом девичьих вздохов и дамских вожделений…

На неделю Петербург оживился сотнями молоденьких, жизнерадостных офицеров.

Многие из вновь произведенных офицеров до отъезда из Петербурга остались еще в училищных стенах. Для них было отведено особое помещение, и юнкерская кухня продолжала их кормить.

Более зажиточные, или, вернее, менее расчетливые поселились в гостиницах. В общем, заметен был сильный недостаток в деньгах, что значительно умеряло кутежные порывы некоторых товарищей. Взять в долг теперь, уже перед отъездом, не представлялось возможным. Наоборот, наступила ликвидация лагерных увлечений. Музыкант Ш. и разносчики-акулы, обыкновенно безуспешно пытавшиеся проникнуть в офицерское помещение, одолевали письмами с просьбами поскорее уплатить им занятые деньги. Особенно горячился Филипп, боясь упустить Гл-ского, получившего более тысячи рублей подъемных и прогонов.

Гл-ский числился живущим в училище, но никто его не видел, он точно в воду канул. Подозревали, что он поехал провожать в Москву какую-то цыганку. Филипп был в отчаянии.

Этот кровопиец, высасывая непомерные проценты за риск, в то же время страшно боялся начальства и, во избежание административной расправы, не смел заявлять о юнкерских долгах казначею при выдаче прогонов и обмундировочных денег.

Некоторые юнкера, возмущенные его приписываниями, решили не платить процентов, наказать тем его, дай себя не обездолить… Конечно, это было не совсем корректно, но товарищи не особенно строго смотрели на проделки с ростовщиками и потому не без сочувствия относились к желанию проучить паука. Разносчик и еще три-четыре финансиста целые дни просиживали на тротуарных тумбах перед подъездом, в ожидании своих уклоняющихся от уплаты должников, и если им удавалось их встретить, то они приставали с такой настойчивостью, что домогались обыкновенно письменных

обязательств. Вот почему два-три из вновь произведенных с опаской выходили на улицу и поскорее старались покинуть Петербург.

К-ов и еще несколько человек, как только получили прогоны, сейчас же улетели в отпуск домой; да и другие не задерживались. Первые дни производства и погода помогала радужному настроению; но вскоре пошли дожди, потускнели новые погоны, смялись фуражки, потеряли свежесть серые пальто, и молодежь укатила из столицы. Осенний дождь точно смыл с улиц новопроизведенных, смыл и веселое, беззаботное их настроение.

Девять лет жизни в закрытых казенных заведениях пришли к концу, и в 18–19 лет впереди развертывалось открытое поприще, широкая дорога. Большинство удивительно смело, не задумываясь много, ступали по новой стезе. С наукой многие считали счеты покончеными навсегда, так как доступ в высшие военно-учебные заведения был очень затруднителен.

— Академия? Нет, уж это толкуйте другим, мне и так опостылели учебники, — говорил П-ский и выражал мнение многих товарищей, которые еще весною, после экзаменов, предали сожжению классные записки и пепел рассеяли по ветру.

Но были и такие, которые твердо решили не останавливаться на полдороге и непременно закончить свое военное образование в академии. К сожалению, впоследствии далеко не всем им удалось выполнить эту задачу, а в числе поступивших в академию приходилось встречать таких, которые в училище об этом и не помышляли. Жизнь с ее случайностями перерабатывала людей, и грозная действительность одних пришибала, а другим нередко открывала глаза, вразумляла заленившихся, беззаботных малых…

Прощаясь с училищем, нельзя было не поблагодарить заведение за двухлетний гостеприимный кров, за науку и за тот образцовый режим, который в короткое, сравнительно, время дисциплинировал волю, закалил наше здоровье, сделал из нас офицеров, вполне пригодных поддержать честь мундира и руководить молодыми солдатами, без помощи отошедших в предание старых унтер-офицеров дядек.

Вышли из училища мы, нас заменил младший курс, а на его место из разных концов России уже направлялись новые, молодые побеги, новые юнкера… И так из года в год, незаметно, пропускает военная школа через свою воспитательно-учебную систему сотни молодых людей, и каждый из них, на какое бы поприще ни занесла его судьба, вспомнит всегда добром то заведение, где он, не испытывая умственного переутомления, почерпнул силы для жизненной борьбы и где убеждения его о рыцарском, бескорыстном служении родине окончательно

сложились и окрепли.

III. В министерстве двора [119]

1

Переход на службу в министерство. Гр. Воронцов-Дашков. Гатчинский дворец. Н. М. Баранов. Военная охрана. Е. *Н. Ширинкин. «Святая дружина». Комиссия прошений. А. Н. Кирилин. Гр. А. В. Адлерберг 2-й Бар. Кистер. Капиталы Министерства двора.*

По своему происхождению, воспитанию, образованию и первым годам службы я всецело принадлежал военной среде, сросся с ней, наметил для себя и в будущем работу по военно-учебной линии. В мыслях у меня не было сделаться когда-либо чиновником, но жизнь богата неожиданностями, подготовила и мне она сюрприз. С воцарением Александра III гр. Воронцов-Дашков был выдвинут на пост министра двора[120]. С 1876 года я исполнял обязанности его личного секретаря и незаметно перекатился с ним в дворцовое ведомство. Сначала, еще будучи в Военно-юридической академии, я был командирован в распоряжение графа, а затем, вскоре по окончании курса, переименован был в гражданский чин «для определения к статским делам» и вплоть до лета 1897 года другого начальника, кроме гр. Воронцова-Дашкова, не знал.

Несколько слов о графе Илларионе Ивановиче. Сын очень богатого помещика, обер-церемониймейстера старониколаевского времени, и жены его, знаменитой красавицы, воспетой великим поэтом[121]. Молодой Воронцов получил основательное общее образование за границей, вернувшись оттуда, поступил в Московский университет, где, впрочем, оставался недолго — его потянуло на военную службу. На двадцать первом году от рождения он поступил юнкером в л. — гв. конный полк и только в возрасте двадцати двух лет был произведен в корнеты, что считалось большим запозданием в смысле служебной карьеры, но судьба улыбнулась молодому офицеру, он быстро обскакал своих сверстников, в течение восьми лет успел достигнуть генеральского чина.

Светская столичная жизнь мало привлекала молодого Воронцова, мелочная манежная служба его не занимала, он рвался в военные экспедиции, стремился на Кавказ, куда вскоре по производстве в офицеры и уехал. Юнкерское время в Петербурге отмечено было разными проказами, так, например, на масленицу Воронцов собрал компанию из товарищей-юнкеров[122] и отправился с ними на Адмиралтейскую площадь в большой балаган, где поставлена была из жизни американских переселенцев кровавая пьеса. Юнкера заняли ложи подле сцены, и

как только появились краснокожие, собиравшиеся ограбить спящий лагерь, как юнкера, обнажив палаши, предводительствуемые Воронцовым, бросились на разбойников… Краснокожие постыдно бежали, публика неистово аплодировала, кричала «ура», юнкера попали под арест.

На Кавказе молодого графа приблизил к себе наместник, кн. Барятинский, давал ему ответственные поручения, поручал, помимо чисто военных дел, разработку разных вопросов, связанных с политико-экономической жизнью богатой окраины. Воронцов с молодых лет проявил особо присущий ему такт и безукоризненную корректность в сношениях с людьми, что, вместе с большою вдумчивостью, давало ему возможность выходить с честью из затруднительного положения при выполнении поручений наместника. Храбрый в боевых стычках, приветливо-задушевный, простой в обращении, тороватый, готовый всегда помочь, и помочь широко, Илларион Иванович скоро успел завоевать себе на Кавказе прочную популярность, которая среди старожилов держалась потом долгие годы. Во время моих путешествий по Кавказу в 80-х и 90-х годах прошлого столетия мне не раз приходилось слышать от туземцев пожелания о назначении к ним наместником «князя Дашков-Воронцова», как величали его старики-грузины и татары.

С уходом кн. Барятинского оставил службу на Кавказе и гр. Воронцов. Он назначен был флигель-адъютантом[123] и одно время пользовался особым расположением Александра II, состоя в числе ближайшей его свиты, сопровождал императора в путешествиях по России и за границей. За этот период он близко сошелся с цесаревичем Александром Александровичем. Дружеские отношения с ним остались неизменны на всю жизнь.

Недолго, однако, усидел Воронцов в Петербурге. В Туркестане открылись военные действия, его потянуло на фронт. Под Джизаком он командовал штурмовой колонной, отличился, получил георгиевский крест; за другие боевые дела награжден золотым оружием, произведен в генералы на восьмом году офицерской службы и назначен помощником начальника вновь образованной Туркестанской области. Петербург, однако, потребовал молодого героя к себе. Воронцов получил в командование л. — гв. гусарский полк.

Старые гусары с особенным удовольствием вспоминают то время, когда во главе их появился Илларион Иванович, истый джентльмен, страстный спортсмен, благородный начальник, смело принимавший на себя ответственность за все, что происходило у него в полку, не сваливавший вины на подчиненных, не мелочный, не придирчивый, стоявший горой за

своих, готовый всегда откликнуться и помочь своим заступничеством, своим влиянием в высших кругах и своим, наконец, кредитом.

При сформировании в 1874 году Гвардейского корпуса граф назначен был начальником штаба. Мне пришлось познакомиться с ним именно в эту пору его службы. Ему тогда было сорок лет от роду.

Плотный, выше среднего роста смуглый брюнет с вьющимися легкой волной волосами, с чарующими черными глазами, он сразу заставил забыть иерархическую разницу между прапорщиком и генерал-адъютантом. Воронцов обладал редким даром располагать к себе людей, умел душевно близко-близко подходить к собеседнику, знал секрет своим участливым отношением смягчать самые угрюмые натуры. Чувствовалось, что он искренне проникался в эти минуты интересами собеседника, хотя бы и просителя, жил ими, стремился найти более благоприятный выход из положения. Работать с ним было приятно, легко. Очень внимательно редактировал составленные по его указанию письма и записки; поправки делал очень деликатно. Сам писал связно, красивым оригинальным почерком. К сожалению, русская лень сказывалась в личной его переписке, начатые им письма нередко по неделям ждали окончания.

В официальной переписке он не обращал внимания на то, что мой почерк не отличался красотою, из-за мелких описок не требовал переписывать заново, довольствовался поправками.

По поводу этих поправок граф показал мне записку гр. Валуева, адресованную цесаревичу. В нескольких местах писарский, каллиграфический текст испещрен был валуевской корректурой, присыпанной золотым песком. «Смотрите-де, с какою тщательностью я проверяю бумаги». «Вот о чем ему, видимо, хотелось своими золотыми поправками доложить наследнику», — заметил Воронцов. Сам же он относился к внешности бумажной переписки искренне равнодушно, не придавал значения ни форматам, ни достоинству бумаги, ни почеркам, ни поправками. Натура его совершенно чужда была канцелярского бюрократизма, что он в полной мере доказал в бытность свою министром. Поседевшие за письменными столами опытные чиновники приходили в смятение от неуважительного отношения министра к бумажно-канцелярскому укладу, многими годами закрепленному, требовавшему неустанной затяжной переписки.

Славянское движение середины 70-х годов[124] подхватило графа. Он посильно содействовал, чтобы оно не погасло в самом начале; деятельно работал над вербовкой добровольцев-

офицеров, снабжением их материальными средствами и отправкой их в Сербию. Он вошел в оживленные сношения со своим давним туркестанским знакомым Михаилом Григорьевичем Черняевым и всеми зависящими от него средствами помогал этому симпатичному Рудину славянства. Из личных своих средств он, знаю по письму, передал в полное распоряжение Михаила Григорьевича 10 000 руб. В 1876 году подобная сумма считалась значительной. Да, вероятно, этим не исчерпывались его личные пожертвования.

Кстати сказать, материальные дела Воронцова в 70-х годах были не блестящи. Эксперименты главноуправляющего привели к огромным бесцельным затратам на постройку завода. К этому прибавилась катастрофическая заминка со сплавом зерна, заподряженного казне без комиссионеров, с первых рук; казалось чрезвычайно выгодно, а при расчете получился большой убыток. Для поправки дел пригласили остзейского инструктора, бар. Драхенфельса, обладавшего крупной фигурой, внушительной внешностью, решительным, властным голосом и полным незнанием русских бытовых условий. В то время многие из нашей знати ставили себе за образец хозяйство прибалтийских помещиков и охотно пользовались услугами местных специалистов. Воронцов не принадлежал к числу почитателей немецких управляющих, но миллионные убытки заставили его уступить настояниям близких людей, призвать варягов. Впрочем, они царствовали сравнительно короткий период.

Воронцов, как известно было многому множеству знавших его, не только не отличался скопидомством, но скорее был склонен к расточительности и при этом не на собственную утеху, а на широкую помощь другим, своим приятелям, сослуживцам и вообще разным лицам, обращавшимся к нему за помощью в критические моменты своей жизни. Многих людей он вызволил из беды, буквально освободил из петли неминуемой. В то же время он с особой, слишком даже поспешной отзывчивостью относился ко всякого рода открытиям, изобретениям, полезным практическим нововведениям. Ловкие люди, а иногда фанатики, глубоко верившие в свои несбыточные проекты, нет-нет [да и] появлялись на горизонте и на время завладевали всецело вниманием графа. Он с ними носился, субсидировал, просил за них. Нередко приходило разочарование в увлечении, но это [не] отпугивало графа от новых прожектеров, наивных и лукавых, добросовестных и с большой нравственной червоточиной.

Главноуправляющие-немцы, надо отдать им должное, не хитрили над созданием новых промышленных предприятий и операций; они упорядочили бухгалтерию, продавали лес и

закладывали имения в «Золотой банк». Земельные богатства были настолько солидны и так быстро стали подниматься в цене, что выдержали, в конце концов, разнообразные опыты эксплуатации.

Я упомянул о тороватости Воронцова, о готовности поддержать нуждающихся. Многие сотни тысяч улетели у него безвозвратно; но в конечном подсчете, как это ни покажется странным, благодаря своей доброте, своей товарищеской отзывчивости, [Воронцов] выиграл не только в моральном отношении, но и материально. Из числа его сослуживцев-приятелей два князя А. и В. в начале 70-х годов взяли у него в долг, каждый около 75 000 руб. После войны 1877–1878 годов[125] они за боевые отличия получили от казны по десяти десятин нефтеносной земли в Баку и, не имея денег для уплаты долга, к которому относились джентльменски, предложили взять эту землю, на которую в то время еще охотников не было. Впрочем, кн. А. скоро раздумал и попросил отложить платеж, рассчитался он лишь в 90-х годах, когда самостоятельно продал свой участок, кажется, за 1 800 000 руб. Земля же кн. В. осталась за графом, лежала несколько лет впусте. В 1886 году, в бытность мою на Кавказе, он просил меня побывать в Баку и, через посредство городского головы Деспот-Зеновича и Дебура, попытаться продать участок, так как графу нужны были деньги. Единственным тогда солидным соискателем явилась фирма Ротшильд, представитель которой предлагал за участок 100000 руб. Граф не хотел продавать иностранцам, сделка, к счастью, не состоялась. Через два-три года картина резко изменилась. Нефтеносные земли пошли сильно в гору. Участок сначала был отдан в аренду Нобелю, стал приносить ежегодно несколько десятков тысяч рублей, а затем перешли к самостоятельному эксплуатированию, и доход уже исчислялся сотнями тысяч рублей ежегодно, с лихвой покрыв грехи всех недоимщиков и забывчивых должников Воронцова[126].

Во время русско-турецкой войны гр. Воронцов состоял при наследнике, командовал кавалериею Рущукского отряда. Когда после «второй Плевны» решено было вызвать на театр военных действий Гвардейский корпус, то командование им предположено было вверить гр. Иллариону Ивановичу, как начальнику штаба в отсутствие командира корпуса. Он приезжал в Петербург для мобилизации гвардейских частей, а затем встретил за Дунаем головные части и руководил первыми их передвижениями в районе военных действий. Ближайшим помощником его, собственно по штабу, был Павел Константинович Гудим-Левкович.

Но в Главной квартире великого князя Николая Николаевича,

недолюбливавшего Воронцова, постарались затереть его; нашли неудобным столь быстрое выдвижение генерала, не командовавшего еще дивизией, и передали командование корпусом генералу Гурко. В этой перетасовке, помимо вполне понятного стремления вручить гвардию в опытные руки человека, успевшего уже отличиться в первый период кампании, сказалось, несомненно, и скептическое отношение Главной квартиры главнокомандующего к «партии наследника»[127]; да и сам Александр II не прочь был дать от поры до времени щелчок один-другой по приближенным к цесаревичу. Николай Николаевич старший в вопросах кавалерийского дела резко расходился с Воронцовым. Первый стоял за прянично-картинную, но слабую ногами и легкими растопчинско-чесменскую породу лошадей, второй же проявлял себя убежденным, настойчивым поборником английской кровной лошади, как единственно способной улучшить наш слабевший, ухудшавшийся с каждым годом ремонтный контингент. Выступления Воронцова в этом смысле не ограничивались устными докладами и официальными докладами, он выступал и в печати *(«Страна»* Леонида Полонского).

Какие бы ни были соображения, которыми руководилась Главная квартира, но в результате получилось, что граф Илларион Иванович был отстранен от командования, не успев проявить свою деятельность. Он пережил горькое разочарование, вернулся в Рущукский отряд, где опасно заболел и должен был оставить армию.

Таким образом, ему не довелось в широком масштабе приложить свой боевой опыт, вынесенный с Кавказа и Туркестана.

После русско-турецкой войны гр. Илларион Иванович был назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии. Хотя эта должность и мало ему улыбалась, как истинному кавалеристу, но, тем не менее, он не променял ее на почетный пост генерал-губернатора Туркестана, который ему вскоре предложили. Находились такие старатели, которые думали одним выстрелом убить двух зайцев: заместить больного Кауфмана туркестанским же боевым деятелем и в то же время сплавить Воронцова подальше от Петербурга и наследника.

Воронцов, приняв в командование пехотную дивизию, добросовестно отнесся к своим обязанностям, он старательно штудировал вместе со мной Пехотный устав, готовился, как к экзамену, к инспекторским смотрам, которые обязан был производить. Начальником штаба у него за все время командования состоял полковник А. Ф. Бальц, скромный, старательный, точный офицер, которого полковое офицерство

назвало «доктором Бальцем». Как исполнительного, честного, склонного к нестроевой деятельности служаку, Ванновский впоследствии выдернул [его] из специальной сферы Генерального штаба и пересадил в интендантство для оздоровления этого учреждения. Та же операция, прививка культурных соков, произведена была с генералами Газенкампфом, Ростковским и Бухгольцом.

Со вступлением на престол Александра III Воронцов был назначен главноуправляющим государственным коннозаводством и главным начальником охраны его величества. На посту министра двора оставался еще гр. Адлерберг 2-й, но ясно было, что это лишь временно, и вскоре его место должен занять граф Илларион Иванович.

Для продолжения моих секретарских обязанностей пришлось мне поселиться в Гатчине, куда вместе со двором переехал Воронцов. В это же время шли экзамены в Академии[128]. Мне приходилось разрываться на два фронта. Поселился я в дешевеньком номерке гатчинской *«Старо-Веревкшской»* гостиницы на Петербургской улице, откуда и ходил во дворец к Воронцову, занимавшему маленькое помещение в арсенальном каре.

Дворец выглядывал укрепленным замком, повсюду виднелись часовые, дворцовые городовые, казачьи разъезды. На place d'honneur[129] гордо стоял на часах бронзовый Павел I. В начале пятидесятых годов, при открытии этого памятника, Александр III, тогда еще маленький мальчик, стоял в форме павловского солдата почетным часовым. Думал ли он в то время, что ему придется впоследствии царствовать и резиденцией своей избрать именно этот заброшенный многие годы дворец.

Всем приезжавшим во дворец приходилось проходить через кухонное каре и оттуда уже по длинному коридору, стены которого густо увешаны были картинами мифологического содержания, проникать в главный корпус. Здесь, за площадкой перед церковью открывался красивый Белый зал, а за ним, по Греческой галерее, уставленной мраморными бюстами, мимо комнат с чудными гобеленами, путь шел на площадку парадной лестницы арсенального каре; налево виднелась роскошная китайская галерея, охраняемая казаками Собственного [е. и. в.] конвоя, там находились парадные царские апартаменты, а жилые их комнаты помещались в низеньких сводчатых антресолях. Александр III, несмотря на свою богатырскую фигуру, не любил больших комнат, ютился в крохотных сравнительно каморках.

Комнаты Воронцова, генерал-адъютанта Рихтера и гофмаршала кн. Оболенского находились направо от площадки парадной лестницы, если считать направление от Белой залы и

Греческой галереи. Канцелярия Воронцова помещалась в кухонном каре, и мне в течение дня приходилось не раз проходить через длинную дворцовую анфиладу и никогда, ни единого раза, я не встречал кого-либо из царской семьи, видимо, все они тесно держались антресольного помещения, мало соблазнялись истинно царскими покоями главного корпуса дворца.

В Гатчине замечалась растерянность, боязнь новых революционных выступлений. Слухам самым невероятным не было конца, меры охраны принимались разрозненно, каждый из отдельных начальников действовал на свой лад. Не обошлось и без досадных недоразумений. Гатчину оцепили зачем-то кольцом сторожевых постов, не пропускали местных городских жителей и подгородних крестьян, направлявшихся по тракту с молоком, с сеном, с дровами. В городе и в деревнях ропот, посыпались жалобы.

В то время в Гатчине комендантом и начальником дворцового управления состоял престарелый генерал Багговут, родственник Адлерберга. По закону войсковые части, в особенности при чрезвычайных обстоятельствах охраны, состояли в его распоряжении; но старик растерялся, ждал свыше указаний, таковых не дождался, а его ежеминутно в то же время дергали, а он не знал, кого слушаться. При этом старый, опытный придворный знал, что каждый неосторожный шаг его будет учтен конкурентом на должность, занимаемую Багговутом, командиром «синих» кирасир генералом Араповым. Местная малочисленная гатчинская полиция с нервнобольным полицеймейстером полковником Бухмейером во главе подчинена была Багговуту, но от Министерства внутренних дел прислали отряд столичных околодочных и городовых под начальством полковника Антонова, получавшего приказания непосредственно из Петербурга. Кроме того, в Гатчине работала и тайная полиция, руководимая жандармским подполковником Ширинкиным.

За неимением прямого начальства и Багговут, и Антонов, и Ширинкин атаковали гр. Воронцова. Он обладал редкой уравновешенностью, спокойствием духа. Горячиться, спешить, комкать дело он просто не мог по своему существу. Спокойно выслушивал граф опасения трех лиц, охранявших спокойствие Гатчины, не придавал значения слухам, давал понять, что они перестарались.

Полковник Антонов, хитрый, но бестактный и грубый полицейский, быстро стал невыносим Воронцову, на его место прислали из Петербурга очень мягкого, даже слащавого подполковника Зиновьева, грудь которого была украшена

золотою медалью за спасение погибавших. Получил эту награду он за участие в задержании Соловьева, покушавшегося на жизнь Александра П. По уверению Ширинкина, в формуляре Зиновьева значилось: «пожалован золотой медалью на владимирской ленте *за деятельное участие при покушении на жизнь Государя Императора»*.

Петербургский градоначальник Николай Михайлович Баранов стремился распространить свою компетенцию и на загородную царскую резиденцию. Пользуясь тем, что в Гатчину командирован был, как я уже упомянул, значительный отряд столичной полиции, он стал лично наезжать сюда и давать указания.

Способный, энергичный человек был Баранов, с ним мне приходилось еще раньше встречаться, когда он заведовал Морским музеем. Воронцов тогда относился к нему очень дружелюбно, поддерживал его как изобретателя в области улучшения огнестрельного оружия; поддерживал и после, в тяжкое время подсудности Баранова за антидисциплинарные выступления по делу *«Вести»*. После опалы Николай Михайлович воспрянул благодаря гр. Лорис-Меликову, пригласившему его в состав своей «Чрезвычайной комиссии»[130]. По своим способностям, по присущей ему восточной властности, по смелости и богатству инициативы из Баранова мог выработаться выдающийся генерал-губернатор на одной из наших окраин; но в Петербурге, среди служебно-гостинных интриг и делишек, он разменивался на мелочи, причем выходило это у него как-то аляповато, не по рецептам столичной департаментской дипломатии. «Эх! — думалось мне, глядя в его красивые, не то лукавые, не то грустно-грустные черные глаза, — не за свое ты дело взялся; брось Петербург, просись на Кавказ или в Туркестан, да хотя бы и на Дальний Восток».

Он предпочитал греться подле солнца, вероятно, рассчитывал на крупный политический пост, на министерский портфель; в ожидании же широкого простора для своей деятельности он занялся придумыванием разных штучек вроде «комитета двадцати пяти баранов»[131], как назвали избранных им петербургских нотаблей, призванных спасать отечество[132].

В числе фигур, выкинутых Барановым в короткий срок управления градоначальством, нельзя не отметить и установление новой формы обмундирования петербургской полиции. Он знал склонность Александра III к русскому прокрою, быстро переодел полицию и сам вырядился в казакин, обшитый широким галуном. С победным видом налетал он в Гатчину, но здесь встречал невозмутимого, авторитетного гр. Воронцова,

перед которым пасовал, весь пыл испарялся. Он дождался того, что его сбросили с места, послали действительно на окраину, но не на юг, а на север, на скромную должность захолустного архангельского губернатора, что являлось понижением по сравнению со званием столичного градоначальника. Впоследствии его переместили в Нижний Новгород, где во время ярмарки и особенно в холерный год он стяжал себе большую популярность.

На особо автономных, не выясненных, однако, точно условиях в Гатчину прибыли: 1-й железнодорожный баталион под командою предприимчивого полковника Албертова; сводно-гвардейская рота из выборных офицеров и солдат гвардейского корпуса и шефских армейских полков под командой флигель-адъютанта, капитана л. — гв. егерского полка Богаевского; конвой его величества под командой флигель-адъютанта Ивашкина-Потапова и, наконец, выписанный экстренно из Варшавы дивизион кубанских казаков под командой полковника Есаулова. Железнодорожный баталион и сводная рота впоследствии развернулись в гвардейские полки и до революции 1917 года обслуживали царскую резиденцию.

В сводно-гвардейскую роту, скоро переименованную в баталион, а также в конвой устремилось много желающих туда попасть офицеров. Притягивало добавочное содержание от двора. Так как по искони установленной традиции всем лицам, находившимся при исполнении служебных обязанностей дворцового характера в резиденции государя вне Петербурга, полагался стол от двора, то возник вопрос, как быть с довольно многочисленным составом воинских частей, присланных для специально дворцовой охраны. Получено было распоряжение выдавать суточные штаб-офицерам по пяти рублей, обер-офицерам по четыре рубля, а нижним чинам по тридцати копеек. Железнодорожный баталион, расквартированный по линии железной дороги, оплачивался по особой, уменьшенной норме. Кроме суточных, все офицеры, находившиеся в карауле или на дежурстве, получали стол натурой. Комнаты в дворцовых домах всем были обеспечены. В начале 80-х годов подобное дополнительное содержание к обыкновенному офицерскому жалованию представлялось весьма заманчивым.

Полковник Албертов явился инициатором организации охраны царских поездов. Помню, когда мне случилось услышать предположение его о стягивании войск по линии дороги следования царя с таким расчетом, чтобы окараулена была фактически каждая сажень пути, то мне показалось это фарсом, но, к удивлению моему, албертовский проект был одобрен,

проведен в жизнь и осуществлялся вплоть до революции[133]. При каждой поездке царя требовалось большое напряжение целых военных округов для выполнения задачи охраны. От поры до времени от Петербурга протягивался сплошной войсковой кордон до Крыма и даже на Кавказ. На это время всякие учебно-строевые занятия прекращались, все внимание начальства было устремлено на рельсовый путь и на «литерный» поезд, в котором должен проследовать царь. Но длинная, на всю Россию протянутая цепь часовых не могла уберечь от бестолкового управления самим поездом. Катастрофа 17 октября 1888 года в Борках[134] показала, что главный враг не «политические злоумышленники», а затхлость, закоснелость внутренней организации, бесконтрольной, отжившей давно свое время.

Ко всем поименованным мною воинским командам надо еще прибавить небольшой отряд морских минеров под руководством лейтенанта Смирнова. На минерах лежала обязанность охранять дворец от подкопов, от покушений взорвать царскую семью. Смирнов оказался знающим электротехником; к нему обращались за указаниями по установке электрического освещения, чем интересовался Александр III и неоднократно выслушивал сам доклады лейтенанта. Смирнов привлек к себе еще большее царское внимание мастерскими фотографическими снимками. Его работы в сфере запечатления на фотографических пластинках интимной жизни царской семьи являются наиболее точными и весьма разнообразными.

Собравшиеся в Гатчине отдельные воинские части не были сгруппированы в одно целое, каждый маленький начальник стремился заявить о себе, все они стучались непосредственно к Воронцову, который довольно долго присматривался. Мне со стороны видно было, что благодаря своему остроумию, находчивости и расторопности на первый план выступает Ширинкин. Он не щадил красок для обрисовки смешного положения, в которое нередко ставили себя торопливые командиры, видевшие везде опасность. Ширинкин охотно брал на себя исполнение поручений, выходивших совершенно из рамок его специальности. Так, он проявил деятельное участие в оборудовании дворца электрическим освещением, а особенно телефонами. Эти новинки по тому времени очень занимали царскую семью, и Ширинкин сумел превосходно учесть положение. Понемногу все нити управления охраны сосредоточились в руках Ширинкина.

Тем временем мои экзамены в Военно-юридической академии благополучно закончились, и мы, окончившие курс по первому разряду, «за отличные успехи в науках», как сказано в приказе,

произведены в следующие чины. Незадолго перед окончанием курса, на Пасху 1881 года, по линии я попал в поручики, так что в этом чине пробыл не более двух месяцев и не обзавелся даже погонами с тремя звездочками, перешел непосредственно к четырем — штабс-капитанским. Всем офицерам, окончившим курс в разных академиях, назначено было представиться государю в Гатчинском дворце. Явился и я. Ширинкин при виде меня засуетился и, глядя на мои эполеты, тревожно спросил: «Разве вы штабс-капитан?» Я рассказал ему о своем быстром повышении.

Через дня два он поймал меня в кухонном каре и сообщил, что за мной была «слежка», так как в списке «политических» находился подпоручик Кривенко. Воронцову своевременно он докладывал, но тот отнесся к сообщению недоверчиво и взял, так сказать, меня на поруки. Мое производство в штабс-капитаны дало толчок к новому расследованию, которое выяснило, что «политическим» оказался мой однофамилец.

На месте Воронцова редко кто из начальников отнесся бы так выдержанно к сообщению, редко кто стал бы сразу и в полной мере на защиту своего подчиненного, хотя бы и близко ему известного. При этом нужно принять во внимание те чрезвычайные условия, при которых приходилось тогда действовать Воронцову, и ту ответственность, которую он брал на себя, оставляя «политического» в непосредственно близком соприкосновении с дворцовой жизнью.

Думаю, однако, что возможность политического расхождения со мной по некоторым вопросам тогда запала в голову графа. Подтверждение своей догадке я нахожу в том, что он, такой откровенный со мной по самым разнообразным делам, не постарался привлечь меня в состав *«Священной*[135] *дружины»,* которая народилась в этот именно период при его близком содействии и даже главенстве[136]. Меня он не только не приглашал в члены этого тайного общества, возникшего в целях охраны неприкосновенности царя, но никогда не обмолвился ни одним словом о его существовании. Секреты у нас хранить не умеют, и тайна быстро стала фикцией, да и трудно было скрыть участие в охране многих офицеров и статских представителей светского Петербурга.

Сколько я мог понять по участившимся визитам и усилившейся переписке, если не главную, то весьма заметную и активную роль в тайном обществе играл полковник гр. Шувалов, так называемый Боби Шувалов, адъютант великого князя Владимира Александровича. Маленького роста, пухленький, розовенький херувимчик своим жизнерадостным видом

нисколько не напоминал «Карбонария» — псевдоним, присвоенный им в переписке. Я его очень мало знал, но по отрывочным фразам, вырывавшимся от поры до времени у Воронцова после визитов гр. Шувалова в былое еще время, составил о нем понятие как о человеке двоящемся: тянуло его к светской жизни, к карьере, а наряду с этим другое течение уносило его в область немецкой философии, которую он настойчиво изучал, тянуло его к идеалам, ничего общего не имевшим с аксельбантами и вензелями.

Выделился тогда и поручик Кавалергардского полка А. М. Безобразов, при Николае II — статс-секретарь[137], значительное лицо в прискорбных дальневосточных операциях нашего правительства[138]. Среднего роста стройный офицер с характерно повисшими вниз по-хохлацки усами, он сразу располагал к себе особым радушием, остроумной беседой. Я с удовольствием с ним встречался, причем почти всегда характер наших разговоров носил шуточный характер. О *«Священной дружине»* ни он, ни я не упоминали ни слова.

Еще до назначения Воронцова министром к нему, как близкому человеку к новому императору, поступало много прошений «на высочайшее имя». Громадное большинство их пришлось передавать в былую Комиссию прошений, председателем которой тогда состоял член Государственного совета Сергей Алексеевич Долгорукий[139]. Насколько я мог составить о нем впечатление, это был сухой, неприветливый барин, совершенно не подходивший к должности, где отзывчивость, доступность, доброта должны были играть особое значение. Зато директор канцелярии, Александр Николаевич Пургольд отличался утонченною любезностью и предупредительностью. Каждую неделю мне приходилось посещать Комиссию прошений, наводить справки, передавать ходатайства графа за просителей. Пургольд встречал меня всегда с неизменно приятной улыбкой, очень охотно давал подробные объяснения. Я с юношескою горячностью указывал ему на бросавшуюся в глаза заскорузлость учреждения, которое при существовавшем тогда политическом строе могло бы до некоторой степени служить форточкой для вентилирования застоявшейся атмосферы.

Пургольд ласково выслушивал меня, не ужасался, не спорил, мило улыбаясь, хриповатым голосом он подбрасывал все новый и новый фактический материал, еще более укреплявший во мне убеждение о необходимости коренного изменения канцелярского порядка прошений. Самое помещение канцелярии и Комиссии, вся обстановка по своей мескинности[140] не соответствовала

представлению просителей о значительности этого органа царского покровительства угнетенным, оскорбленным. Мне думалось, что прошения должны рассматриваться во дворце, в присутствии просителя и притом в ближайшие дни после подачи прошения. К этому занятию, по моему мнению, следовало привлечь лично известных государю [лиц], например, флигель-адъютантов, и, в случае выяснения злоупотреблений властью, немедленно посылать их для расследования. Для выдачи пособий нуждающимся назначить, вместо обычной жалкой суммы, миллионные ассигнования.

Свои суждения по данному предмету я изложил в докладной записке, дал переписать ее прикомандированному ко мне для канцелярских работ чиновнику Семену Петровичу Линдену. На другое уже утро он принес мне мою записку, переписанную на толстой царской бумаге каллиграфическим почерком. Беседуя с ним, я вынес впечатление, что он увлекся моим проектом, просидел за полночь за перепиской, желая пустить дело скорее в ход. Такое отношение достойного служаки, прочитавшего за время своей службы по военным штабам стопы бумаг, меня окрылило, и я представил доклад гр. Воронцову-Дашкову, а он передал записку Александру III. Через несколько дней мой проект получен был обратно с резолюцией: «В принципе совершенно согласен на эти реформы. Надо разобрать подробности». Записку приказано было передать генерал-адъютанту Оттону Борисовичу Рихтеру, как лицу, которому предполагалось поручить ведение дела по рассмотрению прошений.

К моему удивлению и, признаюсь, к немалому огорчению, меня ни разу не пригласили в комиссию, обсуждавшую мой проект; не поинтересовались выслушать мои словесные объяснения, нарушив тем самым тот принцип, который я ставил в основу всего дела, а именно — изгнание канцеляризма, затяжного бумажного производства без общения с живыми действующими лицами житейских драм. Реформа была произведена, но чисто бюрократического характера. Переменились люди, но существо осталось старое, духа живого все-таки не было заметно.

Деятельность членов *«Священной дружины»* встревожила министра внутренних дел гр. Н. П. Игнатьева, боявшегося усиления влияния гр. Воронцова-Дашкова на дела вне дворцовой сферы. Игнатьеву, вероятно, не много стоило усилий доказать Александру III всю нелепость существования какой-то сверхтайной полиции. По приказу свыше организация *«Священной дружины»* быстро прекратила свое существование. Принудительная ликвидация добровольческой охраны, по мнению многих, должна была отразиться неблагоприятно на

карьере гр. Воронцова. Однако действительность не оправдала этих ожиданий.

Летом 1881 года Александр III с семьей ездил в Москву, а оттуда в Нижний Новгород и затем на пароходе вверх по Волге в Кострому и Ярославль. Обыкновенно во время путешествий Александра II его сопровождал министр двора гр. А. В. Адлерберг 2-й[141], он же и командующий Главной квартирой. Отсутствие его в свите Александра III являлось предвестником скорой отставки. Так это и случилось. 18 августа 1881 года Воронцов был назначен министром двора и уделов, а также канцлером орденов. Командующим же Главной квартирой — генерал-адъютант О. Б. Рихтер, командир 7-го армейского корпуса, а в былое время один из воспитателей покойного цесаревича Николая Александровича.

Накануне назначения гр. Воронцова-Дашкова министром к нему явился с докладом директор канцелярии министерства, тайный советник Андрей Николаевич Кирилин, небольшой, кругленький, лысенький старичок с багровыми отвисшими щечками, с маленькими насмешливыми глазами. В 60-х годах, в бытность свою делопроизводителем Военно-походной канцелярии императора, он познакомился во время «высочайших вояжей» с молодым тогда флигель-адъютантом графом Илларионом Ивановичем. Во время поездок люди сходятся быстро, под веселую руку граф выпил с бывалым, опытным чиновником на «ты», да с тех пор вряд ли вспоминал о нем, дороги их совершенно разошлись. Теперь невольно знакомство вновь возобновилось, и Воронцов встретил Кирилина как старый приятель, без намека о своем начальническом престиже. Андрею Николаевичу вряд ли приходилось жаловаться на бывшего министра, жилось ему недурно, если он и ощущал какой-либо служебный пресс, то никак не со стороны самого Адлерберга 2-го, а от давления бар. Кистера, являвшегося главной пружиной ведомства.

После доклада Кирилин вышел в приемную петергофской дачи нового министра (в доме проф. Эйхвальда) весьма довольный результатом своего доклада. Все его представления приняты. Отставка бар. Кистера подписана. Передавая портфель с бумагами приехавшему с ним секретарю канцелярии Василию Григорьевичу Пожарскому, директор канцелярии прерывал свои приказания хриповатым смешком. Приятно, весело, видимо, было старичку свалить засилие сослуживца. Указ об отставке Кистера он распорядился немедленно изготовить.

С уходом из министерства графа Александра Владимировича Адлерберга 2-го пресекалась, так сказать, адлерберговская министерская династия. Из всех министерских российских постов

самым стойким оказался дворцовый, поставленный в стороне от государственных, политических и экономических веяний. Со времени учреждения этого ведомства в 1826 году и до 26 февраля 1917 года всего насчитывается пять министров. В течение двадцати пяти лет, вплоть до 1852 года министерством правил фельдмаршал светл. кн. Волконский, бывший в царствование Александра I начальником Главного штаба, когда это учреждение являлось самостоятельным, не подчиненным военному министру. Со смертью фельдмаршала на пост министра призван граф Владимир Федорович Адлерберг 1-й, сын воспитательницы Николая I и товарищ его детских игр. Он, перед переходом на службу ко двору, недолгое время управлял существовавшим тогда Министерством почт. Должность министра двора Адлерберг 1-й, можно сказать, сам сложил с себя в 1870 году вследствие сильно ухудшившегося зрения. Впоследствии он совсем ослеп. Умер чуть не столетним стариком.

При оставлении должности министра графу Владимиру Федоровичу оказаны были большие материальные милости. Рассказывали, будто бы [Александр II], по докладе ему о блестящем состоянии финансов министерства, особенно благодарил за составление резервного капитала в шестьдесят миллионов. Адлерберг поспешил уточнить цифры, указав, что всего отложен 61 миллион; но император ответил, что 61-й составляет собственность его, графа Владимира Федоровича. Весьма возможно, что это приукрашенный пересказ того, каким образом с глазу на глаз свалился миллионный подарок в карман престарелого министра. Вместе с тем ему предложен был в дар [дом], в котором жил он и дети с семьями (Фонтанка, № 20), но граф решительно отказался от дорогого подарка. Продавать царский подарок было неудобно, а содержание на свой счет большого особняка требовало значительных ежегодных расходов. Гораздо было удобнее получать готовые квартиры, ремонт, отопление, освещение, швейцаров, дворников и даже смотрителя за счет двора, а за этим дело не стало, так как на министерском посту вместо отца вступил сын, и вся семья осталась по-прежнему на своих прежних квартирах.

Об Адлерберге 1-м в министерстве осталась память как о добросовестном, неустанном работнике, рачительном хозяине, в частной жизни очень скромном, весьма нетребовательном. Это подтверждала и небольшая лично им занимаемая квартира и далеко не роскошная обстановка. Старослуживые придворные помнили Адлерберга 1-го всегда затянутого в мундире, уверяли, будто он носил корсет, подкрашивался и румянился. В былые годы он не сторонился утех любви, но в преклонном возрасте

наводил красоту, конечно, не для прельщения женских сердец, а ради дворцовой представительности.

Наследовал на министерском посту Адлербергу 1-му сын его, Александр Владимирович Адлерберг 2-й, ровесник Александра II и с детских лет ближайший к нему человек, по отзывам лиц, знавших дворцовую жизнь — друг императора.

Александр Владимирович во многом являлся противоположностью своему отцу. Насколько первый был трудолюбив, пунктуален, подтянут, расчетлив, настолько второй — ленив, беспорядочен, распущен и расточителен. По общему признанию, он обладал большими способностями, быстро вникал в сущность дел, прекрасно владел пером. Нередко Александр II поручал ему составление писем для сношения с иностранными дворами не только семейного характера, но [и] имевших чисто политическое значение.

Про Адлерберга рассказывали, что он накоплял целые корзины нерассмотренных деловых бумаг, совершенно не интересовался своим министерством. Вся власть постепенно перешла к заведующему Контролем и в то же [время] директору театров бар. Кистеру.

Еще при первом Адлерберге из Ботанического сада, находившегося одно время в дворцовом ведомстве, переведен был на службу в кассу Министерства двора скромный тогда Карл Карлович Кистер. До реформы, проведенной гр. Воронцовым-Дашковым, в министерстве не существовало особого органа, ведавшего финансовым управлением, функции эти постепенно сосредоточились в Контроле, который, втянув в свою орбиту и кассу, обратился в хозяйственно-распорядительное, само себя контролирующее учреждение. Нецелесообразность такого положения не могла не отражаться вредно на деле, зато [оно] ставило в исключительное положение управляющего Контролем, и если он был властного характера, то для него открывались возможности держать все ведомство в своих руках. Точный, исполнительный Карл Карлович скоро выдвинулся на пост управляющего Контролем, но при первом Адлерберге, входившем непосредственно в дела, он сдерживался, расправил же свои крылья при втором Адлерберге, который рад был спихнуть с себя ежедневные скучные бумажные заботы.

Все устремления Кистера направлены были на экономию, на экономию во что бы то ни стало, на урезывание самых необходимых расходов, сокращение по всем статьям. В то время как не только на частной службе, но и в казенных учреждениях уже давно позабыли о старониколаевских окладах содержания, исчисляемых даже не в десятках, а всего в единицах рублей, в

дворцовом ведомстве допотопные штаты продолжали действовать. Придворная прислуга старалась наверстать нехватки жалованья на столовом довольствии и на операциях с выдаваемым им обмундированием. При посредстве обер-гофмаршалов, сначала гр. Шувалова, а потом Грота, Кистеру удалось провести и здесь всевозможные урезки. В былое время художественное строительство в России развивалось при широком покровительстве двора; при Кистере не могло быть и речи о новых сколько-нибудь значительных сооружениях, еле-еле ремонтировались дворцы. Пополнение Эрмитажа, да и вообще поощрение изящных искусств сведено было до жалких размеров.

Не укладывавшийся никогда в определенные ему рамки бюджет императорских театров, видимо, не давал покоя Кистеру, он добился того, что в 1875 году, сохраняя за собой должность управляющего контролем и кассою, назначен был и директором театров.

В прошлом скромный садовод добился чина действительного тайного советника, звания статс-секретаря, стал состоятельным человеком, но в то же время казенной скаредностью возбудил против себя громадное большинство служащих, а своей монопольно-торгашеской политикой в сфере театральной больно затронул художественные интересы широких общественных кругов. Не художественная сторона — сборы интересовали Кистера. Под давлением его скаредной экономической политики ворвалась на императорскую сцену оперетка, собиравшая публику, набивавшая театр битком, но низводившая государственную, образцовую сцену настелень торгового предприятия. Заслуженные, большие артисты принуждены были ради заработка выступать в ролях, им совершенно не соответствующих.

В руках директора театров было испытанное, могущественное средство поддержать сборы во что бы то ни стало — это возможность устранить всякую конкуренцию путем поддержания архаической монополии театральной дирекции на сценические представления в обеих столицах. Нетрудно представить себе, как этот запрет варварски сковывал развитие отечественного искусства.

Экономия «свечных огарков» приводила к тому, что такие выделяющиеся художники сцены, как В. В. Самойлов и контральто Лавровская покинули сцену в то время, когда еще долгое время могли служить лучшим ее украшением.

Кистеровский экономический гнет давал себя больно чувствовать во всех отраслях изящных искусств, но сам творец ее не гонялся за популярностью, его тешили цифровые подсчеты.

Комиссия, назначенная в 1882 году для обревизования театрального хозяйства, пришла к самым грустным выводам. В протоколе ее значится: «Декорации хранятся в бывших конюшнях петербургского Почтового двора или громоздят место за кулисами обоих московских театров и в Александрийском в Петербурге, в качестве наилучших растолок на случай пожара. Гардероб занимает место уборных в театрах, вследствие чего актерам приходится тесниться при 25° тепла, по три человека на квадратной сажени, а статистов Александрийского театра буквально одевают на лестницах актерского подъезда. Мастерские помещены в зданиях, вовсе для них не приспособленных; в небольшой комнате сидят иногда 40 человек портных при 20 газовых рожках около раскаленной печки для утюгов. Помещения для заготовки декораций также весьма неудобны, работа возможна только при газе; расположены они преимущественно на плафонах театров». Комиссия признала следующее: «Вся материальная часть театральной дирекции находится в самом печальном состоянии»[142].

На докладе об этой ревизии Александр III отметил: «Вот к чему привела знаменитая Кюстеровская экономия. Нечего делать, надо непременно привести все исподволь в приличный вид».

С уходом Адлерберга звезда Кистера моментально потухла, 19 августа 1881 года состоялся уже приказ о его увольнении в отставку. Он уехал за границу, где и поселился с семьей навсегда. В спину ушедшему посыпались камни. Недовольные бывшим властелином, надо полагать, перестарались, наделили Кистера всякими пороками. Распространилась молва о громадном состоянии, будто бы составленном им, конечно, не из сбережений от жалования… С точностью, однако, можно было сказать только о принадлежавшем ему доме на Театральной площади, где помещалась кондитерская Иванова. Кто не знает, как в то время деловому, оборотливому финансисту можно было с небольшими сравнительно средствами приобрести через кредитное общество недвижимое имущество, обремененное долгами. Кистер за свою сверхэкономическую политику получал усиленное вознаграждение за время управления контролем и кассою министерства, с 1859 по 1881 год. Из этих-то ежегодных щедрых наград у него за двадцать лет и мог составиться капитал не в одну сотню тысяч.

Говорили многое и об Адлерберге 2-м. Никто не порочил его указаниями на злоупотребления, мне, по крайней мере, не приходилось об этом слышать, но упорно утверждали, что он получал от Александра II баснословные суммы в пособие. Так, рассказывали, будто шеф жандармов, гр. Петр Андреевич

Шувалов, желая заручиться Адлербергом, недружелюбно к нему настроенным, устроил ему ссуду, безвозвратную, в восемьсот тысяч рублей из каких-то польских конфискованных сумм. Однако лица, близко знавшие семью бывшего министра, утверждали, что Александр Владимирович столь значительных сумм в подарок не получал.

При уходе из министерства Адлербергу 2-му оставлено было содержание, которое он получал, в размере 36 000 руб., квартира — дом № 20 на Фонтанке, придворный экипаж и прислуга. На содержание отпускалось ежегодно, если не ошибаюсь, 20000 руб. По городу пошел слух о том, что графу подарен дом и миллион рублей. Говоря об Адлерберге 1-м, я разъяснял невыгодность такого подарка при условии невыезда из занимаемого помещения, но в данном случае в действительности дом и не собирались дарить.

Позволю себе сделать маленькое отступление по поводу «домовой политики» уже в XX столетии. Одной близкой ко двору семье, не отличившейся никакими особыми заслугами, желали оказать [милость] путем приобретения дома по выгодной цене для продавца. Покупка состоялась, но министерство домом не могло воспользоваться, так как многочисленная семья не находила возможным подыскать себе квартиру и осталась жить бесплатно.

Миллионный подарок Адлербергу 1-му являлся исключением. Сколько мог я понять психологию высших распорядителей земных благ, наверху не склонны были делать подарки из казенного или дворцового сундука по примеру императриц XVIII столетия. Нет, денег разбрасывать нельзя; но другое дело оказать поддержку в виде ссуды, обращавшейся обыкновенно в безвозвратное пособие. Умелые люди, не стеснявшиеся особенно с моралью, случалось, достигали головокружительных экономических результатов, добивались шутя казенных ссуд на поддержание якобы заводов и фабрик или отстройку усадеб после пожаров. Известно, какие миллионы были заработаны первыми держателями концессий на постройку железных дорог, переуступавшими свои права фактическим строителям. Но давать деньги так, потому лишь, что заслуженный человек нуждается, считалось недопустимым. Вот если бы он свое наследственное имущество обременил непомерными долгами, тогда следовало бы помочь ему выпутаться из неприятного положения.

При Александре II разыгралась вакханалия концессий, раздача польских конфискованных имений в целях обрусения края и расхищение башкирских земель. Поживились многие и на кубанских землях, и на бакинских нефтеносных участках.

Александр III на все это наложил запрет, но жизнь постепенно пробила иные пути для получения, конечно, не столь жирных кусков, но все-таки значительной материальной поддержки для лиц, умевших просить за себя, хотя бы в виде ходатайств об «усиленных» ссудах под залог имений.

Что касается гр. А. В. Адлерберга, то без его личного участия в хлопотах для уплаты долгов ему [была] выдана в коронационный период субсидия в размере, кажется, двухсот тысяч рублей.

По поводу деятельности Кистера пустили молву, что скопидомный барон затянул и двор в концессионную авантюру. Это совершенно не отвечало действительности. Поводом к такого рода слухам могло послужить приобретение в портфель кассы министерства партии железнодорожных акций. Вообще о дворцовых капиталах составились своего рода мифы. На самом же деле от экономии на огарках свечей Кистер за десятки лет успел составить резервный фонд. Вот точные сведения оборотов всех капиталов в кассах Министерства двора к 1 января 1881 года.

1. По счету общих средств — 3 662 582 руб. 25,5 коп.
2. По счету специальных средств — 43 411 128 руб. 30,5 коп.
3. По счету депозитов — 17 652 585 руб. 23,75 коп.

Итого — 64 726 295 РУб. 79,75 коп.

Те же почти цифры зарегистрированы особой комиссией при приеме капиталов в августе 1881 года. Накоплено всего, следовательно, сорок три миллиона. Никаких миллионных сумм в *«Лондонском банке»,* о которых тогда говорили, не существовало.

Вот какой капитал остался после Александра II, но не в качестве личных его средств, а общеминистерских. Суммы же, полученные его детьми, составились из тех ежегодных отпусков на их содержание со дня рождения, которые им шли на основании *«Положения об Императорской фамилии».* Жили же они до совершеннолетия, а некоторые и много позже, на полном содержании Большого двора, что давало возможность постепенно составлять для великих князей значительные капиталы. Впрочем, наиболее счастливые в окончательном расчете получали не более четырех миллионов рублей.

При оценке дворцовой финансовой политики следует иметь в виду, что при неограниченной власти царя он мог потребовать из государственной казны также неограниченную сумму на содержание двора; но это не делалось, считалось недопустимым, неприличным. Отпуски на бюджет Министерства двора обуславливались различными историческими наслоениями, увеличения их избегали до последней возможности.

В 1881 году из казны на содержание царского двора и учреждений министерства получено *9* 154 000 руб. В 1884 [году] ассигнование поднялось до 10 560 000 руб. Эта сумма оставалась без перемены до кончины Александра III. В царствование Николая II бюджет за двадцать лет вырос до 17 миллионов [руб.].

Эти цифры показывают, что министерство при испрошении ежегодных ассигнований проявляло сдержанность и не злоупотребляло привилегированным положением, по которому бюджет его не подлежал рассмотрению Государственного совета (дореформенного), а одобренные государем предположения сообщались министру финансов для внесения в общую роспись доходов и расходов.

При бар. Кистере прибегали к неудобным уловкам для увеличения отпуска из казны. Пользовались тем, что на так называемые «высочайшие вояжи» в прежнее время отпускались особые дополнительные к бюджету суммы; при требовании оплаты дорожных расходов суммы закруглялись с избытком в пользу кассы министерства и Главной квартиры. Александр III не допускал специальных ассигнований на свои путешествия, требовал, чтобы они покрывались из сумм министерства. Такого порядка и держались.

2

Превращение в гражданского чиновника. П. Т. Китщын. Служебные отношения. Дворцовое хозяйство. Штаты. Продовольствие. Проекты реформ. Главное дворцовое управление. Э.Д. Нарышкин. Ингано. А. С. Василъковскш. Кн. П. М. Голицын. Кн. Вл. С. Оболенский-Нелединский-Мелецкий. Светл. кн. Вл. Дм. Голицын. Кн. Б. Ф. Голицын. В. Д. Мартынов. Гр. А. Чертков. К. К. Гернет. П. П.Дурново. П. А. Рихтер. Кн. Л. Д. Вяземский. П. К. Гудима-Левкович. Емельянов. Н. С. Петров. Кн. Друцкой-Любецкой. «Старый Кабинет». Н Н *Панов.*

Гр. Воронцов-Дашков пригласил меня на службу в Министерство двора. За пять лет секретарской работы я полюбил его, мне жалко было расставаться с ним, с симпатичным, благородным человеком. Я охотно согласился на сделанное предложение.

С раннего детства я рос в офицерско-солдатской среде, воспитывался в кадетском корпусе и военном училище, служил в полку, заканчивал образование в Военной академии; с военной сферой органически сросся. Когда в 1876 году, с уходом на год в отставку, мне впервые в жизни пришлось переменить военную форму на гражданский костюм, то на эту внешнюю метаморфозу я не обратил внимания, был твердо убежден, что вскоре вновь поступлю в полк. Через пять лет, в 1881 году, условия резко изменились, с переходом в Министерство двора порывалась навсегда моя связь с военной службой, я обращался в гражданского чиновника. Пять лет назад, надевая вместо каски с султаном мягкую шляпу, я смотрел на это переодевание как на своего рода маскарад; теперь же было не до шуток, приходилось на многие-многие годы обрядиться в форменный вицмундирный фрак.

Эти, казалось бы, детские мелочи меня тогда, признаюсь, печалили. С кислым, грустным лицом явился в первый раз к Воронцову в вицмундире. Он, помню хорошо, сочувствовал мне, но вместе с тем высказался с резкой определенностью о многочисленном тогда чисто российском институте «гражданских военных», о чиновниках со шпорами, т. е. офицерах, занимающих чисто гражданские должности. «Государь, — сказал он, — решительно против подобного ненормального порядка и требует не допускать изъятий».

Несмотря на столь определенное решение, жизнь все-таки заставила сделать исключение именно в дворцовом ведомстве

для двадцати трех сначала должностей, а потом последовали еще дополнения.

Со вступлением гр. Воронцова-Дашкова в должность министра двора я бессменно состоял при нем вплоть до его отставки в 1897 году. Сначала исполнял обязанности секретаря, а потом заведовал канцеляриею министра. Так как [в] старых штатах не было специальной должности секретаря министра, то меня зачислили на должность помощника юрисконсульта с откомандированием в распоряжение министра.

Юрисконсультом министерства состоял тайный советник Китицын, такую же должность занимал он одновременно и в Министерстве внутренних дел. Мне говорили о нем как об известном дельце, знатоке своего дела, работая с которым многому можно научиться. Я считал долгом представиться своему номинальному начальнику. Меня встретил, фактически, с распростертыми объятьями, старик маленького роста, с несоразмерно большой головой, сплошь бритым лицом, украшенным мясистым, бугорчатым носом, толстенький, на тонких коротких ножках. Внешность его напоминала карикатуры немецких иллюстраций.

Китицын рассказал мне, что он «сидел» в семидесяти комиссиях, управлял, за болезнью Кирилина, не раз канцелярией министерства, носит александровскую звезду и, если бы не зависть директора канцелярии, то к Пасхе должен был бы получить бриллианты. Сразу стало понятно, что он меня считает за близкого человека министру и на всякий случай спешит заручиться моей помощью. На другой день Павел Трофимович, так звали его, явился с ответным визитом. Возвратившись после доклада домой, я услышал какое-то странное завывание под аккомпанемент рояля; то Китицын, семидесятилетний почти старец, распевал романсы, стараясь занять мою больную жену.

За долгую служебную практику у Китицына сложилось убеждение, что в запутанных делах, а такие именно и выпадали на его юрисконсультскую долю, никогда не следует давать категорического, точно определенного ответа; нужно сказать так, чтобы в случае неуспеха можно было бы вывернуться, в крайнем случае, свалить вину на непонимание его заключения. В прошлом ему удавалось втирать очки, но Воронцов сразу же почувствовал уклончивость представителя закона в своем ведомстве; не понравились ему и низкопоклонность и медоточивость Павла Трофимовича. Деликатный, обходительный со всеми министр явно иронически стал относиться к расплывчатым, малосодержательным, фразистым докладам юрисконсульта. Китицын повесил нос, почувствовал, что песенка его спета. В

Министерстве внутренних дел акции его сильно пали, он должен был оставить там должность, а затем недолго удержался и в Министерстве двора, ушел в отставку. Судя по слухам, можно было предположить, что он прикопил себе «на черный день» значительный капитал, но, как мне пришлось в этом убедиться, Китицын, перейдя на пенсию, скоро стал сильно нуждаться. У старика оказались долги, на уплату которых приходилось отдавать 2/5 и без того небольшой пенсии. Александровский кавалер быстро опустился, обносился, из недавнего мышиного жеребчика обратился в жалкого просителя[143].

Первое время моей министерской службы отличалось особо кипучей деятельностью по реформированию учреждений и обновлению личного состава. Многое в ведомстве совершалось не без моего участия, но молва сильно преувеличивала мое влияние на министра. Гр. Воронцов охотно выслушивал меня, давал поручения, но, надо полагать, не забывал, что всего пять лет назад я начал с ним работать юным прапорщиком, причем на первых порах ему приходилось до некоторой степени быть моим учителем. Правда, за эти пять лет много было пережито; из безусого я обратился в отца семейства, окончил курс академии, много читал, старался не отстать от века.

Моя близость к графу не нравилась некоторым начальникам учреждений министерства, значительно старшим меня по возрасту, не говоря уже о положении их в свете. Не нравившиеся им резолюции министра на докладах они приписывали мне, «молокососу, не имеющему понятия о придворной жизни». Особое раздражение вызывали назначения на должности, занятые еще недавно одряхлевшими военными генералами или родовитыми гофмейстерами, шталмейстерами и егермейстерами. Вместо них появились сравнительно молодые офицеры не аристократических полков, и притом среди них немало было моих товарищей по академии, а также однополчан.

Кн. Мещерский обрадовался случаю лягнуть Воронцова, относившегося явно брезгливо к неопрятному издателю *«Гражданина»,* поместил заметку о засилии в «некотором ведомстве» имярек, причем во избежание формальных недоразумений в середину моей фамилии вклеил лишнюю букву.

Толки о моем влиянии на дела доходили до лиц, семейно близких к графу, очень их задевали, вооружали против меня. Слухи поднимались и дальше, до самых верхов. Воронцов мужественно выдерживал как домашний, так и «высочайший» натиск на меня, покручивал левою рукою ус и загадочно улыбался. Конечно, радости ни он, ни я от этой шумихи не

ощущали, но я, зная благородный характер министра, твердо был убежден, что он не позволит съесть меня.

С начальниками учреждений и вообще со служащим миром отношения мои скоро наладились, так как они убедились, что я не страдал манией величия, не подставлял никому ножку, старался смягчать служебные трения, охотно напоминал министру о просьбах и ходатайствах, а их всегда была целая куча.

Что же касается других лиц, о которых я упоминал выше, отношение их оставалось неизменно холодным, мне же не в чем было перед ними виниться, идти в Каноссу. Я совершенно отмежевал чисто служебную сферу от своей личной семейной жизни; не только не делал никаких попыток проникнуть в «высшие сферы» и в аристократический круг, но явно от них уклонялся. Постепенно к этому привыкли. Получилось такое положение, что начальник канцелярии министра двора был совершенно чужд придворной атмосфере. Достаточно сказать, [что] Александру III я представлялся всего лишь один раз, вместе с другими гражданскими чинами по поводу производства в действительные статские советники, а императрице — ни разу.

Меня тянуло в родную мне военную семью, тянуло в литературную среду, тянуло к художникам, к артистам. К сожалению, выполнение служебных обязанностей захлестывало меня, оставалось слишком мало времени для литературных работ, да при этом и выбор изданий, в которых я мог участвовать, был очень ограничен.

Воспоминания о служебных трениях, во всяком случае, не могут затушевать рыцарского, истинно благородного отношения министра, как ко мне, так и к другим сослуживцам. Я шел к нему с докладом, всегда твердо убежденный, что у него предвзятых мыслей нет, кумовства он не признает, к сильным мира сего не подлаживается. Успех или провал доклада зависел исключительно от существа дела, а не от посторонних влияний. Вмешательство в какое-либо ходатайство какой-либо особы могло скорее испортить дело, чем помочь благоприятному решению. В этом отношении Воронцов несколько подчеркивал свою самостоятельность по отношению к магнатам, а в особенности к старшим великим князьям. Прежде, в доминистерское, вернее, довоенное время приятельски расположенные к нему, [они] перешли во враждебный лагерь, но выбить министра из седла при Александре III не могли, не хватало сил.

В былое время великокняжеские дворы пользовались разными материальными добавками от Большого двора, пользовались добрососедскими одолжениями богатого помещика-барина к мелкопоместным. Понадобился лишний экипаж, не хватает

прислуги, мебели, цветов, посуды — посылали гонца в Зимний дворец и получали желаемое. Воронцов все это обрезал; великие князья гневались на него, но жаловаться Александру III не решались, боялись.

Сейчас вспоминается маленький эпизод. Во дворце великого князя Михаила Николаевича большой прием, не хватает стульев. Управлявший великокняжеским двором Муханов послал к заведовавшему Зимним дворцом полковнику Гернету; тот спрашивает по телефону министра. Ответ — «Не давать». Через час по телефону передают ту же просьбу от лица самого великого князя. Ответ: «Государь повелел без его личного ведома никому дворцовой мебели не выдавать. Угодно его высочеству, чтобы я доложил?» Слышится быстрый ответ: «Нет! Нет! Ничего, пожалуйста, не говорите».

Александр III не любил Царское Село, редко посещал тамошний дворец. Великий князь Владимир Александрович, ближе других членов императорской фамилии стоявший к царю, стал [занимать?][144] царскосельский Александровский дворец для игры в большом зале в теннис. Когда об этом узнал Александр Ш, то заведовавший царскосельскими дворцами полковник Ионов получил большой нагоняй. Игра в теннис круто оборвалась.

После Александра II касса министерства оказалась полной, зато дворцовое хозяйство обветшало, и весь служебный персонал оплачивался по-нищенски. Дворцы ремонтировались преступно небрежно в художественном отношении. В кассе накапливались рубли, а в это время нуждающиеся в куске хлеба низшие придворные служащие не гнушались попользоваться чем кто мог из бесценного дворцового инвентаря. Драгоценные коллекции сервизов от этого значительно пострадали: под видом битья посуды представляли в сервизные кладовые какие-либо черепки, а домой уносили художественный фарфор, который и сбывали скупщикам. Тяжелая старинная бронза заменялась оловянными подделками; обрезывались ковры и драпировки; заменяли мебель XVIII столетия рыночными изделиями.

Александр II не выказал особого влечения к покровительству искусствам, не имел склонности, подобно своим предшественникам, и к строительству. Безвкусие, аляповатость 50-60-70-х годов била в глаза. Именно в это время много старинной мебели было вынесено из Зимнего, Таврического и других дворцов как хлам в кладовые и даже в трюм Александрийского театра, где сгнило или попало на рынок. Вместо произведений мастеров-художников появилась, по распоряжению обер-гофмаршала гр. Шувалова, немецкая,

солидно-буржуазная обстановка из магазинов Гамбса и Тура.

В начале 80-х годов гр. Воронцов-Дашков пригласил Дмитрия Васильевича Григоровича, знатока objets d'arts[145], сделать опись внутреннего дворцового убранства. Со свойственной ему выразительностью писатель клеймил порядки, при которых допущено было кричащее безобразие: в некоторых даже парадных комнатах рядом с восхитительными вещами стояли рыночные поделки. Дворцовые богатства уплывали к старьевщикам и «антикварам». В 80-х и 90-х годах немало вещей, расхищенных из сервизных и камер-цалмейстерских кладовых, было найдено на Александровском рынке и приобретено обратно ко двору.

Для человека, не сроднившегося с детских лет с широкой барской жизнью, не говоря уже о царском размахе, казалось недопустимым держать тот огромный персонал, который обслуживал Большой двор. Для этой потребности существовали:

1. Придворная контора (в Петербурге) — 104 чиновника, свыше 800 человек прислуги.

2. Московская дворцовая контора — 80 чиновников и 180 человек прислуги.

3. Царскосельское дворцовое правление — 52 чиновника и 300 человек прислуги.

4. Петергофское дворцовое правление — 40 чиновников и 245 человек прислуги.

5. Гатчинское дворцовое правление — 30 чиновников и 175 — прислуги.

6. Придворно-конюшенная контора — 57 чиновников и 656 — кучеров, конюхов и других служителей при 697 лошадях.

Нужно ли было в действительности все это количество людей и лошадей для обслуживания двора? Подобные вопросы невольно возникали у меня, как, вероятно, и у многих других. Казалось, возможно было отмежевать личную жизнь царской семьи от национального парадного представительства и покровительства искусствам, отмежевать путем выделения узко придворного ведения от содержания больших дворцов, как исторически художественных сооружений, театров и других художественных учреждений. Большим приемам, казалось, следовало придать характер известного рода государственного акта: приема иностранных гостей и народных представителей. При такой программе многое можно было упорядочить по существу и попутно сократить расходы.

Но это могло казаться только таким, как я, не сросшимся с придворно-барскими традициями. В результате все сводилось к тому, что по случайно сложившимся «примерам прошлого» к царским приемам приглашался определенный небольшой круг

одних и тех же лиц; парадными завтраками и обедами угощали из года в год почти исключительно офицеров гвардейских частей.

В народе ходили слухи о недосягаемой роскоши царской жизни, а на самом деле царская семья, как это ни покажется странным, не пользовалась в некотором отношении тем комфортом, какой был доступен просто состоятельным людям. В массовом дворцовом хозяйстве невольно терялась, расплывалась исключительность личных потребностей. На обстановке чисто семейных царских помещений лежал отпечаток какой-то казенной сухости, трафаретности, отсутствия уюта и художественной домовитости.

В величавом Зимнем дворце, но совершенно не подходящем для частной жизни, Александр II, больной эмфиземой легких, страдал [от] амосовского отопления, от сухого нагретого сильно воздуха, от плохой вентиляции; в спальне его форточки плохо затворялись, по ночам комната выстывала. Александр III жил в Гатчине в низеньких антресольных помещениях, а в Петербурге — в Аничковском [дворце], крайне неудобном; здесь у императрицы не было особой ванной комнаты, приходилось, как передавали, ванную вносить в спальню. В Петергофе царская семья проводила [время] в маленьком сыром коттедже на даче «Александрии».

Придворные экипажи, лошади, упряжь по своим достоинствам уступали истинно любительским, спортсменским. Придворная кухня, кондитерская и булочная также не могли удовлетворять вкусам заправских gourmets[146].

Быть может, некоторым из читателей небезынтересно будет познакомиться со способами довольствия двора. В 1881 году продолжало действовать «положение», выработанное еще в 1857 году обер-гофмаршалом гр. Шуваловым. Кухня сдавалась метрдотелям (обыкновенно иностранцам), в их распоряжение бесплатно предоставлялись: помещение, дрова, освещение, посуда, повара, кондитеры и всякого рода работники. Провизию метрдотели приобретали за свой счет, а оплату получали поперсонно: за завтраки для членов императорской семьи (взрослых), а также для иностранных принцев и принцесс — по 1 руб. 50 коп. с персоны, за обед — 4 Руб. 65 коп., за ужин — 3 Руб. 20 коп. Для малолетних великих князей и княжон — завтрак 1 руб. 20 коп., обед — 3 Руб., ужин — 2 руб.

Лица, получавшие довольствие от двора, были разделены на пять разрядов, с уплатой за персону за завтрак, обед и ужин вместе: 1-го разряда — 4 Руб. 05 коп., 2-го — 2 руб. 85 коп., 3-го — *2* руб. 45 коп., 4-го — 1 руб. 10 коп., 5-го — 85 коп.; с прибавкой же отпусков по тафельдеккерской, кофешенкской, мундшенкской и кондитерской стоимость ежедневного

довольствия по разрядам возвышалась в общем до *7* руб. 88 коп., 5 руб. 33 коп., 3 руб. 50 коп., 1 руб. 77 коп., 85 коп. [соответственно]. Служители, не вошедшие в разряды, получали порционные от 27 до 50 коп. в день.

В 1882 году введены были некоторые изменения собственно для царской семьи. Завтрак обыкновенный на четыре персоны из четырех блюд — 12 руб., за каждую лишнюю «персону» приплачивалось по 3 руб.; обед обыкновенный на четыре персоны из пяти блюд (за всех) — 16 руб., за каждую лишнюю персону — по 4 руб.; за ужин обыкновенный из одного блюда на четыре и менее особ за каждую по 1 руб. 50 коп., свыше четырех особ за каждую по 1 руб.; за ужин, состоящих из трех обыкновенных блюд с персоны по 3 руб.; сандвичи за штуку [по] 5 коп. Завтраки, обеды и ужины «экстра» — по особому соглашению с заведующим кухней.

В «положении о довольствии» предвидены были разные мелочи: гарнир, из чего бы он ни состоял, хотя был бы подан отдельно, считается за одно блюдо с главным продуктом; приплата полагалась лишь за трюфели. За обед, отказанный до 12 часов дня, ничего не уплачивалось, до 4-х часов дня — половина стоимости, а после 4-х часов — полностью. За отказанный завтрак не уплачивалось лишь в случае отказа накануне. Если ее величество завтракала отдельно от его величества, но в одном дворце, то стоимость завтрака не менялась. Однако если в состав завтрака входили блюда, которые два раза подать невозможно, то уплачивалась полуторная цена, т. е. 18 руб., но тогда залипших персон, до 8 лиц, особой платы уже не производилось.

Во время путешествий и на охоте уплачивалось с персоны за завтрак по *4* руб., за обед по 5 руб. и за ужин по 3 руб. «при гарантии за десять персон». Для несовершеннолетних тогда великих князей Николая и Георгия Александровичей — завтрак и обед на четыре персоны, с платою за первый по 3 руб. (с каждой персоны) и за второй по 4 руб., а за каждую приглашенную сверх того особу по 2 руб. за завтрак и по 3 руб. за обед. Для малолетних тогда Михаила Александровича и Ксении Александровны завтрак и обед — по 5 руб.

Для лиц, пользовавшихся столом от двора: 1-й разряд — завтрак 2 руб., обед 3 руб., 2-й — [соответственно] 1 руб. и 2 руб., 3-й — 75 коп. и 1 руб. 25 коп., 4-й — 40 коп. и40 КОП., 5-Й — 25 КОП. И 25 коп.

Сверх уплаты за персону заведовавший кухней получал на покрытие своих расходов по временному вздорожанию цен, по доставке провизии, а также на покупку «сит, решет, метел, деревянной посуды» и непредвиденные расходы по 50 руб. в

сутки.

В 1885 году был сделан опыт отмены платы «по персонам». Все продукты для кухни стали приобретать непосредственно за счет двора в количестве, действительно необходимом для фактического довольствия. Несмотря на усиленные старания генерала К. К. Гернета (начальника Главного дворцового управления) организовать при этой системе правильный контроль хранения и распределения продуктов, результаты в экономическом отношении получились неудовлетворительные. Личный интерес у камер-фурьера если [и] не отпал, то направился в другую сторону — соглашения с подрядчиками, а повара и работники стали смотреть на провизию как на доставшуюся на их долю добычу. Пришлось теоретикам-экономистам признать себя побежденными жизненной практикой и вернуться к поварской антрепризе, к оплате по персонам.

Для иллюстрации материального положения служащих привожу краткую выборку из штатов, действовавших еще в 1881 году.

По Придворной конторе	*Содержание в год, руб.*	*Класс должности*
Президент, обер-гофмаршал	3717	II
Вице-президент, гофмаршал	3145	III
4 советника, каждый по	1430	V
4 начальника отделения, каждый по	715	VIII
Секретарь при президенте	572	IX
12 столоначальников, каждый по	572	IX
12 помощников столоначальника, по	343	XII
Старший бухгалтер	856	VIII
3 бухгалтера, по	572	IX
Казначей	572	VIII
Помощник казначея	286	XII
14 канцелярских служителей 1-го разряда	215	XII
18 канцелярских чиновников 2-го разряда	115 и 34 прибавки	XIV
Старший архитектор	715	VIII
2 архитектора, по	572	IX
Смотритель сервизной кладовой	486	VIII
Смотритель вин и питий	343	IX
Смотритель ливрейной	343	IX
7 метрдотелей, по	715	неклассная
12 мундшенков, по	258	неклассная
6 кухмейстеров, по	201	неклассная
7 скатерников, по	201	неклассная
4 бротмейстера, по	201	неклассная
4 пекаря, по	201	неклассная
24 повара, по	144	неклассная
Хлебники, по	116	неклассная
37 учеников, по	116	неклассная
Работники, по	116	неклассная
Смотритель по камер-цалмейстерской части (комнатная обстановка)	486	VIII
8 камер-казаков, по	258	неклассная
5 скороходов, по	258	неклассная

4 старших араба, по	258	неклассная
4 младших араба, по	201	неклассная
83 лакея, по	201	неклассная
90 истопников, по	116	неклассная
8 фельдшеров и парикмахеров, по	116	неклассная
24 ламповщика, по	116	неклассная
4 фельдшерских и парикмахерских ученика, по	86	неклассная
При комнатах императора: 5 камердинеров, по	1144	неклассная
Старший камердинерский помощник	258	неклассная
2 младших камердинерских помощника, по	201	неклассная
3 истопника, по	144	неклассная
Придворно-конюшенная контора		
Президент, обер-шталмейстер	3717	II
Вице-президент, шталмейстер	3145	III
Советник	1340	V
Секретари (столоначальники)	715	VIII
Берейторы старшие	572	VIII
Берейторы младшие	515	IX
Лейб-рейткнехт	258	неклассная
Лейб-кучер	258	неклассная
Рейткнехты, по	144	неклассная
Нарядчики, по	201	неклассная
Лейб-форейтор	201	неклассная
Конюхи, по	116	неклассная

В штатах обращает внимание на себя помпезность некоторых должностей, которым были присвоены классы: второй, соответствующий министрам и членам Государственного совета, третий — сенаторам. Даже управляющие великокняжескими дворами и шталмейстеры этих же дворов числились в третьем классе. Ничтожность окладов бьет в глаза. Такие ответственные служащие, на руках и, фактически, в распоряжении которых находилось драгоценное имущество на многие десятки миллионов рублей, оплачивались до смешного ничтожными окладами. Смотритель сервизной кладовой, смотритель вин и питий, смотритель ливрейной, смотритель камер-цалмейстерской части получали всего от 343 ДО 486 руб. в год. Людей как бы наталкивали на злоупотребления.

Гр. Воронцов-Дашков решительно принялся за пересоздание устаревших штатов, причем упразднен был, как совершенно отживший, институт «придворное служительское сословие», состоявшее поголовно как бы на государственной службе. Начиная с 1882 года придворнослужители набирались по вольному найму. Количество как чиновников, так и

придворнослужителей по новым штатам было заметно сокращено, но, тем не менее, представляло в общем итоге значительный корпус, обслуживавший будто бы царскую семью, а на самом деле в огромном большинстве никакого отношения к ней не имевший.

Присматриваясь к дворцовым распорядкам, нельзя было не заметить разрозненности, беспорядочности в самом строительстве ведомства. Обнаруживалось ясное отсутствие объединения, руководящего направления для ведения однородных дел, распыленных по разным управлениям. Чисто дворцовое хозяйство распределялось на ряд отдельных самостоятельных ведомств: Придворная контора, Московская дворцовая контора, Царскосельское, Петергофское и Гатчинское дворцовые правления, Конюшенная и Егермейстерская конторы, причем две последние, сами по себе в общей конструкции государства ничтожные крупицы, пользуясь традициями и тем, что во главе стояли большие бары, обособились в особое ведомство. Кроме того, крымские, киевский и некоторые другие дворцы находились в управлении Департамента уделов. Каждое управление работало на свой образец, не считаясь с общими потребностями, как самодовлеющая величина. То, что у одних было в излишке, другим не хватало.

Не только начальники (президенты) управлений или их заместители, но нередко и представители маленьких ответвлений шли непосредственно к министру за указаниями, шли с докладами по разнообразным мелочным делам. Министру нужно было ехать в заседание Комитета министров или в Государственный совет, а в этот момент является квартирмейстер Ларионов и просит указания, куда поместить «имеющую прибыть в Гатчину высочайшую особу». Пока совещаются по этому [делу], смотришь, поезд соответствующий в Петербург пропущен, а вместе с тем и министр не попал в заседание.

На моей обязанности, среди других дел, лежало ознакомление министра с содержанием докладов по высшим государственным учреждениям, и меня всегда неприятно задевало, что дворцовые мелочи перетягивали его внимание, удерживали от посещения Комитета министров и Государственного совета. Мне сдавалось, что министр должен отпихнуться от мелочей, централизовать все чисто дворцовое хозяйство в одном главном управлении. Такого рода структурой можно было намного сократить не в меру разросшийся конторско-правленский механизм с президентами, вице-президентами, советниками и целой гирляндой отдельных канцелярских управлений.

В министерстве состояло два центральных управления, ведавших земельными имуществами: Кабинет его величества и Департамент уделов. В управлении первого находились огромные земельные площади в Сибири. Туда стали направляться переселенцы, необходимо было пойти навстречу этому стихийному течению, дабы оно вошло в русло. Надо было торопиться подготовить участки, приступить к межеванию, к устройству лесного хозяйства. В Кабинете же, как в Петербурге, так и в местных управлениях на Алтае и в Нерчинске, земельный вопрос тогда казался несущественным, все упования направлены были на горные промыслы, падавшие, однако, с каждым годом все более и более. В то же время [в] Департаменте уделов сгруппированы были специалисты сельского хозяйства, выдающиеся лесничие, опытные межевые работники. По моему мнению, существование в одном министерстве двух центральных управлений по управлению землями было нецелесообразно, расточительно. И тут, в этой области напрашивалось второе объединение, в виде организации общего управления кабинетскими и удельными землями впредь до передачи их в общий государственный земельный фонд.

Я считал главной, чисто государственной задачей Министерства двора покровительство искусствам; сюда должны были склоняться весы. Хотелось поднять учреждение на высоту ведомства des beaux arts[147].

Своими соображениями я не раз делился с министром и всегда встречал сочувствие с его стороны. Он поручил мне составить проект реформы на основании указанных мною принципов. Однако гр. Воронцов-Дашков не находил возможным сразу же произвести полную перестройку министерства. Он считал более практичным двигаться этапами, наметив в первую голову объединение чисто дворцовых учреждений петербургского района, включая сюда Царское Село, Петергоф и Гатчину. Относительно концентрации земельного управления он соглашался с желательностью проведения в жизнь такой организации, но предвидел тот шум, который поднимут великие князья, заинтересованные в обособленности Департамента уделов. Министр находил более осторожным сначала ограничиться лишь расширением компетенции Контроля министерства и на уделы, имевшие свой обособленный контрольный орган. Вообще, удельное управление фактически связано было [с Министерством двора] лишь личной унией в лице министра и упорно отстаивало свою автономность.

В области покровительства искусствам гр. Воронцов вполне соглашался со мною.

Быстро составлен был мною проект, работал с молодым увлечением. Мне тогда казалось, что написанное мною близко-близко к осуществлению. Увы, не так-то скоро дела делаются; приказы и указы еще не предопределяют успешного завершения реформы.

По существовавшим тогда правилам изменения в штатах и разных положениях, касавшихся исключительно Министерства двора, не проходили через Государственный совет, а непосредственно докладывались министром государю и, по получении одобрения, выражавшегося обыкновенно сокращенным знаком «С-н» (согласен), препровождались министру юстиции для опубликования. При дворцовых реформах начала 80-х годов, ввиду того, что они вводились временно, для опыта, решено было, до выяснения результатов, воздержаться от опубликования.

Проект, составленный мною, одобрен был министром и не встретил возражений у Александра III. Учрежден был Совет министра, организовано Главное дворцовое управление, контроль был отмежеван от кассы и хозяйственных функций, но компетенция его распространена на все учреждения министерства, не исключая и Департамента уделов.

По новому положению все фиктивные коллегии с президентами, советниками и многолюдными конторами и «правлениями» упразднялись, дворцовое чисто хозяйство объединялось во вновь организованном Главном дворцовом управлении; сюда должны были войти дела не только по содержанию дворцов, но и по конюшенной части и придворной охоте; причем для непосредственного заведования как этими двумя частями, так и дворцовыми городами (Царское Село, Петергоф, Гатчина) оставлены были небольшие управления. Вместе с тем, раскрепощены были два художественные учреждения — Эрмитаж и Придворная капелла. По укладу седой старины, они до этого времени входили в ведение Придворной конторы, ведавшей царской кухней и дворцами. Они были выделены в самостоятельные два управления.

Организовать Главное дворцовое управление довелось вновь назначенному обер-гофмаршалу, престарелому почтенному сановнику Эммануилу Дмитриевичу Нарышкину, сыну известной приятельницы АлександраI Старик был родственником гр. Воронцову-Дашкову и в далеком прошлом его опекун и попечитель. Благообразный, с красивым породистым профилем, согбенный годами обер-гофмаршал горел желанием работать, пытался вникнуть во все детали хозяйства, но сил у него не хватало. Он в царствование АлександраII одно время был гофмаршалом, видимо, сроднился со старой организацией

управления, вряд ли поэтому особенно сочувствовал моим планам централизации, хотя не возражал, не мешал, держался корректно.

Подле него всегда юлил и неумолчно тараторил по-французски с заметным итальянским произношением камер-фурьер по хозяйственной части Ингано. Небольшого роста, черный как жук, с длинными бакенбардами и бритыми усами, кругленький, в синем вице-фраке итальянец подкарауливал Нарышкина, старался не оставлять его одного, и на правах не то прислуги, не то знатного иностранца не признавал для себя закрытых дверей. Ингано когда-то служил метрдотелем у гр. Воронцова-Дашкова и обошелся ему дорого, затем, переходя от одного вельможи к другому, [добрался] до Аничковского дворца ко двору наследника и здесь сумел укрепиться. Со вступлением на престол Александра III он перешел к Большому двору, где быстро акклиматизировался, постиг все уловки придворнослужителей и познал все возможности благополучия, открывавшиеся для сметливого, находчивого камер-фурьера по хозяйственной части с не ограниченными точно обязанностями и правами. Он не справлялся, уполномочен ли на такую-то выдачу или на такой-то заказ, а действовал, свершал. В случае запроса слышалось его авторитетное, смело-решительное объяснение необходимости поступить именно так, как сделал он. Ингано забегал со своими докладами не только к Нарышкину и Воронцову, но и в царские комнаты. Ходили слухи, что камер-фурьер стал зашибать большие деньги не только на кухонных доходах, но и на разного рода суточных, порционных, свечных и других выдачах из имевшегося у него аванса для удовлетворения, так сказать, неотложных запросов дня. Разные мелкие чины, командированные в Гатчину или Петергоф от военного, морского, почтово-телеграфного и других ведомств, а также и придворнослужители строили свое временное благополучие на добавочных придворных суточных. Более проворные, не стеснявшиеся, шли на поклон к Ингано, который снисходил к просьбам, устраивал им денежные отпуски по своему усмотрению. Наиболее предприимчивые получали порционные и деньгами, и натурой, смотря по благоволению Ингано. Он ловил Нарышкина и легко получал утверждения своих распоряжений. У нас, у русских, легко накладывают клеймо казнокрадов на людей, стоящих близко к хозяйственным операциям. Зная эту национальную повадку, я с особой осторожностью отношусь к подобным слухам. Мне сдавалось, что Ингано руководило не корыстолюбие, а жажда власти. Он наслаждался возможностью оказывать покровительство офицерам, чиновникам; горделиво, с

высоко поднятой характерной головой, этот не вполне удавшийся Рюи Блаз скользил по дворцовому паркету, величаво принимал низкие поклоны придворнослужителей, казаков, фельдъегерей и как свой человек входил к министру, появлялся перед царем. Сколько я мог понять честолюбивого итальянца, все это его тешило, но далеко не удовлетворяло; по некоторым намекам можно было думать, что у него роятся планы о расширении поля своей деятельности, связанной пока лакейским, в сущности, официальным его положением. Его подрезала хроническая болезнь, он должен был покинуть службу и вскоре умер.

Ближайшим помощником обер-гофмаршала являлся гофмаршал. С назначением Нарышкина обер-гофмаршалом вместо сенатора Альфреда Федоровича Грота, временно оставался на посту гофмаршала кн. Иван Михайлович Голицын и до образования Главного дворцового управления председательствовал в Придворной конторе. Представительный, породистый барич, по внешности напоминавший англичанина, он своей крупной, стройной фигурой, костюмом, манерой ходить выделялся заметно среди придворных, нельзя было не обратить внимание на него. По службе держался князь неприступно. Увы, в частной жизни ему пришлось снимать маску величия, дела лично-имущественные удручали, князя «описывали», подавали жалобы на него министру. Вероятно, это обстоятельство помешало ему, такому яркому придворному, выдвинуться после Грота на пост обер-гофмаршала, хотя он, видимо, сохранил хорошее к себе отношение царской семьи, получил назначение «состоять при императрице», быть ее официальным «кавалером», как говорилось тогда.

На пост гофмаршала был предназначен один из любимейших адъютантов императора кн. Владимир Сергеевич Оболенский-Нелединский-Мелецкий, женатый на гр. Апраксиной, бывшей свитской фрейлине[148] Марии Федоровны, сохранившей приятельские отношения с императрицей.

С учреждением Главного дворцового управления на гофмаршала возлагалась, главным образом, работа по надзору за всем ходом хозяйственной и показной парадной жизни во дворце — резиденции императора. Он должен был там дневать и ночевать, быть всегда начеку для получения приказаний и немедленного их осуществления. Весь же механизм существа хозяйственных операций сосредотачивался в Главном дворцовом управлении, непосредственным начальником которого, помощником обер-гофмаршала, назначен был генерал Антон Степанович Васильковский. Он прежде заведовал хозяйством двора наследника и вел дела, по общему отзыву, превосходно.

Бывший измайловский офицер, простой, совсем не светский кавалер, скромный, далекий от придворных сфер и видимо сторонившийся их, деловитый, но к этому времени уже с сильно подорванным здоровьем, он усиленно отказывался от новой должности, на которой нужно было проявить недюжинную энергию, настойчивость, твердую волю, чтобы сдержать центробежные силы составных частей дворцового хозяйства. Но Александр III пожелал видеть именно его во главе Главного дворцового управления, и Васильковский, скрепя сердце, согласился, принял должность.

Я с тревогой смотрел на свою реформаторскую постройку. Надо было ждать противодействия со стороны присоединенных. Президент Конюшенной конторы, древний старик света, кн. Владимир Дмитриевич Голицын, командовавший в 50-х годах конной гвардией, когда Воронцов еще был юнкером, сам просился на покой, противодействия от него нельзя было ожидать. Пассивно относился к реформе президент и другой конторы — Егермейстерской — кн. Борис Федорович Голицын. Но новые управляющие придворно-конюшенной частью и Придворной охотой, флигель-адъютант Валериан Дмитриевич Мартынов и егермейстер Григорий Александрович [Чертков] видимо смотрели в сторону от Главного дворцового управления, не хотели подчиняться ни Нарышкину, ни Васильковскому. Мартынов был властолюбив, а Чертков видимо боялся уронить значение вверенной ему должности и в данном случае невольно шел на поводу у первого. Начальники дворцовых правлений в дворцовых городах не могли относиться с симпатией к реформе, так как с проведением ее в жизнь и сильным сокращением штатов им приходилось уходить в отставку.

Мартынов и Чертков, выбиваясь из постромок Главного дворцового управления, невольно объединялись на одной платформе, по натуре же были совершенно различные люди. Первый — тучный, но еще довольно смазливый казак, хитрый, ловкий, находчивый, крайне резкий, а подчас и жестокий к подчиненным, властолюбивый и склонный, как говорили, к ремонтерски-коммерческим приемам. Он приветствовал упразднение Придворно-конюшенной конторы и отстранение обер-шталмейстера от управления, но решительно не хотел видеть над собою начальство и контроль нового учреждения. Мартынов собирался самостоятельно расправить крылья. Чертков — небольшого роста, весьма тощий, с маленькой лысевшей головкой, на желтом, болезненном лице выделялся большой нос-клюв и горели прекрасные, одухотворенные черные глаза; при этом он обладал подкупающим тембром голоса, так у него все

выходило задушевно, искренне. Чертков, симпатичный, но не деловитый человек, находился под влиянием ближайших своих подчиненных, которым мало улыбалась перспектива потери самостоятельности хозяйственного управления придворной охоты. Они, зная хорошо Григория Александровича, сумели затронуть в нем чувствительную струну — боязнь уронить достоинство своего официального положения.

В заседаниях комиссии по приведению в исполнение новой организации Мартынов и Чертков воинственно выступали, Нарышкин затыкал себе уши, Васильковский отмалчивался, вернее, отмахивался демонстративно рукой. В результате оба сепаратиста добились своего, фактически отложились от Главного дворцового управления.

Нарышкин и Васильковский вскоре оставили Главное дворцовое управление, первый совсем покинул министерство, а второй упросил отпустить его к исполнению прежних обязанностей — заведовать Аничковским дворцом и конторой детей императора. Антон Степанович занимал эту должность до самой смерти своей. Мне помнится, как Воронцов, беседуя с Нарышкиным о наградах чиновников к Пасхе, заметил: «Был бы хорош желудок, так немудрено дослужиться и до Андрея Первозванного». Не знаю, каков в действительности был желудок Эммануила Дмитриевича, вероятно, недурен, так как он умер почти девяностолетним старцем. Номинально только числясь на службе, он продолжал в определенные сроки получать очередные звезды и на смертном одре удостоен был и Андреем Первозванным.

Чертков недолго управлял Придворной охотой, здоровье его ухудшилось, и на его месте появилась симпатичная фигура кн. Барятинского по прозванию «Бако». Большого роста, лысый, с окладисто-длинной рыжей бородой, с приветливым лицом и добрым словом в разговоре, князь располагал к себе с первого же раза. Служащие Придворной охоты чувствовали себя как за каменной стеной, в дела же он мало входил, предоставляя всю распорядительную часть ловчему. Появился и пролетел метеором в сфере хозяйства придворной охоты А. М. Безобразов, бывший кавалергард. Он стремился установить новые порядки, но встретил затруднения, ему наскучило скоро, и он ушел. Впоследствии, в конце 90-х годов, звезда его ярко загорелась на Дальнем Востоке.

Мартынов управлял придворно-конюшенной частью десять лет. При дворе его не любили, подчиненные дрожали. Он по-казачьи отбивался от нападений и, наконец, стал сенатором. По Петербургу тогда ходило bon mot[149]: «Каким образом Мартынов

попал в Сенат? Очень естественно, ведь там — кони…»[150]

После Васильковского начальником Главного дворцового управления назначен был Константин Карлович Гернет, заведовавший до этого времени Зимним дворцом и зарекомендовавший себя толковым, распорядительным хозяином. Кн. В. С. Оболенский, пользовавшийся особым расположением государя, совместил, фактически, в лице своем должности и обер-гофмаршала, и гофмаршала, так как заместивший Нарышкина кн. Трубецкой играл роль лишь на дворцовых выходах и приемах.

Вместо старых генералов, управлявших дворцовыми городами, появились сравнительно молодые люди, исключая генерала Арапова, назначенного в Петергоф. Укрепившись на своих должностях, почувствовав под своими ногами почву, они стали от поры до времени предпринимать вылазки, не особенно шумливые, правда, против подчинения Главному дворцовому управлению. Эти выступления по существу были крайне неосновательны, их легко можно было парировать, но им помогло одно привходящее обстоятельство. Вероятно, кому-то (cherchez la femme[151]) было неприятно возвеличение кн. Оболенского, оказавшегося во главе дворцового хозяйства; вот почему, мне думается, домогательство самостоятельности местных заведующих дворцами и городами увенчались успехом в 1891 году.

Здание, задуманное мною, рассыпалось, вместо органа, централизующего дворцовое хозяйство, осталась одна голая гофмаршальская часть. Сюда из Гатчинского дворцового управления был призван достойнейший человек, прекрасный хозяин Милий Милиевич Аничков, мой однополчанин; а К. К. Гернет перешел на его место управлять Гатчиной.

Что касается Контроля, то самостоятельность его с отмежеванием от чисто хозяйственно-распорядительных функций удалось провести в жизнь, но раздвинуть компетенцию на уделы не пришлось. Переговоры с председателем Департамента уделов, старым, известным профессором философии права Редкиным шли удовлетворительно, с ним сговориться можно было, но он вскоре умер. За ним последовал в могилу и вновь назначенный гр. Шувалов, не успевший и осмотреться в новом для него учреждении. Затем уделы перешли в управление генерала П. П. Дурново, совершенно не склонного к ограничениям автономности своего ведомства. Дурново чрезвычайно быстро выскочил совсем еще молодым полковником на губернаторский пост в Харькове, откуда перешел на ту же должность в Москву. Здесь нашумел на всю Россию отстаиванием своих губернаторских прерогатив в столкновении с московским городским головой. Бывший

кавалергард, а потом офицер Генерального штаба, богач, зять влиятельной статс-дамы кн. Кочубей, приятель гр. Воронцова и ко всему этому деловой, умеющий работать человек, он держался самостоятельно и не желал допускать над собою контрольного органа за исключением, конечно, самого министра; но мог ли тот лично контролировать операции большого учреждения?!

Дурново недолго задержался. Несмотря на свое громадное состояние, он стремился все к новым приобретениям. На этом пути Петр Павлович вошел в состав правления вновь возникавшего огромного предприятия. Александр III весьма неприязненно смотрел на совместительство государственной службы с частной предприимчивостью коммерческого характера; на этот предмет изданы были руководящие указания, причем по отношению к лицам, занимающим сколько-нибудь значительные должности, ограничение совместительства было особо строгое; в частности, в Министерстве двора запрет был положен для всех служащих без исключения. Впрочем, как и всегда у нас это замечалось, исключение все-таки было сделано в пользу управлявшего княжеством Ловичским маркиза Велепольского; ему было разрешено оставаться в составе правления Варшавской-Венской, кажется, железной дороги[152].

Петру Павловичу Дурново предложили на выбор или отказаться от совместительства, или покинуть пост, он обиделся и немедленно попросил увольнения от должности. Его место занял статс-секретарь Петр Александрович Рихтер, бывший член Совета Департамента уделов. Он выделился своей распорядительностью в бытность еще управляющим Самарской удельной конторой. Во время голода в 1873 году он, состоя во главе местного управления Красного Креста, обратил на себя внимание своей энергичной, незаурядной деятельностью. Работал он в Красном Кресте и во время кампании 1877–1878 годов. Когда начались приготовления к коронации 1883 года[153], то по протекции А. Н. Кирилина, заведующим делами Коронационной комиссии назначен был его свояк, тихий, скромный действительный статский советник Игнатьев. Он мямлил, дело не клеилось, а коронационные торжества все приближались ближе и ближе. Надо было переменить темп. Игнатьев внезапно скончался. Тут-то вспомнили об энергии Рихтера и призвали [его] в Коронационную комиссию. Петр Александрович стал командовать, и в конце торжеств пожалован был званием статс-секретаря его величества, что его ставило в ряды вельмож.

Наружность Рихтера далеко не располагала в его пользу. Природа наградила его жестоким лицом при общей внушительной фигуре. Свою свирепую внешность он старался

скрасить приветливостью, милыми словами, но иногда, случалось, прорывался, бичевал правого и виноватого. Его личность выяснилась ярко в интимном деле, сделавшемся гласным. Рихтер, сколько я понимаю, проявил истинную жестокость к близкой ему женщине, лишив ее насильственно детей. Надо полагать, что эта печальная история послужила поводом к оставлению должности.

На должность управляющим уделов призван был астраханский губернатор кн. Леонид Дмитриевич Вяземский и одновременно почти помощником его назначен генерал Павел Константинович Гудима-Левкович. Князь во время командования Воронцовым гусарами был полковой адъютант и пользовался особым его расположением. Красивый, молодой еще генерал, богатый, светский, хорошо образованный, смелый, находчивый, он имел большой успех в столице, где он долго почти не показывался, но с течением времени многие стали смотреть на него косо. Заносчивость, взбалмошность, безжалостность к слабым князя порою сказывались в таких неприятных формах, что сгладить впечатление нельзя было.

Ни Рихтер, ни кн. Вяземский ни на какие ограничения автономности уделов не соглашались. Так это учреждение и оставалось до последнего времени со своим обособленным казначейством и с собственным контролем, подчиненным контролируемому лицу. При кн. Вяземском департамент, по инициативе Гудима-Левковича, преобразован в главное управление, вместо членов совета явились два помощника начальника главного управления. Конструкция, напоминавшая военную. В удельных делах несдержанность Вяземского значительно умерялась влиянием Гудима-Левковича, к которому князь питал почтение, как к профессору Военной академии и авторитету в Генеральном штабе.

Справедливость требует отметить, что управление уделами могло гордиться подбором состава служащих. С давних лет, со времени Перовского здесь установились вполне корректные порядки, персонал обладал культурным цензом и оплачен был вполне удовлетворительно.

Попытка моя объединить дуалистическое министерство, спаять его воедино в целях экономии и более производительной совместной работы потерпела крушение.

При описании первых своих шагов в министерстве я упоминал о директоре канцелярии А. Н. Кирилине. Первое время, пока министр не освоился с ходом дел, он имел некоторое значение в качестве министерского старожила, усвоившего себе разные дворцовые порядки, сложившиеся по одному рецепту: «по

примеру прежних лет». Андрея Николаевича нисколько не тянуло к преобразованиям, он держался за старое, ворчал на новаторов вроде меня. Министр относился к нему дружелюбно, однако никаких сколько-нибудь важных поручений ему не давал, ограничив деятельность канцелярии чисто инспекторскими, сухими функциями «прохождения службы по ведомству». Влияния на дела Кирилин не имел. Мои устремления к постановке контроля в соответствующее положение повлекли за собой образование особой комиссии для выработки положения о контроле. [В нее] вошли: генерал Васильковский, главный контролер Емельянов, заведующий кассой Фролов, директор канцелярии, я и приглашенный в качестве специалиста-консультанта, по выбору Михаила Николаевича Островского, директор одного из департаментов Государственного контроля тайный советник Николай Степанович Петров.

Емельянов — в прошлом офицер, окончивший курс Артиллерийской академии, — служил в министерстве, не поладил с бар. Кистером и ушел из ведомства. Воронцов, по рекомендации Кирилина, пригласил его вновь на службу. Это был деловой, живой, отзывчивый человек, далекий от бюрократических замашек. Все это, казалось, говорило в пользу того, что он сойдется с гр. Воронцовым, но на деле выходило не то. Видимо, тут была какая-нибудь, мне неведомая, инспирация, вероятно, сообщение невыгодных для Емельянова данных о его прежней деятельности. Несмотря на отсутствие делового разногласия, министр недоверчиво относился к нему. О причине своего нерасположения он умалчивал и ждал только появления подходящего кандидата, чтобы проститься с Емельяновым.

Во время заседаний комиссии министр внимательно прислушивался к выступлениям Петрова. Он ему понравился и вскоре стал главным контролером министерства. Постепенно значение Николая Степановича стало усиливаться; как-то незаметно, без особых распоряжений, к нему стали устремляться дела со всего ведомства, как это практиковалось при Кистере. А. Н. Кирилин очутился совсем в тени и запросился на покой; его не удерживали, назначили состоящим при министре и оставили все получавшееся им содержание: жалованье 6 тыс. руб., разных добавочных еще 10 слишком тысяч и казенную квартиру. Старик желал, чтобы за ним обеспечили бесплатную ложу вместо кресла, которое он имел, как директор канцелярии, во всех императорских театрах. Не помню, как официально разрешился этот вопрос, но фактически он пользовался этой льготой, если заблаговременно предупреждал дирекцию театров.

Временным заместителем Кирилина явился его помощник,

вице-директор канцелярии действительный статский советник Юргенс, скромный, почтенный работник. Ему недолго пришлось управлять канцелярией, вскоре он умер и вместо тихого, незаметного чиновника появился шумливый, вертлявый, шаровидный кубарь-волчок кн. Друцкой-Любецкой. Он сотрудничал Петру Александровичу Рихтеру в Коронационной комиссии, не раз появлялся вместе с ним у министра, и тогда его зычный с хрипом голос разносился по всем примыкающим к кабинету комнатам. Меня крайне удивило это неожиданное, видимо, кем-то навязанное, назначение человека, совершенно чуждого канцелярской сфере, склонного по природе к распорядительно-антрепренерской частной деятельности. Однако долго удивляться не приходилось, князю скоро надоела канцелярия, не нравилась скромная роль, которую пришлось ему выполнять. Как неожиданно появился он за директорским столом, так же внезапно и скрылся с канцелярского горизонта. Старый регистратор Фельдт, переживший многих начальников, не успел освоиться даже с почерком князя, не успел отложить в свой сборник хотя бы один «черновичок» Друцкого-Любецкого. Фельдт не стеснялся в выражениях: похлестывая себя по ляшкам, он громко ворчал, посылал ко всем чертям непосед-начальников. Старик, занимая ничтожную по классу должность, сумел дослужиться, в качестве «причисленного», до чина действительного статского советника и Станиславской звезды. Казенной перепиской жил и ею наслаждался. Помимо форменного канцелярского журнала входящих и исходящих бумаг, в течение сорока лет вел из любви к искусству, для собственного употребления, свой собственный, более полный журнал, который и перечитывал, как поэтическое произведение. В результате у Фельдта накопилась своего рода интересная домашняя канцелярская библиотека, в которой и мне доводилось делать справки.

В то время как канцелярия министерства все хирела и хирела, погружалась в летаргию, выходил на линию Николай Степанович Петров. Для его деятельности открывалось более обширное поприще, чем в контроле, открылись двери в «Кабинет».

При вступлении Воронцова в должность министра в управлении старинным учреждением, «Кабинетом его величества», находились Алтайский и Нерчинский горные округа. Кроме того, на обязанности Кабинета лежало заготовление драгоценных подарков от двора, в том числе и бриллиантовых украшений на ордена. Здесь же хранились и меха пушных зверей, получавшихся от восточносибирских туземцев в виде ясака.

Во главе Кабинета стоял главноуправляющий — он же и министр двора; для непосредственного же руководства делами предназначен был совет из трех членов Кабинета. Я застал на этих должностях горного инженера Соколовского, тайного советника Каменева и действительного статского советника Островского. Хотя Корпус горных инженеров из военного учреждения уже передан был в гражданское, и служащие переименованы в соответствующие гражданские же чины, но Соколовскому, так же, как и директору Горного института Кокшарову, оставлены были военно-генеральский чин и горная форма. Это был древний, тучный старик; его обвиняли в замашках дореформенного способа хозяйствования в горных округах. Воронцов сильно был предубежден против Соколовского и этого не скрывал. Старик, казалось, равнодушно взирал на творившееся вокруг. «Думайте и говорите обо мне, что хотите, устал я жить», — нечто подобное можно было прочесть на лице этого бывшего когда-то известным горного деятеля. Каменев, франтовый, моложавый тайный советник, заведовал заготовлением подарков, фарфоровым и стеклянным заводами. Он, по-видимому, мало интересовался службой в Кабинете. Болезненный, истощенный Островский считался усердным, трудолюбивейшим чиновником. На его обязанности лежали дела по оказанию пособий различным учреждениям и отдельным лицам, хозяйственная часть собственно центрального управления Кабинета и содержание Роты дворцовых гренадер; все дела мелочные, но он считал необходимым со всеми подробностями докладывать их министру. Все три члена Кабинета приезжали с докладом к министру вместе, в четырехместной карете, с курьером на козлах подле кучера.

В то время принято было среди старших чинов министерства приезжать с докладом непременно в карете, в интересах парада и гарантии от потери по дороге портфеля и разных приложений к докладам. Даже юрисконсульт Китицын подкатывал к подъезду графского дома в карете, правда, обшарпанной и запряженной тощими одрами. Я полагал, что это собственные его лошади, так [как] и экипаж, и лошади были каждый его приезд одни и те же, но, проходя как-то по Баскову переулку, где жил Китицын, среди экипажей, стоявших у извощичьих «колод», мне представился во всей красе и китицынский выезд.

Упомянутые три члена недолго задержались при Воронцове. Сначала умер Островский, затем ушел Соколовский, перешел куда-то и Каменев. Назначен был генерал-адъютант Ребиндер управляющим Кабинетом, а помощниками его — статс-секретарь Государственного совета Аракин и действительный статский

советник Свенске. На Аракина возлагали большие надежды; он приступил к разработке земельного вопроса на Алтае, но не успел двинуть дело значительно вперед, его назначили товарищем министра внутренних дел (?)[154] уже больным.

Умер Аракин, умер Ребиндер. «Старый Кабинет», как его называли, оказался бесхозяйным учреждением; но в министерстве, среди начальников отдельных частей находился человек, который не мог равнодушно относиться к судьбам края, близкого ему по рождению, детству, юности и молодости. Николай Степанович Петров искренно интересовался судьбами Нерчинского и Алтайского горных округов, вероятно, не раз беседовал о них с министром. От бесед перешли и к письменному изложению. Составлен был [проект] преобразования «Кабинета его величества» в административно-хозяйственный орган для всего министерства. По его проекту канцелярия министерства входила в Кабинет под наименованием Административного отдела, все финансовые операции ведомства сосредотачивались в Хозяйственном отделе, управление Алтайским и Нерчинским горными округами — в Земельно-заводском отделе, заготовление подарков — в Камеральном отделении. Кроме того, Петров предполагал включить в состав Кабинета канцелярию Капитула орденов.

Министр согласился на проведение проекта Петрова, причем для доклада государю взял его с собою в Гатчину.

Высокий, чуть-чуть сутулый, с чисто русским лицом, с длинными рыжими седеющими волосами, откинутыми назад, с такой же обильной бородой, в вицмундире от дешевого портного, в простецких выростковых сапогах, в черной шинели с пелериной и фуражке с красным околышем, Петров мало походил на придворного кавалера. Он был сибирский уроженец и в Сибири же, после очень недолгой школьной выучки, начал службу зеленым юношей. Благодаря своим редким способностям Петров быстро выделился и начал свое поступательное движение вверх. Татариновская реформа контроля[155], куда рекомендовал бывший его начальник Деспот-Зенович, дала ему возможность показать свою чрезвычайную трудоспособность, сообразительность и настойчивость, притом настойчивость деликатную, дипломатичную.

В разговоре и в докладах Петрова звучало что-то симпатичное, успокаивающее; возникающие, казалось, недоразумения как-то расплывались, улетучивались. Слушая его, невольно возникало и крепло убеждение, что именно он все уладит, все устроит к общему удовольствию. На Александра III доклад Петрова, думается, должно быть, произвел подобное

впечатление. Он сразу же ему понравился, понравился со всеми своими антисветскими особенностями. Из Гатчины Николай Степанович вернулся управляющим Кабинетом.

Проект был принят, но полностью не прошел; случилась задержка с канцелярией Капитула орденов. Назначенный недавно на эту должность вместо умершего старика Тюрберта Николай Николаевич Панов запротестовал. Панов, когда-то артиллерийский офицер, в молодости покинувший военную службу для общественной деятельности, долгое время был мировым судьей в Петербурге. При учреждении Главного дворцового управления генерал Васильковский пригласил его на должность управляющего канцелярией управления. Он же, Васильковский, вероятно, рекомендовал Панова и в Капитул орденов, причем назначение прошло при содействии Петрова, который немало был обязан Васильковскому, ибо именно он первый указал на него как на кандидата в главные контролеры.

Панов закинулся. Он искренне проникся величием Капитула императорских и царских орденов, значением канцлера, «особы i-го класса», не мог себе представить возможности втиснуть такое помпезное учреждение в Кабинет его величества, в уровень с другими отделами. Он стоял за самостоятельность. Убежденность Панова подействовала на министра-канцлера, Петров понял, что нелюбезно возражать и тем как бы подрывать престиж канцлера. Панов сиял, а Николай Степанович и виду не подал, что в данном случае нанесен удар по чиновничьему самолюбию. Отношения с Пановым у него установились вполне дружеские.

Петров был назначен управляющим Кабинетом его величества. Приходилось расставаться с любимым контрольным делом; но он не потерял с ним связь. Заведующим контролем оказался Василий Иванович Мерцалов, бывший томский губернатор, приготовленный Николаем Степановичем про запас. Он был давний, по контролю и Сибири, знакомый и приятель Петрова; им же рекомендован на службу в Министерство двора. Мерцалов считал себя обязанным Петрову и всецело находился под его обаянием. Заведующий Контролем считался самостоятельным начальником, имел свой докладной день у министра, но перед тем докладывал Николаю Степановичу и руководствовался bona fide[156] его указаниями.

Петров получил в свое распоряжение для размещения учреждений Кабинета, Контроля и кассы министерства флигель Аничковского дворца, выходящий на угол Невского и Фонтанки. Здание это построено знаменитым зодчим Гваренги, особенно дорожившим им, гордившимся грандиозной колоннадой в виде въезда в дворцовый двор с Фонтанки. К сожалению, со стороны

главного корпуса въезд закрыли, отчего ансамбль сильно пострадал; да, кроме того, колонны окрасили масляной краской, что придало им мещанский вид. Нижний этаж здания предназначен был в старое время под торговые склады и со стороны Невского выходил открытыми аркадами, подобно Гостиному двору. Николай Степанович смело принялся за переделку произведения Гваренги; аркады были забраны, образовался светлый длинный коридор, к которому примыкали помещения контроля и кассы. Перестройку и переделку он старался произвести с экономией, находил время наблюдать даже за сушкой новых стен, сам подкладывал дрова во «времянки». Для украшения здания Николай Степанович заказал портреты в натуральную величину всех императоров и императриц. Портреты обошлись очень дешево, но зато и работа была низкопробная, исполнила заказ какая-то неизвестная художница. При многих своих достоинствах Петров был лишен чутья к изяществу, что ему не мешало заниматься усердно делами, имевшими тесную связь с изящными искусствами.

Я близко сошелся с Николаем Степановичем, признавал за ним, как выделявшимся, честным, благородным чиновником-тружеником большие заслуги. Это не мешало не соглашаться с ним в его реформаторской деятельности — и никогда я не мог заметить со стороны его какого-либо некорректного маневра.

Положение Петрова с каждым годом все более и более усиливалось; он ездил, в отсутствие министра, с докладом к государю, и когда некоторые из придворных чинов по этому поводу стали громко посмеиваться, то Николай Степанович демонстративно получил вензель статс-секретаря его величества. Впереди его ждал пост государственного контролера. Но судьбе угодно было распорядиться иначе. Сильный организм кряжистого сибиряка не вынес многолетней напряженной мозговой работы, дал трещину. Спокойный, выдержанный Николай Степанович начал чудить. Воронцов приметил этот тревожный симптом, спросил меня, не обратил ли я внимание на странные выходки Петрова. Но вскоре вопросы были излишни. Петров лишился способности говорить. С течением времени он оправился, но речь его была несколько затруднена, точно он боялся, что вот-вот запнется. Тяжко было видеть человека, совершенно здорового по виду и, тем не менее, выбитого из строя, тяжко было с ним беседовать, чувствуя, что он силится затушевать дефект своего языка и оттого волнуется, страдает.

Конечно, Николаю Степановичу пришлось оставить пост управляющего Кабинетом. Он был назначен членом Государственного совета, где и числился до своей смерти более

двадцати лет.

На его место назначен был Павел Константинович Гудима-Левкович, бывший до этого времени помощником начальника Главного управления уделов. Гр. Воронцов близко знал Гудиму по совместной службе в штабе Гвардейского корпуса, почитал его как знающего, вдумчивого офицера Генерального штаба и любил как человека долга и чести. Гудим долгое время занимал в Академии Генерального штаба профессорскую кафедру, в военном мире известен был своими трудами. Слабое здоровье побудило его не отказываться от предложения перейти на службу в уделы, покинув должность помощника начальника штаба Петербургского военного округа. Первый шаг на пути гражданской службы был сделан, хотя и не без колебаний; второй, переход в Кабинет, совершился уже без труда и, надо полагать, не без удовольствия, так как назначение представлялось заметным в иерархическом отношении повышением и устраивало материально.

С назначением нового управляющего Кабинетом возник вопрос, кто будет замещать министра в случае его отсутствия. То, что так легко предоставлено было Петрову, человеку совершенно чуждому двору и придворному миру, то вдруг оказалось неподходящим для генерала, лично давно и хорошо известного государю, преподавателю в течение нескольких лет наследнику престола, лицу, популярному среди военного мира. Заговорили об учреждении должности товарища министра двора и называли уже кандидата — генерала Скалона, управлявшего двором великого князя Владимира Александровича. Воронцов хорошо относился к Скалону, но так как кандидат был великокняжеский, то он выставил своего — шталмейстера, генерал-лейтенанта бар. Владимира Борисовича Фредерикса, заменившего Мартынова в управлении придворно-конюшенной частью. Александр III согласился на представление Воронцова, но при этом пожелал, чтобы именовался Фредерике не «товарищем», а «помощником» министра двора.

3

Ослабление реформаторской деятельности. Алтайский край. В. К. Болдырев. Личная канцелярия министра. В. Г. Пожарский. Н. Д. Дюбрейль-Эшаппарр. С. П. Линден. Придворная газетная хроника. Путешествие на Кавказ. Возвращение через Севастополь. Борки. Записка о земских начальниках. Тяга офицеров на службу в Министерство двора. М. М. Аничков. И. В. Рожалин. С. И. Сперанский. В. А. Плец. К. У. Арапов. Гриневич. П. М. Иванов.

Период ведомственной реформы, перегруппировки учреждений, сокращения и упразднения постепенно затих. За десять лет новое стало старым; оклады содержания, присвоенные служащим по штатам начала 80-х годов, оклады, казавшиеся по сравнению с прежними такими заманчивыми, уже не удовлетворяли большинство; ходатайства о прибавках заметно усилились. За это же время молодые начальники подросли, бывшие капитаны и полковники обратились в генералов, перешли в разряд «особ». Запросы на материальное благополучие и на пределы своей власти незаметно, мало-помалу также выросли. Все это выявлялось в разных представлениях, памятных записках, устных докладах министру. Под сукно он их не прятал, старался выяснить действительное положение и найти способы для исправления недочетов. В бытность Петрова у руля министерства Совет министра бездействовал, комиссий для рассмотрения назревавших вопросов не созывали, делалось все главным образом по представлениям Николая Степановича, для которого, казалось, и вопросов никаких не возникало. Мне приходилось по этому [поводу] говорить и с министром, и с Петровым.

Граф Илларион Иванович с годами охладел к реформаторской деятельности по министерству, его захватывало более и более сельское хозяйство. В своем тамбовском имении Новотомниково он проводил чуть не полгода, прилежно занимался проведением в жизнь культурных приемов обработки земли, расширял лесные насаждения, устраивал ирригационные приспособления. Интересовало Воронцова неослабно коннозаводство. Он непосредственно вел дело своего знаменитого новотомниковского конного завода и входил в детали управления и всего государственного коннозаводства. Страсть спортсмена, понятно, спортсмена культурного, не остывала в нем, а бурлила, как у юноши. Истые спортсмены и поддельные, в особенности последние, знали эту слабость графа и не прочь были воспользоваться ею в своих интересах. В

приемной министра ежедневно появлялись лица, которых резкий на язык статс-секретарь Рихтер именовал «кобылятниками». Они добивались приема у Воронцова как главноуправляющего государственным коннозаводством, заставляли иногда подолгу ждать приехавших с очередным докладом начальников учреждений министерства. Отрывало от систематической работы и состояние здоровья графа; он частенько стал прихварывать, испытывая мучительные острые приступы подагры.

При Гудиме-Левковиче уже не заметно было все направляющей руки из «Кабинета». Он далек был от желаний властвовать в министерстве, проникнут до щепетильности строгим соблюдением компетенции каждого из учреждений. Совет министра стал собираться довольно часто, и наряду с ним появились разные комиссии, в том числе и о сокращении численного состава служащих и увеличении содержания остающимся. Последний сюжет является вечным, с давних пор и поныне никогда не разрешимым вопросом всех ведомств и организаций.

Павел Константинович Гудима-Левкович — благородный человек и большой труженик. Для успеха в административной его деятельности ему не хватало решительности в действиях, он всегда сомневался, колебался, отмеривал по десяти раз и все-таки боялся отрезать, боялся совершить незакономерный акт; в конце концов, случалось, что какой-либо из юрких приближенных незаметным, ловким движением подталкивал руку, и ножницы попадали не на отмеченное место. Тогда уже Гудима стойко упирался, проявлял истинно хохлацкое упрямство в отстаивании свершившегося.

Гудима, как и следовало, обратил свое внимание главным образом на устройство земельного хозяйства в сибирских кабинетских округах. Николай Степанович, как сибиряк старого закала, не придавал особого значения землеустройству, все благополучие он видел в добыче золота и серебра. Нерчинский край еще поддерживал на деле былую свою славу, но Алтай, несмотря на дорого стоившие опыты с усовершенствованным способом добычи серебра, в горном отношении представлял собою незначительную величину. Правда, там открыты были громадные залежи каменного угля, но для успеха эксплуатации его необходимо было проложение железной дороги. Как это ни странно покажется, Петров, безусловно разумный человек и две трети своей жизни проведший в Сибири, глубоко убежден был, что постройка Великого Сибирского пути — экономический пуф, так как возить нечего будет.

Ему, однако, пришлось заняться в самые последние годы

своего управления Кабинетом и землеустройством, так как прилив переселенцев на Алтай принимал стихийный характер. Под давлением Воронцова пришлось откликнуться на запрос и принять наспех кое-какие меры. На Алтай был приглашен новый начальник округа полковник Василий Ксенофонтович Болдырев, мой товарищ по Военно-юридической академии, образованный, прогрессивно мысливший, честный работник.

Павел Константинович отправился лично на осмотр горных округов. Железная дорога еще не была открыта, он поехал морем во Владивосток, а оттуда уже в Нерчинск и на Алтай. Результатом поездки и переговоров на месте явилось решение организовать широко добычу золота в Нерчинске и предпринять в государственном масштабе землеустройство переселенцев в Алтайском округе. В последнем работа закипела под наблюдением кипевшего энергией Болдырева. Он быстро освоился с краем, полюбил его, относился к Алтаю даже восторженно. По общим отзывам, Василий Ксенофонтович пришелся по сердцу сибирякам, оценившим его простоту, доступность, отзывчивость, правдивость, корректное отношение к делам имущественного характера, старания, в силе своих средств, [к] содействию культурному подъему огромной области. Он стал популярным начальником округа.

Земельно-заводское дело налаживалось в Кабинете. В Хозяйственный отдел, ведавший финансами министерства, Гудима переманил из уделов весьма толкового и знающего сослуживца, Венедикта Савельича Федорова. Он быстро освоился с делами, оказался действительно незаменимым помощником Павла Константиновича. С заведующим же Административным отделом, инспекторской частью министерства, с Анатолием Викторовичем Половцовым у Гудимы возникали нередко недоразумения. Половцов увлекался историей искусств, часто парил в небесах, вследствие чего порою получались некоторые канцелярские недочеты в его отделе. Гудима же из своей штабной службы вынес некоторое преувеличенное представление о значении форм и разных чисто писарских условностей. Помню хорошо, как уравновешенный, милый Павел Константинович пришел в раж, получив на даче в Царском Селе деловую телеграмму от Половцова с коротким адресом: «Дворец. Гудиму-Левковичу».

Я давно знал Павла Константиновича, был с ним на «ты», состоял в самых дружеских отношениях, но иногда не узнавал, не понимал его некоторых выступлений. На короткое время наступали заморозки, но после первого же объяснения прежние отношения вновь налаживались.

К сожалению, здоровье Гудимы, надорванное уже давно, все более и более расстраивалось, что не могло не отражаться на ходе дел; но министр и слышать не хотел об уходе его на покой[157].

Вместе с реформой Кабинета и упразднением канцелярии министерства организована была личная канцелярия министра, которая фактически, без особого штата, уже работала с первых дней назначения Воронцова министром. Канцелярия министра находилась в моем управлении, причем именовался я сначала старшим секретарем, а потом заведующим с уравнением в правах с другими начальниками отдельных частей ведомства. Канцелярия по количеству лиц была незначительная, но через нее, так или иначе, проходили доклады к министру и распоряжения от него. При небольшом количестве чиновников развить большую переписку и при желании нельзя было, я же всем существом был против разных «препроводительных записок» и тому подобных бюрократических отписок, делопроизводство упрощено было до возможного предела. Министр поддерживал мой поход против канцеляризма, но некоторые из старослуживых не могли помириться с такого рода забвением департаментско-канцелярских вековых навыков. Они неприязненно покачивали головой, брюзжали, смущали порой своим нытьем и Воронцова.

Писали чиновники мало, но зато им приходилось, что называется, висеть на телефоне, передавая и принимая распоряжения и сообщения.

Ближайшими помощниками моими были сначала Василий Григорьевич Пожарский, а потом Николай Диегович Дюбрейль-Эшаппарр. Первый был рекомендован Кирилиным как опытный секретарь канцелярии министерства, с юных лет засевший за переписку бумаг, выработавший себе отличный почерк, усвоивший официальный слог бумаг и все детали канцелярских форм. Небольшой, лет под сорок, скромный, аккуратный чиновник с хорошо выбритым подбородком, с длинными волосами, гладко зачесанными назад для прикрытия небольшой лысины; всегда в вицмундире, с утра на нем виднелся белый узенький галстук, черного на службе он не признавал.

Бывшее его начальство главным образом ценило в нем выдающегося каллиграфа, он не переписывал, а рисовал «всеподданнейшие» доклады. Весьма возможно, что это искусство и задержало движение вверх по иерархической лестнице почтенного, толкового Василия Григорьевича; начальству жаль было расставаться с таким художником гусиного пера, внешность доклада имела прежде такое громадное значение, покорного чиновника и придерживали, не давали ходу. Правда, образование Пожарский получил скудное, но одарен был здравым смыслом,

работник из него вышел вполне толковый.

Искусство каллиграфа давало ему возможность постороннего заработка вне канцелярии министерства, он состоял преподавателем чистописания в нескольких учебных заведениях, да, кроме того, издал прописи, пользовавшиеся большим успехом.

Гр. Воронцов, работая над ворохом бумаг, доставлявшихся к нему ежедневно, постоянно требовал справки о «примерах прежних лет». Василий Григорьевич являлся живой справочной книжкой и потому почти безотлучно находился при министре все время, как тот рассматривал бумаги. Приложив палец к верхней губе, дабы нечаянно не свистнуть в отверстие выпавшего зуба, он тихим голосом, но убежденным тоном доводил до сведения, какая резолюция положена была прежде в аналогичном случае. Пожарский ловким движением руки, вооруженной кусочком клякс-папир, осушал чернила министерской подписи, убирал законченный доклад и подсовывал новый.

Постоянное общение с министром как будто несколько вскружило голову чиновнику, занимавшему еще недавно незначительную должность; так, по крайней [мере], представилось старику Кирилину. Как-то он, директор канцелярии, выходя из кабинета министра, приказал Василию Григорьевичу напомнить о чем-то министру. «Слушаю-с, я переговорю с его сиятельством», — ответил ему скромный, всегда почтительный Пожарский. «Как вы смеете так выражаться! “Пе-ре-го-во-рить" с министром! Да вам дозволяется только докладывать и слушаться…», — захрипел старик, считавший себя начальником Пожарского, командированного лишь из канцелярии для исполнения обязанностей секретаря.

Пожарский после разноса ходил как в воду опущенный и, вернувшись домой, слег в постель. Заместителем его, под наименованием дежурного чиновника, назначен был от канцелярии Михаил Васильевич Иванов, прилежный старослуживый чиновник, толстенький, с блинчатым, тщательно сплошь выбритым лицом, на котором торчал небольшой вздернутый носик. Помогая министру разбирать бумаги, он сильно волновался, краснел, обливался потом, видимо, страдал от нервного возбуждения. Министр очень любезно заговаривал с ним, старался ободрить беднягу, но это мало действовало на терявшегося чиновника. «Нет, не по мне эта должность. Буду Христом Богом просить Василия Григорьевича поскорее выздороветь, а то как пить дать кикну».

Так он промучился дня три, пока не появился вновь Пожарский. Во время «высочайших вояжей» министра сопровождал он же, совмещая секретарские и писарские

обязанности. Поездки эти иногда затягивались надолго, в особенности во время пребывания на южном берегу Крыма, и приносили значительный добавок к его содержанию в виде суточных и особых наградных.

Бедного Василия Григорьевича подкосил тяжкий недуг — саркома в носово-лобной полости. Долго он страдал, не знал, однако, истины, все надеялся на скорое излечение до самой смерти. Хоронили скромного Пожарского с большой помпой. Тогда только что появились первые «похоронные бюро» с их разрядами. Министр отдал распоряжение об отпуске денег на похороны с тем, чтобы все было «как следует»; лицо, приводившее в исполнение приказ, и заказало похороны по первому разряду. Когда гр. Воронцов вышел из Конюшенной церкви, где отпевали покойного, то был неприятно удивлен балаганно-цирковой, сусальной процессией с каким-то тамбурмажором впереди. Думали угодить и переборщили.

Должность секретаря вновь организованной канцелярии министра занял Николай Диегович Дюбрейль-Эшаппарр, лейтенант Гвардейского экипажа, интеллигентный, рыцарски настроенный человек. Сопровождая министра в «высочайших вояжах», он успел себя зарекомендовать прекрасно в глазах лиц ближайшей царской свиты, стал известен царю и царице; скоро он получил звание камер-юнкера, а затем и камергера. Дальнейшая карьера его была подрезана уходом гр. Воронцова с поста министра; впрочем, его подстерегала другая, более страшная опасность, таившаяся в его организме — паралич. Он должен был уйти в отставку полным инвалидом.

Еще с первых дней командирования моего в распоряжение гр. Воронцова я пригласил, с ведома его, для письмоводства бывшего старшего писаря штаба Гвардейского корпуса Семена Петровича Линдена. Приятный по внешности, толковый, способный работник, на редкость добрый, отзывчивый человек, он быстро освоился с дворцовыми порядками, приобрел среди разнообразных служащих общие симпатии. Семен Петрович всегда за кого-либо просил, выступал с ходатайствами, даже рискуя перенести неприятности. Нельзя было не любить этого незлобливого, услужливого и притом веселого по натуре человека. Ранним утром являлся он на службу, приводил в порядок бумаги и письменные принадлежности на столе у министра и приступал к занятиям. Уходил из канцелярии почти всегда последний. Обыкновенно со стороны сослуживцев сыпались шуточные выступления в сторону несколько наивного Семена Петровича, а он бойко, весело отбивался от приставаний к нему любившей его молодежи, недавно еще покинувшей

университетскую аудиторию. Порою Семен Петрович любил кутнуть, слабость эта была безобидная, не серьезная, но давала материал к шуточкам над ним.

Когда гр. Воронцов-Дашков покинул министерство, Линден, оставаясь на дворцовой службе, исполнял при нем обязанности частного секретаря, а в 1905 году уехал вместе с ним на Кавказ. В Тифлисе он бессменно состоял при наместнике вплоть до увольнения того в 1915 году. Дослужился до чина действительного статского советника и звезды. В1920 году Линден умер.

Я сторонился чисто придворной сферы, да и Воронцов поощрял эту политику ввиду неослабно-враждебного отношения ко мне жены его, дабы тем самым лишить ее повода к новым выступлениям против меня. Она находила, что я имею слишком заметное влияние на графа, старалась доступными ей способами сбросить меня с дороги. Мне удалось сосредоточиться на делах, имевших общегосударственный [характер], в особенности в области художественной и театральной. В «вояжах высочайших» я не принимал участия, и только в 1888 году, во время путешествия Александра III на юг, и в 1896 году — во время путешествия Николая II во Францию, был командирован на Кавказ, а затем в Париж для организации бюро корреспондентов, так как на обязанности министра двора лежала цензура придворных известий. Занятие крайне неинтересное и требовавшее большой точности, так как придворные чрезвычайно близко принимали к сердцу малейшую ошибку в обозначении звания, чина или должности и обижались, когда в отчетах не упоминалось о них. Александр III не любил слащаво-приторных выражений вроде «проследовал», «соизволил», не любил вымученных восторгов. Как-то он попросил, чтобы отчет об одном из торжеств представлен был лично ему. В то время на звание короля придворных репортеров состязались два соперника — Калугин и Коровин; их отчеты министр захватил с собой в доклад государю. Вечером получен был обратно пакет с произведениями придворных бардов с резолюцией: «Вот образчик того, как не следует писать».

По моим соображениям, для того, чтобы достигнуть точности при описании, необходимо дать возможность корреспондентам своими глазами видеть торжества, присутствовать в дворцовых залах на выходах и балах, а не прятаться по закоулкам дворцовым, не выспрашивать придворную прислугу и сочинять недосказанное. Сначала мои представления казались недопустимыми, но с течением времени удалось приучить придворный мир к появлению среди шитых мундиров и черных

фраков репортеров. Некоторые из них так изощрились в придворном ритуале, так ознакомились со всем персоналом, что за точность их описания можно было поручиться. Они были спортсменами своего рода и потому входили во все тонкости значительно глубже, чем казенные церемониймейстеры.

Царская поездка на Кавказ, несомненно, являлась большим событием для экзотической окраины. Туземцы очень интересовались отношением царя к достопримечательностям их родины и к проявлениям жизни края вообще. Редакции газет мобилизовали значительный [корпус] солидных журналистов для ведения «царского месяца на Кавказе». Провинциальная, подцензурная печать попробовала под видом отчетов о путешествии государя открыто высказываться о разных наболевших вопросах, волновавших туземцев. Попытка удалась. Надпись на рукописи: «Со стороны министра двора нет препятствий к напечатанию» обеспечивала, гарантировала редакцию от скорпионов. Министр уполномочил меня заниматься просмотром вороха статей и заметок, а я, получив от журналистов коллективное заверение, что они меня не подведут под беду, ставил пропускной штамп. Случалось, что некоторые из журналистов, привыкшие сдерживать свое перо, боялись, не перешли ли они границу дозволенного, и просили меня самого ознакомиться с тем или другим опасным местом. Не помню, чтобы приходилось выправлять, не считая, конечно, фактических неточностей.

Месяца через два после возвращения с Кавказа ко мне приехала депутация от корреспондентов и поднесла альбом с фотографиями их, а на лицевой доске, на серебряном листе был помещен благодарственный адрес.

Я с удовольствием вспоминаю о кавказском путешествии, о необычайном оживлении, охватившем тогда экспансивных моих земляков. В далекое прошлое откатилось уже то время, когда был молодым, полным сил и радужных надежд…

Наступил октябрь месяц 1888 года, солнце горячо еще грело в Закавказье. Красочно и шумно встречал царя Кутаис, кокетливо приютившийся среди зеленых гор, окутанный садами и палисадниками, откуда приветливо выглядывали кусты цветущих роз; балконы домов увешаны коврами, унизаны живыми бюстами красавиц-имеретинок. На улицах гремит бубен, заливается зурна, доносится глухой звук литавр, хлопают в такт лезгинки сотни ладош. Южный, Картвельский Кавказ по-своему встречает гостей, песнями, музыкой, танцами.

За Кутаисом мелькнул и живописный Батум. По узеньким улицам удивительно быстрой, бесшумной поступью горцев

проносятся группы гурийцев в ярких, оригинальных костюмах, с причудливыми головными уборами. А вот и гавань, доставшаяся России десять лет тому назад ценою жестокой военной кампании 1877–1878 годов. Раздается гром салютов с верков Михайловской крепости, господствующей над городом, и пароходы выбираются на раздолье Черного моря, держа курс прямо на Севастополь.

После нудной качки от зыби, разведенной суровым северо-восточным ветром, после серо-белых валов, нескончаемой чередой бухающих в пароход, подбрасывающих его и перекатывающихся все дальше и дальше, после морской непогоды приятно войти в тихую голубую севастопольскую бухту, а с пристани направиться на Морской бульвар. Половина октября, но солнечные [лучи] ласкают приветливо; много офицеров еще в белых кителях, дамы в летних костюмах. Не то, что у нас на Севере! Играет музыка. За столиками перед рестораном веселый говор.

Встретил на бульваре старого приятеля, инженера Степана Ивановича Руденко, заведовавшего крымским шоссе и строителя Ялтинского порта. Небольшого роста, коренастый, лысый, в очках, с рыжей бородкой, он не блещет внешностью, но манит к себе своею искренностью, задушевным молодым смехом, некоторой наивностью рядом с глубокой вдумчивостью и большими познаниями. Живой, восприимчивый Степан Иванович внимательно оглядел меня, слегка подталкивая плечом свойственным ему движением, чтобы я повернулся перед ним, дал бы обозреть себя всесторонне; весело, юно-кадетски погоготали, усадил меня пить кофе, а сам принялся рассказывать о местных новостях. Видел он своего однокашника по корпусу, флигель-адъютанта Сергея Ивановича Сперанского, который едет со свитским поездом. Ходил вместе с ним осматривать императорский поезд и нашел его крайне рискованно составленным. Во-первых, поезд слишком велик, в особенности для наших дорог, не отличающихся особыми достоинствами, а затем, по мнению Руденко, недопустимо среди вагонов-монументов своего рода вставлять вагон министра путей сообщения легкой конструкции; его надо прицепить сзади — пусть покачает, Посьет ведь моряк — качки не должен бояться.

Докладывал Степан Иванович и привычным, хорошо известным мне жестом как-то особенно характерно придавливал свой глаз и, как всегда не замечая, подталкивал меня в бок.

— Отчего же вы не заявили?!

— Говорил, повторял и даже горячился. Отыскал заведующего или, как он там называется, «инспектора императорских поездов», инженера бар. Таубе. Указывал ему.

Говорит, будто знает про эти дефекты, да сделать ничего не может. Приказано так, и дело кончено. Очень уже он покорный, не в меру послушный. Я бы наотрез отказался вести такой поезд. Однако вам пора двигаться на вокзал, — посмотрев на часы, перевел быстро разговор точный Степан Иванович.

Он проводил меня на вокзал и по дороге сообщал, что, по рассказам, генерал Черевин, «дежурный генерал», распоряжающийся и поездами царскими, отдает в дороге распоряжение о степени скорости движения, не считаясь ни с расписанием, ни с состоянием пути. Только перед поездкой на Кавказ, при следовании поезда по Юго-западным дорогам, Черевин получил отпор от местного управляющего сетью С. Ю. Витте. Он все время царского путешествия по дорогам по его участкам находился на локомотиве, руководствовался строго расписанием и никаких и ни от кого приказаний — «скорее» или «тише», точно на тройке почтовой — слышать не хотел[158].

На вокзале еще поговорили с растерянным Таубе, а затем пришлось расстаться и поместиться в вагоне так называвшегося свитского поезда, который шел на этот раз на одну станцию расстояния сзади царского.

Увесистые вагоны на солидных рессорах плавно катились по рельсам. Купе, обитое сафьяном, уютно выглядывало, манило раскинуться на мягком, удобном диване с подушками; однако было и «но» — поезд не останавливался почти на станциях, проходил мимо вытянувшегося станционного персонала и, увы, мимо видневшегося в окнах буфета. В свитском поезде буфет не был организован, и мы оставались без пищи. Я ехал в одном купе с начальником Главного дворцового управления К. К. Гернетом, он послал за придворным официантом, который объявил, что распоряжений никаких отдано не было, и потому ничего у него не заготовлено, продукты можно приобрести лишь на другой день в Харькове, а пока предложил угостить своим чаем. Наутро мы с нетерпением ждали Харькова. За ночь императорский поезд запоздал и теперь, видимо, нагонял время, шли скоро; но на маленькой станции перед Борками наш поезд задержали. Мы ворчали. Получилось и разъяснение остановки — с первым поездом неблагополучно. В чем дело — было неизвестно. Вместо того, чтобы двинуть свитский поезд на помощь, его приказано было не пускать вперед. После неоднократных телеграфных переговоров наконец последовал приказ — подтянуть поезд к месту крушения.

Пришлось увидеть страшную картину разрушения вагонов, слетевших с полотна, проходившего через балку по высокой насыпи. Со стороны Харькова уже успела прибыть санитарная

помощь. Император ходил по полотну, осматривал обломки шпал и рельсы. Внизу насыпи толкались сторожевые солдаты. Вспомнился мне полковник Албертов, автор установки сторожевой военной цепи. Что могли сделать эти тысячи часовых, когда главная беда угрожала не извне, а заключалась в существе системы произвола. «Стоит обращать внимание на указания трусливых узких специалистов, гони в мою голову…» Так, вероятно, думал Черевин; не с таким упорством, но с такой же беззаботностью к правилам составления поезда отнесся и Посьет, министр путей сообщения, и так далее, и так выше и выше. Крушение поезда произвело не только тяжелую физическую встряску, но и нравственно придавило ехавших. У меня из разговора с министром получилось впечатление, что желательно замолчать о событии или оповестить «глухо». Выходило так, будто люди нашкольничали и теперь [хотели] спрятаться от наказания. Я на свой страх послал телеграмму в Петербург статс-секретарю Петрову с описанием случившегося под Борками, а он распорядился оповестить в *«Правительственном вестнике»*.

При крушении погиб лекарский помощник Чекувер, старослуживый, симпатичный, опытный работник, всегда первый являвшийся на помощь в случае заболевания кого-либо во дворце. Погиб и один из курьеров министра, ездовой конюшенной части Басков. Он очень дорожил «высочайшими вояжами», откуда возвращался с материальным подкреплением. Гостинцы семье уцелели, так как вагон, в котором было его место, остался на рельсах, но он отправился в кухню добывать себе завтрак и по дороге [был] раздавлен вскочившими друг на друга вагонами.

Печально, угнетенно двинулись назад к ст. Лозовой. Пришлось всем ехавшим в двух поездах сгрудиться в одном свитском. На Лозовой заказан был по телеграфу обед и вызвано духовенство для служения благодарственного молебна. Деревенские попики сначала заметно перетрусили, сильно волновались, но зато после молебна, получив по «радужной» и «приглашение к высочайшему столу», взыграли, оживленно приступили к трапезе.

От Лозовой поезд направился на Синельниково — Долинскую — Кременчуг — Полтаву — Харьков. До Полтавы ехали какими-то прибитыми, здесь же торжественная, многолюдная встреча подняла нервы; в Харькове императорский кортеж ожидали овации народной массы. Лица ближайшей свиты расцвели, они поняли, что избавление от крушения способствовало усилению царской популярности.

Нет сомнения, что встречи и проводы царя нередко организовывались полицейской властью, но опытный глаз всегда

мог уловить группы статистов, отличить их от «публики» и «народа». Как на Кавказе, так [и] в Полтаве и Харькове, несомненно, масса народная собралась посмотреть на невиданное зрелище и совершенно искренне приветствовала, входила даже в экстаз, но, весьма вероятно, через час-другой те же участники манифестации уже иначе относились к своим переживаниям. Психология масс не так-то легко расшифровывается. Как бы то ни было, но тяжкое предзнаменование грядущего перевоплотилось быстро в *«Гром победы, раздавайся»*.

Путешествие 1888 года на Кавказ неразрывно связано в моем воспоминании с институтом земских начальников. Гр. Воронцов вполне отрицательно отнесся к проекту гр. Д. А. Толстого о введении этого нового, мало отвечавшего жизненным требованиям учреждения[159]. Он поручил мне составить в соответствующем духе записку в Государственный совет. Я указал на председателя Царскосельской уездной земской управы Козмина, совмещавшего, с особого разрешения, с этой должностью и службу по Министерству двора, как на знатока земского дела, просил привлечь его к сотрудничеству. Более сорока лет просидев за письменным столом, от канцелярского служителя до секретаря в Царскосельском дворцовом правлении, он в то же время проявил редкую энергию как земский работник, его бессменно выбирали в председатели управы. Старик обладал истинно здравым смыслом и, несмотря на свой дряхлый вид, продолжал работать с утра до позднего вечера. Отъезд на Кавказ застал нашу работу законченной лишь вчерне; приходилось ее выгладить и затем переписать, что в дороге и не имея под рукой писаря не так легко было устроить. Пришлось мне докладывать записку в Екатеринодаре, в присутствии П. А. Черевина, который дружелюбно подсмеивался над «либеральничанием» Воронцова. Министр подписал, и записка вместе с другими пакетами полетела с фельдъегерем в Петербург. Как известно, восторжествовал гр. Д. А. Толстой.

К этому же времени надо отнести заметное охлаждение Воронцова к министерским делам. Тем не менее, он с девяти часов утра, с получасовым перерывом для завтрака, занимался делами до шести часов, исключая докладных дней у государя — по четвергам и субботам. В месяц раз-другой он ездил на охоту, вечера проводил дома, в гости не показывался, в театр ездил по службе, когда давали знать о том, что там будет государь. Исстари завелось, что министр двора должен был появляться в императорских театрах в мундире и орденах. Это стесняло Иллариона Ивановича, отбивало охоту посещать спектакли.

Усиленное содержание, сравнительно с другими

ведомствами, льготные пенсионные правила, в связи с доброй славой об установившихся добрых служебных нравах, стали притягивать целые отряды просителей о зачислении их в кандидаты на могущую открыться должность. Ходатайствам разных влиятельных лиц не было конца. Но занятые места не очищались, движения не замечалось.

Особенно сильно стучались офицеры в двери министерства. Видимо, служба в войсках становилась несладка, слух же о служебной чистоплотности вновь подобранного корпуса служащих и о благородном отношении министра все более и более ширился.

Мне было видно ясно, насколько положение дворцового офицера, не занявшего сразу же ответственный пост, представлялось впереди малоутешительным в смысле карьеры. Движения вперед не предвиделось, человек попадал в каменный мешок, из которого выбраться было трудно. Тем не менее, большинство просителей-офицеров настолько приросло к военному мундиру, что не соглашалось переименовываться в гражданские чиновники и стремилось занять только те должности, которые специально предоставлены были военнослужащим. Помню, большого труда стоило мне отговорить от записи в кандидаты на скромные дворцово-смотрительские должности таких офицеров, которые, оставшись в строю, впоследствии командовали армейскими корпусами или занимали иные значительные в военном ведомстве посты.

Гр. Воронцов-Дашков наиболее благосклонно относился к кандидатуре офицеров 2-й гвардейской пехотной дивизии, которой он перед назначением министром командовал. Оттуда он пригласил на службу: полковников — Гернета и Пастухова, капитанов — Владимирова, Аничкова, Плешко, Рожалина, штабс-капитанов — Рябова, Коханова, поручиков — Тулинского, Гинглята, Мосягина, Гершельмана, Бершова, Пчельникова. Последние три и Коханов при переходе в министерство сняли мундир, Владимиров и Рожалин скоро умерли, а остальные дослужились до генеральских чинов.

Два слова о первых опытах омолаживания и опрощения дворцового начальства. В царствование Александра II Зимним дворцом заведовал генерал Дельсаль, в его распоряжении были и «от ворот-майор», и «бау-адъютанты», и особая «метельная рота». Кроме того, специально охраной дворца заведовал особый полицеймейстер полковник Струков, под его командой состояла охранная команда. При реформе заведование дворцом было поручено полковнику л. — гв. Финляндского полка Гернету, и в помощь ему для поддержания [порядка] в громаде дворцовых

зданий [был назначен] капитан л. — гв. Московского полка Рябов.

К. К. Гернет проявил большую распорядительность и умение ладить с людьми. Он скоро выдвинулся и, как выше я указал, назначен был начальником Главного дворцового управления.

В Гатчину, на смену старому генералу Багговуту, пришел капитан л. — гв. Павловского полка Владимиров. Хороший служака, исполнительный офицер, он оказался совсем не понимавшим придворные требования; ему хотелось подвести дворцовую жизнь под казарменный лад — отсюда ряд неприятностей. Здоровье Владимирова уже было ненадежно, он страдал от сильных припадков печеночной колики, на службе в Министерстве двора [оно] сильно пошатнулось, и скоро его не стало.

В Царское Село заменить генерал-адъютанта Ребиндера предназначен был капитан Милий Милиевич Аничков — маленький, щупленький, шустрый, обладавший несомненным комическим дарованием и большой русской сметкой. Милий Милиевич просил министра разрешить ему познакомиться с предстоящими обязанностями до приказа о своем назначении в Царское Село. Получив соответствующее одобрение, он явился к Ребиндеру, насмешил и очаровал приятного старика, который охотно взялся быть его ментором. К этому времени открылась возможность устроить Ребиндера на должность управляющего Кабинетом его величества. В короткое время Аничков ознакомился с царскосельскими дворцовыми порядками, всюду побывал, лазил по крышам и подвалам, перезнакомился со всем штатом служащих. Ребиндер почел долгом дать о нем самый лестный отзыв. Водворился на место генерал-адъютанта маленький капитан и стал хозяйничать, вникал во всякую мелочь, всюду поспевая, вместе с тем никого не стращая, не пиля нравоучениями. Не позволял он себе давать дилетантские распоряжения, не стеснялся открыто спрашивать совета у опытных, толковых подчиненных, будь то хоть парковый сторож или обойщик в мастерской. Живая, энергичная деятельность веселого заведующего пришлась по душе служащим, о нем заговорили. Когда умер Владимиров, то заместителем на ответственный пост, в резиденцию императора, назначен был Аничков. И здесь кипучая деятельность неутомимого Милия Милиевича скоро заставила обратить на себя внимание. Александр III, любивший Гатчину и свой дворец, не мог не видеть, как все оживало, прихорашивалось и вместе с тем делалось экономно, хозяйственно. Император приглашал к себе Аничкова и благодарил его. За несколько лет заведования Милий

Милиевич не только обновил запущенные дворцовые сооружения и парки, но [и] сделал многое для оздоровления и украшения самого города. В пылу созидательной работы он был оторван от Гатчины и перенесен в сферу «гофмаршальской части». В течение десяти лет вопрос об упорядочении «довольствия» двора не удавалось разрешить удовлетворительно. Испытанная распорядительность, находчивость Милия Милиевича и, наконец, блестящее ведение им в былое время офицерской столовой своего полка, дали повод к приглашению его на хлопотливое, ответственное дело заведования хозяйством гофмаршальской части. Со стороны Аничкова, занимавшего уже видный пост начальника Гатчинского дворцового правления, было самопожертвованием идти в подручные к гофмаршалу, но он не отказался. И здесь он оказался на своем месте. Кто его не знал? Кто к нему не обращался с различными просьбами? Он сумел себя поставить так, что для двора до самого последнего времени, до революции, оставался незаменимым.

При переходе М. М. Аничкова из Царского в Гатчину на его место назначен был подполковник стрелкового императорской фамилии батальона, флигель-адъютант Сергей Иванович Сперанский. Симпатичный, обворожительный в сношениях с высшими и младшими, он быстро завоевал себе видное положение. Как только открылась должность начальника Петергофского дворцового правления, освобожденная уходом в Опекунский совет генерала Арапова, Сперанский был назначен туда. В царствование Александра III резиденциями его являлись Гатчина и Петергоф, Царское Село было в загоне.

Впоследствии, после расформирования Главного дворцового управления, Сперанский принял должность начальника вновь организованного Петербургского дворцового управления, на которой и оставался до смерти во время великой войны[160]. Он особенно любил садоводство, знал хорошо ботаническую сферу, долгое время состоял президентом Императорского общества садоводства.

Большие надежды я возлагал на Ивана Васильевича Рожалина. Он обладал исключительной способностью привлекать к себе, что, при его благородстве и здравом смысле, ничего кроме пользы не могло принести. Назначен был Рожалин в Москву помощником гр. Орлова-Давыдова, большого барина, заведовавшего «московской дворцовой частью». Через месяц Орлов писал Воронцову, что не знает, как благодарить за назначение Рожалина, который стал не только незаменимым помощником по службе, но также одним из лучших его друзей. Через полгода Ивана Васильевича не стало[161].

Заведовать Ливадией поручено было подполковнику Виктору Александровичу Плецу, родному брату жены П. С. Ванновского и двоюродному брату самого Петра Семеновича[162]. Плец служил раньше в одном со мной полку и уже в чине штабс-капитана перешел в армию майором, здоровье его требовало перемены климата. После турецкой войны[163] он оставался в Болгарии по гражданскому управлению, а затем устроился в теплом крае, в Ливадии. Щекотливо[164] честный по отношению к себе и к службе, он вошел с головою в дело управления не только дворцами, но и всем имением с ценными виноградниками. Незадолго до назначения Плеца в Ливадии произведена была ревизия Н. А. Вагаловым, который вместе с отчетом представил и проект сокращения штатов управления, причем трактовал его как частновладельческую контору: управляющий, конторщик, он же бухгалтер, письмоводитель, а затем шли винодел, садовник, десятник и рабочие. Так как, будучи наследником, Александру III пришлось пережить в Ливадии в последние годы немало неприятных столкновений, то установилось убеждение, что он не станет ездить туда. Ввиду этого упрощенная конторская организация и была проведена в жизнь; кроме управляющего — ни одной «классной» должности. И надо отдать справедливость Плецу, он нашел в себе силы образцово справляться с нелегкой задачей, зато и расценивал себя он высоко. По мнению товарищей, у Виктора Александровича была чудаческая натура, в нем кипело болезненное самолюбие. Малейший намек на то, что ему лишь собираются еще наступить на ногу, как он предупреждал выступление резким выпадом со своей стороны. Неприятностей у него выходило немало. Шум поднял архиерей, которого он не пропустил проехать через Ливадию; проезд был закрыт для всех, а исключений Плец не допускал. Инцидент с высокой духовной особой укрепил за Виктором Александровичем в Ялте репутацию строптивого, неудобного человека.

Плец обладал незаурядным художественным вкусом, и все его начинания в сфере дворцового устройства, обстановки, планировки сада и парка получали одобрение. Он прилежно занялся виноделием и разведением плодовых деревьев. Много читал по этой специальности, учился опытным путем под руководством виноделов из Никитского сада и Массандры. Ливадийские вина можно было поставить в уровень с французскими.

Предположения о забросе Ливадии при Александре III не сбылись, он стал наезжать туда, причем каждый раз пребывание в конце омрачалось смертью. Здесь умерли: флаг-капитан Басаргин, гофмаршал кн. Оболенский и, наконец, сам Александр III.

Царь остался очень доволен ливадийскими порядками,

благосклонно отнесся и к самому Плецу. Все, казалось, шло хорошо. Но вот приехал осматривать Ливадию новый управляющий уделами кн. Л. Д. Вяземский, человек, так же, как и Плец, с повышенным и притом барским самолюбием, переходящим в самодурство. Извещенный о приезде начальства (Ливадия состояла в удельном ведомстве), Плец явился на пароход встретить князя и на всякий случай распорядился, чтобы в ялтинском «удельном», так называвшемся, доме[165] приготовлена была спальня для приезжего. Пароход сильно запоздал. Встречавшие разошлись, уехал в Ливадию и Плец, у которого гостила сестра его А. А. Ванновская. Ночью летит гонец к нему. Приехал князь и требует полковника немедленно. Князь Вяземский во время длительной задержки в море наслушался от пассажиров о гордыне Плеца, прибавил от себя предположение, что он держит себя так, надеясь на поддержку Ванновского. Лишь только появился Плец, князь, увидев свободную позу полковника, сразу же закусил удила и понесся, вспомнил об архиерее, укорял Плеца, что он не позаботился устроить ночлег для сопровождавшего Вяземского Н. Н. Бера, произвел «форменный разнос» с обычной фанфарой — «так служить нельзя».

Самолюбивый полковник повернулся и удалился. На другой день Плец не явился, князь также не сделал шага к примирению. Вяземский, делая представление об увольнении Плеца, видимо, сгустил краски ялтинской сцены и, конечно, не в убыток себе. В нем заговорил княжеский задор ввиду возможности столкновения с Ванновским, очень любившим «своего Виктора»; поставлен был вопрос ребром — или Плец, или я. Отставка Плеца состоялась, ему дана была полная пенсия и продолжена удельная аренда. Опальный великий князь Константин Николаевич возмутился вяземским произволом, пригласил Плеца переехать к нему в Ореанду и вступить в управление имением. В числе немногих, кого обыкновенно приглашал к себе великий князь, Плец особенно нравился ему своей непосредственностью и самостоятельностью.

П. С. Ванновский чрезвычайно огорчился плецовской историей. Он говорил мне: «Хорошо понимаю, что Виктор получил такой удар из-за меня. Я хотел доложить государю обстоятельства дела, но сдержался, пришлось бы поссориться с Воронцовым, а я его люблю. Ведь что досадно, теперь Вяземский гарантировал себя и напредки от каких-либо выступлений против него с моей стороны, так как иначе будут говорить — “это он из мести"»…

Конечно, военному министру было обидно оставить без

рипоста[166] такой вызов барича, но на месте Плеца я бы не сокрушался. На новом месте он устроился очень уютно. У верхней Ореандской[167] издалека виднеется двухэтажный белый домик управляющего, поставленный на огромной скале, с обширной террасы открывается чудный вид на синее море и на живописный южный берег, к дому примыкает фруктовый сад, а от него дорожки сбегают вниз, через парк, к самому берегу. Воздух напоен запахом роз и букса. Хорошо. Как вспомнишь теперь в холодном, суровом, сером Петрограде про Ореанду, про ласкающий крымский теплый морской ветерок, так и потянет туда, потянет хотя бы на должность паркового сторожа.

Бывало, подъедешь к воротам имения, кучер крикнет, и старик сторож выходит не спеша из своей караулки с гроздью винограда и белым хлебом в руке; а в огороде яркой краской наливаются помидоры, зреют баклажаны, беспечно раскинулись большие желтые тыквы, под длинными листьями притаились сладкие дыни. Ну не житье ли там!..

В числе лиц, получивших за это время назначение по Министерству двора, нельзя не упомянуть и Константина Устиновича Арапова. При переезде весной 1881 года Александра III в Гатчину этим городом и дворцом управлял, как я уже упоминал выше, генерал К. Ф. Багговут, числившийся одновременно и комендантом. Арапов, командир «синих кирасир», квартировавших в Гатчине, давно зарился на должность Багговута; он считался плохим строевиком, проявлял склонность к наведению порядка в хозяйстве. Свитский генерал, большой балагур, по внешности колосс, он был заметен при дворе, куда, как начальник отдельной воинской части, приглашался по воскресеньям к «высочайшему» завтраку. Императрица числилась шефом кирасир — это открывало возможность Арапову, сообщая о полковых делах, ввернуть словечко и о себе. О своих хозяйственных способностях он не молчал, а трубил неустанно, представляя царю образчики работ полковых мастерских. Во время длинного придворного траура после смерти Александра II музыка во дворце не допускалась; Арапов, зная, как царь любил духовой хор, устраивал концерты напротив дворца в казармах при открытых окнах. Кандидатура его на желанную должность казалась совсем обеспеченной, и каково же было удивление его, когда из сферы багговутовского управления выделили главнейшую составную часть — дворцовое хозяйство и заведование им вручили неведомому большому свету капитану [л. — гв.] Павловского полка Владимирову. Насмешкам, колкостям со стороны Арапова по адресу вовсе не придворного офицера не было конца. Впрочем, шумливый генерал вскоре

успокоился: по желанию императрицы он назначен был начальником дворцового правления в Петергоф вместо умершего генерала Баумгартена.

Полковые хозяйственные отличия быстро побледнели, когда пришлось добиваться успеха в сфере дворцовой деятельности. Арапов стремился внести свое новое, а оно тут-то именно признавалось неуместным, так как Александр III любил старину, любил сохранять традиции; да и по существу дела недопустимы были переделки на свой лад планировок художественных парков и хотя бы самый старательный, но казарменный ремонт сооружений — произведений видных зодчих. Арапов споткнулся на мелочах, однако, бивших сразу же в глаза. К приезду Александра III в Александрию он распорядился перекрасить темно-зеленые кадки для лавров, померанцев и пальм в цвета кирасирской дивизии. Генерал любовался бело-красно-желто-зеленым строем кадок, надо полагать, заранее смаковал свой успех; но царь при виде этой аляповатой картины вознегодовал, приказал немедленно исправить безобразие. Арапов упал духом. Ряд мелких неудач сбил с толку бравого, недавно столь предприимчивого гиганта. Стали поговаривать о его уходе. Императрица Мария Федоровна снова помогла ему, устроила Константина Устиновича в Опекунский совет почетным опекуном. Заведуя по этой должности больницей *«Всех скорбящих»,* что на и-й версте, Арапов поставил там хозяйство превосходно; в Совете также был на виду, держался самостоятельно, не молчал. Дожил Константин Устинович до глубокой старости, физически не сгибая спины, оставаясь могучим колоссом и грозно-попечительным инспектором для учреждений императрицы Марии Федоровны. В юбилей он дождался звания генерал-адъютанта, достиг возможных степеней служебного величия и, вероятно, рад был, что быстро простился с дворцовым управлением Петергофа, где рисковал быть замурованным до могилы в одной и той же должности[168].

Заведование варшавскими дворцами — Замком и Лазенками — после Муханова вверено было полковнику л. — гв. Волынского полка Гриневичу, долго служившему в штабе Гвардейского корпуса. Честный работник, пунктуально исполнительный служащий, хороший хозяин, он оказался плохим придворным. В Варшаве, благодаря высокому положению начальника края, носившего прежде титул наместника Его величества, так сказать, вице-короля, генерал-губернаторы старались поддержать былую помпу дворцовыми приемами. Гриневич же при назначении своем получил наставление удовлетворять запросы генерал-губернаторского двора в мере утвержденной расходной сметы на

содержание дворцовых зданий, в которых жил генерал-адъютант Гурко, бывший тогда генерал-губернатором. В турецкую кампанию[169] он командовал Гвардейским корпусом, а потому хорошо знал Гриневича, и надо полагать, что у них не вышло бы никаких недоразумений, легко можно было бы выяснить, на какие расходы и выдачи уполномочен заведующий дворцом; но в дело вмешалась дама, жена генерала Гурко, урожденная гр. Салиас де Турнемир, женщина умная и вместе с тем чрезвычайно властная. Она стала предъявлять все более и более нараставшие требования о ремонте дворцовых комнат, дворцовой мебели, о выдаче посуды, о назначении дворцовой прислуги на приемы. Гриневич, экономный хозяин, стремился, наоборот, всемерно урезать расходы на содержание дворцов, уменьшить штат прислуги, сохранить в целости ценную посуду, решительно стал отказывать генеральше. Неудовольствие перешло в гнев. Стали поступать жалобы на Гриневича, он давал каждый [раз] вполне исчерпывающие объяснения, его поддерживали, но взаимоотношения с генерал-губернаторским двором достигли, наконец, точки кипения. Гурко заявил о невозможности совместной его службы с Гриневичем, «или он, или я». Конечно, Гриневичу, тогда уже генералу, пришлось подать в отставку. Старый, испытанный служака ушел, озлобленный несправедливостью, разочарованный высшим начальством, отступившимся от него. Но министр был бессилен в данном случае. Гриневичу, при всех его достоинствах, явно не хватало того элемента, который именуется тактом; из-за пустяков не стоило бить горшки, а в более серьезных вопросах можно было договориться дипломатическим путем, он же держался на строго формальной платформе и вместе с нею провалился.

Заместителем его неожиданно для сослуживцев назначен был полицмейстер московских дворцов Павел Максимович Иванов, офицер бывшего л. — гв. кадрового полка, переименованного потом в 3-й гвардейский стрелковый полк. Иванов из своего полка командирован был в Сводно-гвардейскую роту в Гатчину для охраны дворца. Здесь он, юный офицер, обратил на себя внимание Черевина, и тот рекомендовал его Воронцову на должность полицеймейстера московских дворцов, должность скромную, с небольшим содержанием. Иванов, не знаю какими путями, занял положение комиссионера по доставке строительных материалов из Москвы в воронцовское тамбовское имение Новотомниково, где шла постройка церкви. Чрезвычайно богомольная графиня Воронцова очень интересовалась этими работами и оценила Иванова, сумевшего исполнять все требования быстро и дешево. Делал все это он, конечно,

бесплатно, отказывался от всякого вознаграждения, и бескорыстно в буквальном смысле этого слова. Как-никак выгода для него все-таки получилась, и весьма заметная. Он стал известен как выдающийся работник, и, переступив иерархическую ступеньку помощника заведующего одним из дворцовых управлений, на которой старшие сослуживцы дожили до пенсии, он прямо получил назначение на самостоятельную должность в Варшаву. Если это случилось вследствие дамской протекции, то надо сказать, что на этот раз дамское вмешательство оказалось уместным. В Варшаве Иванов быстро стал своим человеком, сошелся не только с генерал-губернаторским двором, но и с поляками. Над ним товарищи подтрунивали, будто в предвидении своего назначения он отрастил себе польские залихватские подусники. Дипломатические способности оказались у него замечательные. Генерал-губернаторы гр. Шувалов и кн. Имеретинский не только состояли с ним в хороших отношениях, он, по их признанию, являлся истинным, испытанным другом. На Иванова сыпались милости. Помимо начальника дворцового управления он получил в заведование казенные театры, а затем и княжество Ловичское. По всем этим должностям, с особого высочайшего соизволения, он получал содержание, что составляло сумму свыше двадцати тысяч, и, кроме того, квартиру во дворце, дачу, прислугу, экипаж. Однако ни одно из учреждений, находившихся в его заведовании, от совместительства не пострадало, доходные статьи при нем значительно повысились, даже от эксплуатации дворцовых участков, на которые прежде почти не обращали внимание.

Способности Иванова как хозяина, а главное, умение жить с людьми, никому не наступая на ногу, не сгибая заметно спины, незаметно добиваясь намеченной цели, гарантировали ему в будущем блестящую карьеру, но его подрезало здоровье, пошатнувшееся после коронационных торжеств в Москве.

Иванова всюду приглашали нарасхват. У него работы было по горло в Варшаве, но, вероятно, не без его ведома и намека, нашли необходимым притянуть его к устройству народного праздника в Москве на Ходынке[170]. Главным распорядителем был Николай Николаевич Бер, Иванов же состоял при нем консультантом. Ходынская катастрофа отозвалась губительно на нервах Павла Максимовича, его ни в чем не обвиняли, по-прежнему молодой генерал продолжал очаровывать Варшаву, но смертельная рана нанесена была в Москве, и от нее он, такой, казалось, счастливчик, погиб сравнительно молодым еще человеком.

4

О. Б. Рихтер. Н. *В. Воейков. А. Рылеев. Н. К. Шведов. П. А. Черевин. Бухмейер. Вогак. Гр. Н. П. Игнатьев. Д. Н. Воейков. Романченко. И. Н. Дурново. К. П. Победоносцев. П. С. Ванновский.*

По службе мне приходилось встречать много чиновного люда, среди них были и лица, занимавшие высокие посты, как, например, О. Б. Рихтер, П. А. Черевин, К. П. Победоносцев, гр. Н. П. Игнатьев, Ив. Н. Дурново, П. С. Ванновский. Среди наиболее приближенных сановников, помимо гр. Воронцова-Дашкова, выдающееся положение занимали генерал-адъютанты Рихтер и Черевин; но, бесспорно, самым влиятельным советником, первую половину царствования в особенности, являлся К. П. Победоносцев, вдохновитель политического направления.

Оттон Борисович Рихтер обратил на себя внимание еще в бытность свою камер-пажом его величества[171]. Впоследствии, как образцовый офицер конной гвардии, был приглашен младшим воспитателем к детям Александра II, состоял при цесаревиче Николае, с которым близко сошелся. После смерти его занимал видный пост начальника штаба гвардии и Петербургского военного округа. Затем он временно попал в опалу и должен был принять одну из армейских дивизий. Ко времени вступления на престол Александра III он уже командовал *7-м* армейским корпусом. При освобождении гр. Адлербергом 2-м должности командующего Главной квартирой царь приказал в тот же день запросить Рихтера, проживавшего в Севастополе, согласен ли он принять эту должность. Конечно, генерал не отказался от завидного предложения, и скоро в Петергофе появилась красивая, статная фигура Оттона Борисовича.

По мысли законодателя командующий Главной квартирой во время высочайших путешествий и в бытность государя при армии замещал военного министра и министра двора, заведовал походным царским хозяйством, начальствовал над охраной, являлся и докладчиком по делам, присылаемым из разных ведомств. В его непосредственном ведении состояли: управляющий делами Главной квартиры, комендант и начальник Военно-походной канцелярии.

В царствование Александра II долгое время должность командующего Главной квартирой занимал гр. Адлерберг 2-й, а с 1870 года совмещал с нею управление Министерством двора. Весьма возможно, что за годы своего пребывания на

архиерейской, что называется, должности командующего, Адлерберг разленился, отвык от работы.

В сущности, компетенция командующего Главной квартирой представлялась довольно расплывчатой, неопределенной. Все зависело от степени личного влияния и желания захватить чужие дела в свои руки. Отгон Борисович, вполне порядочный немец, далек был от подобных посягательств на права других лиц. Представляя собою по внешности картинную, рыцарскую фигуру, он действительно благородно держался по отношению к министрам военному и двора, не только не пытался расширить свои полномочия, но даже как бы сжимал их, сокращал. Постепенно должностное собственно значение Главной квартиры, как учреждения частью и придворного, свелось на нет.

Рихтер получил специально поручение заняться работой по организации разбора прошений, «на высочайшее имя приносимых». Как я уже упоминал, предместником его был статс-секретарь кн. Сергей Алексеевич Долгорукий. Он председательствовал в Комиссии прошений, занимал пост, столь заманчивый для человека, жаждавшего помочь тысячам обездоленных, прибегавших за помощью к царю, как единственной, исключительной сверхвласти. Деятельность Комиссии катилась по бюрократическим рельсам, мало способствовала усилению царской популярности. Несмотря на выраженное Александром III желание реформировать Комиссию, дело свелось скорее к переименованию, ничего существенного не сделано было, от канцеляризма не в силах были отрешиться.

В начале 80-х годов, при отъезде гр. Воронцова в отпуск, Рихтер несколько раз исправлял должность министра двора, и мне приходилось тогда бывать у него ежедневно с докладом. Всегда он был мило-предупредителен, корректен, но к делам относился с равнодушием, мало вникал в них, хотя старался не запускать бумажных залежей. Весьма возможно, что такое в некотором роде отнекивание от дел вызвано было преувеличенной бюрократической деликатностью, чтобы не могли упрекнуть калифа на час в желании вмешаться в чужую область.

Во всяком случае, впечатление Рихтер оставил[172] на меня весьма приятное, человек он был истинно добрый. Маленькая подробность — любил старый генерал легкую музыку и сам немного композиторствовал — сочинял вальсы.

Мягкий, деликатный Оттон Борисович выявлял, однако, старогерманскую твердость Тевтонского ордена в отстаивании интересов остзейских баронов. Когда дело касалось прерогатив баронов и других немецко-балтийских привилегий, то

корректнейший Рихтер переставал сдерживать себя, употреблял все свое влияние для проведения в жизнь домогательств земляков, хотя бы это касалось и мелочей вроде сохранения офицерских чинов в немецкой рижской пожарной команде из добровольцев.

Рихтер обладал небольшими личными средствами, жил, главным образом, на жалование и не особенно обременял казенный сундук. Для командующего Главной квартирой специальной квартиры до 80-х годов не было, так как Адлерберг жил в министерском доме. Военно-походная канцелярия помещалась в здании Военного министерства у Исаакиевского собора, со стороны Вознесенского проспекта. Для квартиры Рихтера и управления Главной квартиры уступлен был дом, занятый прежде упраздненной Строительной конторой, по Захарьевской улице. Бельэтаж полностью отошел под квартиру командующего; в верхнем этаже с очень низкими потолками отвели квартиру для начальника канцелярии Главной квартиры, а сама канцелярия расположилась в нижнем этаже.

Квартира Рихтера не блистала отделкой, обстановка также не отличалась роскошью. Я уже отмечал то странное отношение, которое установилось при оказании материальных милостей. Человек, не имевший своих личных средств, хотя бы и оказавший большие услуги государству, не мог претендовать на особую материальную поддержку, должен был рассчитывать исключительно на свое жалование, которое, как известно, и у больших чинов было скудное. Как бы неприятно удивились наверху, услышав ходатайство о воспособлении. Но другое дело барин с расшатанным состоянием, вот это — подходящий вполне объект для излитая на него милостей, при условии, конечно, существования соответствующего суфлера-протектора.

Рихтер жил скромно, приемов не делал, долгов, показных по крайней мере, за ним не числилось, ни фабриками, ни заводами, построенными на казенные деньги, не владел, следовательно, шансов на помощь не имел. Помню, старый генерал заболел серьезно, увезли его за границу. Оттуда он написал письмо, поведав о своих стесненных материальных обстоятельствах. Ему повелено было выдать семь тысяч рублей; а ловкие, оборотливые люди, даже из подчиненных ему свитских чинов ухитрялись за милую душу получать не только десятки, а и сотни тысяч под видом ссуды.

Своей исключительной близостью к государю, доверием к нему Александра III Рихтер не пользовался для личных или семейных своих выгод, держался благородно, в государственной же своей деятельности оставил бледный, незаметный след.

При Адлерберге управляющим делами Главной квартиры состоял генерал-адъютант Николай Васильевич Воейков, комендантом — генерал-адъютант Рылеев и начальником Военно-походной канцелярии — генерал-адъютант Салтыков. С уходом Адлерберга из этих трех ближайших его сотрудников остался лишь Воейков, назначенный при реформе Главной квартиры помощником командующего. Николай Васильевич отличался обходительностью и деликатностью в обращении, но как деятель представлялся величиной совершенно незаметной. Много говорили о его скупости при больших средствах, он разительно отличался в этом отношении от своего тестя, популярного в Москве генерал-губернатора кн. Долгорукова, совсем не умевшего считать деньги, опутанного долгами. Генерал Воейков под старость ослеп, должен был оставить должность с пожалованием в обер-камергеры.

Бывший комендант Главной квартиры генерал-адъютант Рылеев отпросился на покой. В свое время он играл при Александре II незаурядную роль, неотступно состоял при нем, отказался совсем от личной жизни, стараясь охранять царский покой. По внешности мало воинственный, с манерами и голосом доброй, задушевной тетушки-старой девы. По мягкости характера он, казалось, не подходил для ответственно-боевой роли коменданта. Зато Рылеев весь проникся всепоглотившим его стремлением — жаждой выказать свою нелицемерную преданность Александру II. Этот пыл с годами не остывал, а еще более разгорался, что невольно заставило обратить на себя внимание как на исключительно преданного слугу, своего рода приближенного евнуха-телохранителя восточных властителей.

После смерти Александра II Рылеев заперся в своей маленькой, скромной квартирке у Конюшенного моста, стены которой буквально сплошь были увешаны портретами — рисунками, гравюрами и фотографиями Александра II в разные эпохи. Он посвятил себя всецело обслуживанию могилы своего кумира; ежедневно, безусловно каждое утро, являлся в Петропавловский собор на молитву у праха своего бывшего повелителя, а при выходе из церкви кормил голубей. И так неукоснительно, день в день, зимой и летом, в течение двадцати лет. Помимо собора он нигде и не бывал, но по воскресеньям днем к нему заходили бывшие сослуживцы и другие почитатели Александра II. Старик любил вспоминать старое житье-бытье, но не мог говорить про покойного императора без слез.

Нельзя не отметить, что Рылеев, находясь так интимно близко к императору, мог легко добиться усиленного содержания, большой аренды, но он за себя не хлопотал, получал скромный

[оклад], размер которого, наверное, неизвестен был Александру II. После смерти Рылеева капитала не осталось.

Генерал-адъютант Салтыков принужден был оставить Главную квартиру по воле Александра III, крайне отрицательно к нему относившегося. Его место занял Николай Константинович Шведов. Сначала он был назначен делопроизводителем Военно-походной канцелярии и из штабс-капитанов переименован был в гражданский чин с производством «за выслугу лет» в коллежские советники, затем назначен начальником общей канцелярии Главной квартиры. Военный министр, Петр Семенович Ванновский обратил внимание Рихтера на неудобство замещения этой должности гражданским чиновником. Такое заявление развязало руки доброму Оттону Борисовичу, относившемуся очень благосклонно к Шведову, он воспользовался возможностью опереться на авторитет строгого министра, испросил разрешение на переименование своего правителя канцелярии в полковники. Военные старого времени поймут необычайность быстрого превращения штабс-капитана в полковники путем проведения чрез гражданские чины. Внезапно появился Шведов на видном посту, среди свиты государя, и так же внезапно принужден был стушеваться. Рихтер не мог оборонить своего ближайшего докладчика от выпадов значительных лиц свиты, не признававших в нем своего человека.

Уйдя из Главной квартиры, Николай Константинович состоял некоторое время помощником инспектора пограничной стражи, а потом числился по военному ведомству. Он работал много в Главном управлении Красного Креста.

Долгое время Николай Константинович Шведов оставался в тени; казалось, карьера его, одно время обещавшая блестящее служебное положение, закончена. Действительность не оправдала этого предзнаменования. Шведов принял участие в работах Общества востоковедения, заинтересовался делом, поддерживал всеми силами существование этого молодого и малосильного еще организма. Ему удалось организовать при обществе особую высшую школу — Восточную академию, во главе которой [он] встал сам, а на должность почетного президента сумел завербовать императрицу Александру Федоровну. Не знаю, как и через кого совершился этот высочайший ангажемент, несомненно, чрезвычайно выгодный для благоденствия академии и для благополучия докладчика ее величеству о делах этого учебного заведения. На Шведова посыпались награды: александровская лента, чин генерала от артиллерии и, наконец, ко всеобщему удивлению, в числе новых членов Государственного совета, назначенных 1 января 1917 года, значился он; достиг,

следовательно, высшей служебной платформы, пристани полного благополучия, но, увы, указ о назначении опубликован [был] 1 января, а в феврале загрохотала революция. И звезды, и генеральские чины, и самый Государственный совет полетели под кручу.

Рядом с величественной по внешности фигурой Рихтера, картинно выступавшей впереди императорского кортежа на парадах, рисуется и другое близкое царю лицо — генерал-адъютант Петр Александрович Черевин, «дежурный генерал». В казачьей свитской форме, с георгиевским крестом за турецкую кампанию, в большой белой папахе на трясущейся слегка голове. Из-под длинных завитушек курпея высматривают зорко пронзительно-колючие глаза. Лицо подернуто алкогольной окраской, острый нос, отвисшие вниз усы и шутливое приветствие на улыбающихся губах.

По общему признанию, Черевин обладал недюжинными способностями, умел работать, умел постоять за себя и за своих подчиненных. В молодых годах кавалергардским офицером успел выделиться он и обратил на себя внимание Муравьева-Виленского. Свирепый усмиритель Польского восстания[173] приблизил к себе Петра Александровича, использовал молодую энергию для проведения своей политической линии. Тем не менее, Черевин сумел наладить свои личные отношения к полякам, видевшим в нем заступника перед проконсулом. В 70-х годах он командовал конвоем Его величества, участвовал в турецкой кампании[174]. С призывом гр. М. Т. Лорис-Меликова в диктаторы Черевин призван был снова к политической деятельности, получил назначение товарищем министра внутренних дел. В 1881 году он занял должность главного начальника охраны его величества. Наименование это не понравилось Александру III, и Черевина окрестили в «дежурного генерала».

В военном ведомстве дежурный генерал занимает должность, в которой сосредоточены так называемые «инспекторские дела», прохождение службы персонала воинских частей. Эта деятельность совершенно, казалось, не соответствовала характеру обязанностей, возложенных на Черевина. При Николае II перед коронацией дежурного генерала, которым был тогда уже Гессе, переименовали в дворцового коменданта. Должность эту последовательно занимали: Гессе, Трепов, кн. Енгалычев, Дедюлин и последним комендантом — Вл. Н. Воейков, сын Николая Васильевича, бывшего помощника Рихтера.

Черевин — веселый, забавный собеседник, всегда почти находившийся во дворце, под рукой, пользовался общим

расположением царской семьи. Над его явною слабостью к вину подтрунивали, но в особый грех эту гибельную склонность именно ему одному не ставили, точно придерживались русской пословицы — «пьян, да умен, два угодья в нем». В Черевина, видимо, верили как в лицо хорошо, основательно хорошо знакомое с тайными политическими организациями и со способами борьбы с ними. Быть может, составилось убеждение в его счастливой звезде, что он убережет.

Сколько я мог узнать из разговоров с близкими Петру Александровичу людьми, он делами вовсе не занимался, как будет разленился, а вернее, как умный человек, понимал всю тщету деятельности тайной полиции. «Как бы еще хуже не наделали!..»

Черевин по должности бессменно пребывал во дворце, в то время как государь жил в Гатчине, и потому имел случай более частого общения с ним, чем кто-либо из приближенных. Эта фактическая близость ставила его в глазах многих в особо привилегированное положение. Если прибавить опасения острого языка дежурного генерала, то станет понятным, почему к нему ежедневно тянулись на поклон именитые лица, служебные тузы. Не подозревали они, что своим забеганием давали прибавочный материал для колких выступлений Черевина, не стеснявшегося в своих характеристиках.

В Гатчинском дворце, в первом этаже кухонного каре, в небольшой квартире Черевина постепенно сорганизовался своеобразный клуб. Сюда заявлялись министры и другие особы, приезжавшие представляться императору или императрице; здесь же виднелись и простые смертные из тех, кто был по душе Черевину. Особую симпатию питал он к местному гатчинскому врачу Гаусману, большому весельчаку, но человеку себе на уме. Немало находилось среди высокочиновных людей таких, которые явно заискивали, добивались расположения к себе удалого доктора. Вероятно, Гаусман мог сделать карьеру, но ему не довелось дожить до своего расцвета, он умер в середине 80-х годов еще молодым человеком.

Черевин оказался большим хлебосолом, принимать гостей любил за завтраком. Ежедневно в его столовой собиралось много народа; ели сытно, пили сладко, и хозяину это было не накладно, так как все угощение, по требованию генерала, отпускалось из дворцовой кухни, буфета и погреба. Сначала Петр Александрович несколько стеснялся, приглашал к завтраку ограниченное количество гостей, а с течением времени, когда о его клубе стал шутливо расспрашивать и сам царь, то он вывел заключение, что получил разрешение, и перестал вести счет гостям. Но камер-

фурьер, заведовавший хозяйством, конечно, себя не обижал, счет вел, старательно подбирал ордера на отпуск угощенья, пользовались и маленькие служащие, подсовывавшие в удобный момент генералу ордера на отпуск вина или закусок. К нему шли завтракать так же без зова, запросто, как к былым тороватым московским вельможам являлись на обед без приглашения. Не знаю, какое получал жалование Черевин, надо полагать, небольшое, он не принадлежал к числу выпрашивавших себе прибавочные оклады; но, не преувеличивая, можно сказать, что стол его обходился Министерству двора дороже, чем стол собственно царской семьи.

Широко-барское черевинское гостеприимство послужило на пользу его заместителям. Благодаря именно ему их содержание, по сравнению с другими чинами, достигало сравнительно крупной суммы. Когда после смерти Черевина на его место назначен был скромный, тихенький генерал Гессе, то бывшее значение должности дежурного генерала сильно потерпело, а в области винно-продовольственной продолжало действовать правило «по примеру прошлых лет». У Гессе клуба не было, но он был семейный человеку вся семья с чадами и домочадцами по ордерам получала дворцовый стол, в общем расход на довольствие расценивался не менее, чем в сто рублей. Пока обратили внимание на это обстоятельство, прошло значительное время, которое в укладе дворцовых порядков служило залогом и дальнейшего пользования благами. После переговоров с Гессе вместо стола натурой ему стали отпускать тысячу рублей в месяц, что составляло в служебном мире крупную прибавку к основному содержанию.

Клуб Черевина, привлекая к себе именитых и серењких гостей и ввиду слишком смешанного, часто меняющегося состава политического значения не имел. Особы сдерживались. За столом слышались россказни о разных городских светских новостях, раздавались шутки и остроты. После завтрака большие господа, царские докладчики торопились на поезд в Петербург с портфелями, наполненными разрешенными докладами, торопились, чтобы пустить в ход канцелярскую машину для выполнения резолюций. Уезжавшие, однако, наматывали себе на ус крылатые словечки Черевина, а некоторым юрким людям удавалось за стаканом красного вина, сидя подле значительного официального лица, устроить свое дельце.

Черевин, приняв должность начальника охраны, пригласил к себе правителем канцелярии приятеля, очень любезного, всегда предупредительного Григория Ардальоновича Федосеева, но Ширинкин по-прежнему оставался главной пружиной управления.

Установилось как-то так, что подчиненные Черевина, по служебному положению и значению занимавшие весьма скромные посты, были вхожи запросто к Петру Александровичу, а Ширинкин держался в стороне и на завтраках в клубе не появлялся. У него была своя страсть — винт. С самого утра раздвигался зеленый стол, партнеры же всегда находились. У Ширинкина составился свой двор, к нему приходили за указаниями и разъяснениями все имевшие какое-либо отношение к полиции вообще и к охране дворцовой в частности.

Русская жизнь кипит неожиданностями. Казалось бы, где, как не в царской резиденции, должность полицеймейстера города должна была быть обслужена с особой, с чрезвычайной тщательностью. Александр III большую часть года проводил в Гатчине, летом переезжал в Петергоф. Кто же были здесь начальники полиции? Гатчинским полицеймейстером состоял старый полковник Бухмейер, бывший боевой кавказский офицер, артиллерист душою, человек безукоризненной честности, но больной психически. Ему противна была полицейская служба, в которую он запрягся по настоянию жены; он не мог помириться с тем, что ушел из артиллерии, мечтал о черном бархатном воротнике, о красных кантах, мечтал о генеральских лампасах. Когда приступы артиллерийско-генеральской мании особенно сильно охватывали его, он по собственной инициативе направлялся в психиатрическую лечебницу доктора Штейна на Васильевском острове, где и оставался месяц-другой, а потом вновь возвращался к исполнению своих обязанностей. Так шел год за годом, и он оставался полицеймейстером. Правда, жена его, почтенная, умная женщина, до замужества состояла камер-юнгферой покойной императрицы Марии Александровны, имела при дворе руку.

Бухмейер все-таки добился своего, его произвели в генералы с увольнением в отставку, а затем на короткое время, для мундира, благодаря великому князю Михаилу Николаевичу, [он] был зачислен по артиллерийским войскам. С тех пор до самой смерти старый кавказец почти ежедневно щеголял в генеральском мундире с тщательно завернутым золотым шитьем.

В Петергофе полицмейстерствовал полковник Вогак, также весьма старослуживый. Больным он не считался, но пользы от него, здорового, было мало. Ширинкин рассказывал, что, желая скрыть, куда собирается выехать государь, он приглашал Вогака и просил его не сообщать никому строгий секрет: «Цари едут в Бабигоны»[175][176]. Вогак никому не рассказывал, но с озабоченным лицом усердно раскатывал в дрожках на паре с пристяжной по этой дороге, делал замечания городовым «не

зевать», явно всем указывая, куда поедут «цари»; но в это время они уже были в Михайловском или на даче Ольденбургского. Трюк этот повторялся несколько раз с одинаковым успехом.

Глядя на шутливое отношение начальства к полицеймейстеру, можно было предположить, что он не сегодня-завтра уйдет в отставку. На его место являлись кандидаты, им обещали, предлагали подождать немного, но годы шли, а старик оставался на месте, не подавал прошения об увольнении, а наверху забавлялись его наивностью, жалели, и он продолжал оставаться во главе полиции царской резиденции.

На службе, да и в жизни вообще, умственная ограниченность, даже явная глупость далеко не всегда являются камнем преткновения для получения разных материальных благ. Некоторым из обиженных, казалось бы, судьбою даже помогает их придурковатость. Как это ни дико, но действительность свидетельствует непреложно. С этими лицами можно не церемониться, они готовы исполнить беспрекословно то, что другой ни за что не сделает, и к тому же люди эти не являются соперниками в служебной политической жизни. Последняя гарантия также ценится высоко.

По натуре своей устойчиво консервативный, не любивший перемен Александр III и по отношению к министрам держался той же системы, неохотно расставался с ними. Однако в начале царствования, когда он подбирал соответствующий своим целям персонал, встряска была произведена. Не мог оставаться сибарит Адлерберг, а тем паче либерал гр. М. Т. Лорис-Меликов и прогрессист гр. Д. А. Милютин.

Неизвестно, сколь искренне, сколь глубоко проникся существом либерализма сам Михаил Тариелович. Вся служебная жизнь его прошла на Кавказе, где он воевал, а больше управлял «туземцами», какими официально числились кавказские горские племена. Был губернатором Южного Дагестана, начальником Терской области, затем и при открытии турецкой войны назначен был командиром действующего Кавказского корпуса не за военные достоинства, а главным образом в предвидении умения его сговориться с пограничным армянским населением. Административная деятельность в отсталом культурно крае мало, казалось, подготовляла властного восточного правителя к восприятию западноевропейских форм государственного устройства. Но, неоспоримо, он обладал недюжинными способностями, понял, что правительство докатилось до тупика. Лорис-Меликов смекнул о необходимости очистить дорогу для политической жизни, для чего надо было снять стену, отделявшую правящую сферу от народа. Трагический конец

Александра II перемешал карты, разбил его планы.

В первые дни царствования Александра III Лорис-Меликов еще надеялся справиться с колебавшимся новым императором, видимо, опасавшимся сделать некорректный шаг по отношению к памяти погибшего отца. Увы, Победоносцев сумел внушить царю, доказать ему, что он совершит великий грех перед отечеством и династией, пойдя по тому пути, на который приглашал его ступить малосведущий в политической жизни Запада «кавказский губернатор», человек случайный. Стена осталась пока незыблемой, а Лорис-Меликов, двигаясь по инерции, стукнулся о нее, ударился больно и сошел с государственных рельсов. Разочарованный, больной, опальный уехал он доживать свои дни в Швейцарию.

На месте министра внутренних дел метеором пронесся гр. Николай Павлович Игнатьев. Чисто русский человек по происхождению, но по своей служебной дипломатической деятельности в Китае, в Азиатском департаменте и в Турции [он] невольно сроднился с азиатской политикой, как и его предместник. В самой наружности Николая Павловича сквозило что-то восточное; по мнению некоторых, он похож был на персидского шаха Наср-эд-дина. Трудно было ожидать, чтобы игнатьевская натура, его неточность, отсутствие прямолинейности, уклончивость могли ужиться с мировоззрением Александра III. Игнатьеву хотелось блеснуть, пустить фейерверк, свершить нечто новое, чудодейственное, а Катков с Победоносцевым, вдохновители царя, настаивали на том, что надо немедленно забрать вожжи покрепче в руки, взмахнуть кнутом и гаркнуть грозно: «Сторонись!» При всех своих дипломатических способностях и при большом опыте Игнатьев не расценил создавшегося тогда положения в Петербурге. Он ловко подставил, что называется, ножку *«Священной дружине»,* но и ему от этого выпада не поздоровилось. Наивная организация действительно кувыркнулась, однако члены ее не остались в долгу у Игнатьева, скулили, обвиняли министра, приписывали ему разные грехи вроде ходячего неправдоподобия и чисто кулачески-прижимистого сколачивания материальных средств.

Славившийся тогда остроумием Никита Всеволожской, красавец конногвардеец, проживавший остатки огромного состояния, баловался иногда стихами. Вот что он оставил потомству на память о деятельности *«Священной дружины»:*

Печальный Костя[177], дух унынья,
Сидел в яхт-клубе на Морской.

«"Святой дружины" я твердыня!» —
Так думал он, томим тоской.
Те дни, когда в столице этой
С ума сводил городовых,
Те дни могли служить приметой
Последствий тяжких, роковых.
И все в его уме блуждал
Тот факт, когда арестовал
Он вместо революционера
Дворцовой роты гренадера.
Могу сказать без всякой злобы
С ума тут спятил кстати Боби[178],
Но вскоре химия спасла,
С тех пор он взял пример с посла.
Тогда здесь Павел Сан-Донато[179]
У соплеменника Пивато
Святых агентов созывал
И им возмездье раздавал.
Когда за царской колесницей
Тянулись длинной вереницей
Кавалергарды и конвой,
И Гольм[180], нотариус биржевой.
Что если б Грессер[181], проезжая,
На них в то время бы взглянул,
Была б потеха не такая,
Он всех разнес бы… и вздохнул…

Всеволожский ошибался, предполагая, что сметливый Грессер разогнал сам «Дружину». Нет, храня себя, он поступил бы осторожнее и не стал бы дразнить тех больших баричей, о которых упоминается в приведенных стихах. Конечно, *«Священная дружина»* и без активного на нее воздействия быстро сама бы рассыпалась, так как являлась организацией экзотической, совершенно не соответственной петербургским светским нравам. Временно, на месяц-другой, не более, хватило бы усердия и желания непосредственно нести полицейские обязанности, а дальше опустились бы руки, постепенно бы все разбрелись.

Устранение *«Священной дружины»* было, правда, лишь одним из эпизодов политики Игнатьева, и не от этого именно свалился Игнатьев, но это является иллюстрациею к его плохой деловой ориентировке.

Ближайшим сотрудником гр. Игнатьева в его внутренней

политике явился Дмитрий Иванович Воейков, правитель канцелярии министра. В частной жизни милый, обязательный, симпатичный знакомый, но трудно себе представить человека более не подходившего к светско-бюрократическому правящему кругу. По рассеянности, по откровенным разговорам, по экзальтированности и по самой внешности, по режущим глаза дефектам костюма он напоминал какого-нибудь ученого-чудака, а не петербургского влиятельного чиновника, оберегающего прежде всего свой престиж, дипломатически отмалчивающегося. Дмитрий Иванович то громогласно развивал планы о сближении правительства с общественным представительством, то дружески шептался, и притом на виду у других, со знаменитым жандармом Судейкиным. Политической прозорливости этого случайного человека он придавал большое значение, чуть не кричал об этом.

Глядя на суетившегося Воейкова, размахивавшего мягкими-мягкими кистями рук, опытные петербургские служаки установили недолговечность игнатьевского министерства и нисколько не были удивлены, когда в докладной день по Министерству внутренних дел в министерский вагон гатчинского поезда секретарь Романченко сопровождал не улыбающегося, раскланивающегося гр. Игнатьева, а застывшую, с холодным взором фигуру гр. Д. А. Толстого, казалось, так глубоко провалившегося в последние годы царствования Александра II. Победоносцев купно с Катковым откопали его, заморившего зеленую молодежь псевдоклассической системой, обратившего русскую школу вместо светлого, привлекательного приюта, каким она должна быть, в своего рода инквизиционное учреждение, откуда огромному большинству детей и юношей хотелось бежать и бежать. Катков и Победоносцев нашли в нем именно то, что искали, а именно человека, взявшего на себя обязанность подтянуть и связать уже не школьников, а всю Россию поголовно.

Иван Александрович Всеволожской, директор императорских театров[182] и вместе [с тем] талантливый карикатурист в одном из своих набросков интересно изобразил внутреннее политическое положение России. По бурному морю носится лодка с надписью на носу *«Россия»,* на руле стоит Победоносцев в адмиральском[183] сюртуке с архиерейской митрой на голове, на веслах сидят Толстой, Катков и Делянов. Первые два гребут, напрягая видимо все силы, обливаются потом, третий — лукавый раб — украдкой оглянулся и, заметив, что взор рулевого блуждает в пространстве, еле-еле болтает веслом.

Плавание России при Александре III происходило без всякого влияния на политический руль царицы или кого-либо из членов императорской фамилии, а тем паче приближенных придворных.

Политику во всем ее объеме в первую половину царствования делала команда победоносцевской лодки *«Россия»;* затем стал вырастать новый большой деятель — Сергей Юльевич Витте[184].

Кто был наиболее приближенное лицо к Александру III? На этот вопрос трудно ответить. В смысле приятельских отношений, по отзывам дворцовых хроникеров, царь особенно отличал гр. Воронцова-Дашкова, кн. Вл. Серг. Оболенского, Влад. Алекс. Шереметева, кн. Вл. Анат. Барятинского, гр. С. Дм. Шереметева. Из всех этих лиц один гр. Воронцов занимал положение государственного сановника. Кн. Оболенский исполнял парадную, но по существу дела скромную должность гофмаршала, кн. Барятинский заведовал императорской охотой, а гр. С. Д. Шереметев совмещал должность московского предводителя дворянства с заведованием придворной капеллой.

Как из личных отношений с ними, так и по отзывам сослуживцев, я вынес впечатление об их истинной порядочности, милом добродушии, готовности оказать услугу и отвращении к интригам. Случалось, пробегала между ними черная кошка в виде какой-либо особы не из их числа, но то, что принято называть «придворными интригами» совершенно было чуждо этой группе наиболее близких к царской семье лиц. По моему убеждению, двор Александра III держал себя корректно, не замечалось попыток, так укоренившихся впоследствии, вмешательства в политическую жизнь государства.

Интимно-приятельский кружок был совершенно обособлен от активных государственных деятелей; даже Рихтер и Черевин не считались своими в этой семейной среде, сгруппировавшейся еще задолго до вступления на престол Александра III. Наиболее приближенный, друг царя гр. Воронцов, по собственному его признанию, не мог иметь влияние на ход государственных дел вне своего ведомства, где ему предоставлялось быть полным, бесконтрольным хозяином. Многое в нашей внутренней политике коробило его, человека с западноевропейским умственным кругозором, но он пришел к заключению, что все его старания приоткрыть перед царем завесу, закрывавшую картину общественного настроения, пропадали попусту; во дворце для постановки на сцену политических пьес был специально ангажированный режиссер — Победоносцев, ему доверяли, как пифии, он изрекал директивы, от которых страшились отходить.

Быть может, гр. Воронцов не мог оказать заметного влияния на ход событий по своему характеру, лишенному боевых элементов политического руководителя. При вполне определенно установившейся самостоятельности он избегал борьбы, избегал не из боязни опасности, а по какой[-то] прирожденной

конфузливости.

От поры до времени, впрочем, гр. Воронцов выходил из пассивного политического положения, выступал с активным протестом. Так случилось, например, по поводу законопроекта об организации земских начальников. Он нашумел тогда очень обстоятельной запиской, о которой я уже упоминал. Голос его, вместе со многими другими, не убедил царя. Представление министра внутренних дел получило санкцию.

Мне не случалось встречаться с черствым гр. Дм. А. Толстым, но его заместителя, благодушного Ивана Николаевича Дурново [я] видел довольно часто у Воронцова. Бывший артиллерийский офицер, а потом помещик, предводитель дворянства, он сроднился с традициями старого барина, не отличал, по-видимому, суда от административной расправы, руководился больше обычаями и «взглядами», а не законом, стоял за то, что народ необходимо подтянуть, но не прочь был и помазать по губам в виде оказания какой-либо «милости».

Дм. А. Толстого нельзя было причислить к выдающимся государственным деятелям, но у него выкристаллизовались определенные планы спасения на свой лад и молодого русского поколения, и всей России вообще. В проведении усвоенной им системы, как учебной, так и внутреннего управления страной, он проявлял суровую, неослабную настойчивость. Он представлял собою воплощение жестокого теоретика, убежденного, что сам народ не знает своих истинных потребностей, не может судить, что для него полезно, что вредно, а вот он, Дмитрий Андреевич, додумался до изобретения спасительных рецептов, правда, не без помощи Каткова и Победоносцева, но в своей собственной редакции. И этого страшного, воистину страшного упрямца заместил покладливый, уживчивый, обязательный, любезный, заботливый почетный опекун Иван Николаевич Дурново.

Казалось, можно было вздохнуть полной грудью. Ничуть не бывало. Борьба за политические идеалы, выявление общественности нисколько не облегчилась, становилась даже труднее. У резкого, угловатого, определенного в политике Толстого было за что, так сказать, схватиться, было на что указать, а у широко, благодушно улыбающегося Ивана Николаевича отмечались разве только хорошо расчесанные баки, остальное все расплывалось в общих выражениях и находило лишь соответствующие рамки в департаментах и отделах…

Для борьбы, в особенности вне парламентской широкой арены, вдали от гласности, большое значение имеют раздражающие индивидуальные приметы. Иван Николаевич их не имел. Он весь был соткан из благополучия и благодушия.

Знаменуя собою внутренний строй России, он одним своим появлением действовал как прием валериановых капель на главу государства; надо полагать, у царя становилось на душе спокойнее при виде министра, всем своим существом рапортовавшего о благополучии. Общественным же деятелям казалось недопустимым, чтобы этот недалекий барин мог вершить политикой, конечно, он лично не при чем. В результате Иван Николаевич процветал.

Однако гр. Воронцову-Дашкову, как министру двора, пришлось столкнуться с любезнейшим Дурново. Граф стремился организовать колонизацию в огромный Алтайский округ, богатый непочатыми земельными залежами и огромными лесами. Для введения в правильные рамки беспорядочного крестьянского движения на «вольные земли» затрачены были значительные средства на подготовительные работы по землеустройству, приглашены для ведения дела энергичные, толковые земцы.

Тяга на Алтай чрезвычайно усилилась. Дурново всполошился: кто же будет работать у помещиков?! Крестьяне-де бросают свои насиженные места, целыми деревнями заколачивают свои дома и валом валят в Сибирь. Вслед за словесными опасениями последовало и административное воздействие. Вместо организации землеустройства в государственном масштабе посыпались всякие стеснения вплоть до полного запрета переселения. Ведомственная переписка не могла помочь горю, но жизнь сама справилась с затруднениями. Алтайские земли казались такой приманкой, что никакие запреты и загородки не могли задержать хлынувшей туда стихийной волны переселенцев. Правительство волей-неволей принуждено было считаться со свершившимся фактом и приняться за землеустройство уже осевших на Алтае крестьян. Благоприятный подготовительный период был безвозвратно упущен. Воронцов и его ставленники на Алтае горели желанием послужить народу, устроив жизнь переселенцев на правовых началах, а не в роли своего рода крепостных у местных «старожилов», захвативших в свое пользование огромные участки земли, а Дурново скорбел о симбирских, пензенских и украинских помещиках, лишавшихся дешевой рабочей силы. Понять друг друга было трудно.

Изредка у Воронцова появлялся Победоносцев. Тощий старик с острым носом, с большими очками в черной оправе, такой высушенный, пергаментный, не мог приезжать для беседы по душе. Они друг друга недолюбливали, но ведомственных споров, конечно, не могло быть, так как точек соприкосновения не имелось. Однако Константин Петрович все-таки умудрился уколоть Министерство двора, добился отмены спектаклей в

великом посту. Сценическое искусство ему было не чуждо; театральное начальство удостоверяло, что бесстрастный аскет не пропускал балетных спектаклей с участием знаменитой балерины Цукки.

Победоносцев считался образцовым стилистом в составлении манифестов; государь посылал [их] на его редакцию и обыкновенно соглашался со всеми поправками строгого цензора.

Мне не раз приходилось беседовать с Константином Петровичем, встречаясь с ним в пустынных аллеях царскосельского Александровского парка. Он обыкновенно останавливал меня, обменивался впечатлениями дня. Раза два-три пришлось с ним поговорить более основательно. В его глазах все было скверно. Скептически относился он к русской интеллигенции, корил ее в невежестве и распущенности; считал русских дикарями по сравнению с западноевропейцами. Не раз я слышал от него, что он, о влиянии которого рассказывают-де такие небылицы, в сущности, не может устроить самого пустяшного дела вне своего ведомства. Совершенно серьезно просил меня оказать протекцию некоторым лицам. Не думаю, чтобы он рисовался; Победоносцев, думается мне, сам не отдавал себе точного отчета о степени своего влияния на внутреннюю русскую политику.

Вся его сухость, скрипучесть брюзжания моментально исчезала при появлении детей. Константин Петрович, сам бездетный, обожал малышей, в кругу их становился ласковым баловником-дедушкой. В карманах его поношенного черного сюртука всегда припасены были конфеты, царскосельские дети это знали и охотно дружили со стариком. Пергаментное лицо согревалось доброй улыбкой, становилось приятно наблюдать за ним, оживленно беседовавшим с Верочками, Лизаньками, Петями и Колями. Дети не стеснялись, шумели, весело щебетали. Глядя на него в эти минуты, трудно было представить себе, что именно вот этот тщедушный, ласковый старичок и есть тот самый Победоносцев, вокруг которого Русская земля вертится.

Встает передо мною характерная фигура Константина Петровича, притулившегося с книжкой в руках в углу глубокой старинной садовой скамьи. Завидев меня, приглашает присесть. Разговорились. Собеседник он был интересный, в аттестациях не стеснялся. Скрипучим голосом костил наши порядки.

— Константин Петрович! Ведь от вас же самого зависит многое, — вставил я свое замечание.

— Да, хорошо многое… Вот несколько раз твердил Ивану Николаевичу[185], просил его устроить врачом в округ Воспитательного дома одного хорошего человека. Обещал,

обещал, а сегодня узнаю — назначен другой.

— Вы бы Василию Васильевичу Сутугину[186] сказали. Он, кстати, живет у себя на даче в Царском.

— Сутугину? А ведь правда!..

Со стороны глядя на высокое положение министров, можно было думать, что достаточно пальцем было шевельнуть, и желание их тотчас будет исполнено. На деле же это выходило не совсем так. В каждом ведомстве «столоначальники» в конце концов брали верх, выставляя разного рода затруднения для проведения в жизнь распоряжений министра. Назначения на вакантные должности, казалось, всецело были в руках высшего начальства, захотел и сделал. Ничуть не бывало. Задолго еще до очищения вакансии шла подготовительная работа; намеченное лицо прикомандировывали, давали соответственные поручения, обставляли дело так, что министру, не желавшему вызвать упрек в произволе, приходилось соглашаться с представлением и отодвигать своего кандидата.

В самое последнее время царствования Александра [III] влияние Победоносцева стало заметно падать, а когда царь заболел, то Константину Петровичу не удавалось проникнуть к нему. Напрасно он приехал в Ялту осенью 1894[187] года, ждал, что его призовут запечатлеть последнюю волю умирающего императора; о нем как будто забыли. Даже после смерти Александра III, когда под рукой не было сколько-нибудь осведомленного в законах человека для составления столь важного государственного акта, как манифест о вступлении на престол, не призвали Победоносцева, а поручили написать храброму князю Вяземскому-удельному.

С военным ведомством Министерству двора приходилось часто входить в тесное общение, приходилось и мне довольно близко познакомиться с Петром Семеновичем Ванновским. Назначение [его] в 1881 году на должность министра вместо популярного Дм. Ал. Милютина встречено было в общественных кругах с удивлением, неприветливо.

Ванновский окончил курс 2-го московского кадетского корпуса, служил до чина полковника в л. — гв. Финляндском полку, потом назначен был начальником Офицерской стрелковой школы, директором кадетского корпуса и, наконец, начальником вновь создававшегося Павловского военного училища. На этой должности он стал заметной в военных сферах фигурой. Учебное заведение, которое пришлось ему организовать, являлось новым типом военной школы, и от начальства зависело установить целесообразный режим, отвечающий новым требованиям. Ванновский сумел подобрать хороший персонал преподавателей

и строевых офицеров, не стеснялся сам приняться за учебники, посещал лекции не для контроля других, а для собственного поучения, требовательно относился к подчиненным, но зато и сам был образцом исполнительности и точности. Порученное ему дело выполнял с отменной добросовестностью. Маленький пример. Как-то на разводе с церемонией Александр II сказал Ванновскому, что приезжий иностранный высокопоставленный гость хочет посмотреть бывший дворец кн. Меншикова, в котором тогда помещалось Павловское военное училище. При этом император прибавил: «Покажи ему обстоятельно музей, он интересуется стариной». Ответное «Слушаю, Ваше императорское величество» было выражением действительного послушания, он счел долгом буквально выполнить приказание, лично показать принцу достопримечательности музея, хотя французским языком владел далеко не свободно. Ванновский поручил заведующему музеем фон дер Вейде составить записку на французском языке, за изучение которой и принялся генерал. Через несколько дней приехал государь с иностранцем, и начальник училища давал отчетливые, основательные объяснения о всех коллекциях на французском языке.

Павловское военное училище поставлено было им образцово, но с начальником Главного управления военно-учебных заведений генералом Н. В. Исаковым он не поладил, просил дать ему дивизию и уехал в Киевский военный округ. При формировании армейских корпусов незадолго перед турецкой войной Ванновский получил один из них в командование. На театре военных действий ему пришлось занять должность начальника штаба Рущукского отряда, во главе которого поставлен был цесаревич Александр Александрович. Петр Семенович в Генеральном штабе никогда не состоял, даже в Академии не был, а потому такое назначение казалось совершенно несоответственным. Видимо, тут не обошлось без воздействия и предстательства бывшего однополчанина по Финляндскому полку, начальника Киевского военного округа генерал-адъютанта Дрентельна, очень почитаемого наследником цесаревичем, при котором, в бытность Александра III начальником 1-й гвардейской дивизии, состоял официально как помощник, а фактически дядькой-руководителем.

Пост начальника штаба, помимо существа дела, весьма показной, но и опасный в смысле личных отношений с главным начальником — необходимо, чтобы люди спелись, симпатизировали друг другу. У Александра III до вступления на престол было четыре начальника штаба. Первый — еще в штабе дивизии — полковник Любовицкий. Наставительной, менторской

манерой он не только не подчинил своему влиянию молодого великого князя, но решительно вооружил против себя. Затем, по Гвардейскому корпусу — гр. Воронцов-Дашков, отношения с которым сложились гораздо раньше и не на официальной платформе. В Рущукском отряде Ванновский своей точностью, добросовестностью, исполнительностью, умением держать себя с достоинством, но не вылезая вперед, не поучая, очень понравился. За несколько месяцев войны доверие к нему настолько укрепилось, что при отставке Милютина он оказался первым кандидатом на пост военного министра.

Четвертый и последний начальник штаба — генерал-адъютант Розен-бах — в бытность цесаревича главнокомандующим войсками Петербургского военного округа. Он также не состоял в Генеральном штабе и в Академии не был. Розенбах славился в гвардии как хороший хозяин, образцовый командир л. — гв. Павловского полка. Известен также был своими ранами. Во время Польского восстания и под Горным Дубняком в Турции ранен был в живот. Раны, казалось, смертельные, но он легко выправился. Способностей государственных не проявил. Про него рассказывали, будто бы он при воцарении Александра III, как начальник его штаба, считал долгом заготовить проект манифеста, который и составил, начав его следующими словами: «Вступив сего числа на прародительский престол, предлагаю всем начальникам отдельных частей обращаться по делам службы». Впоследствии Розенбах занимал должность генерал-губернатора Туркестана, где оставил по себе слабый след.

Ванновский состоял во главе военного ведомства в продолжение всего царствования Александра III и затем оставался около трех лет при Николае II Его активная государственная деятельность на этом не оборвалась, он, уже в преклонном возрасте, был призван управлять Министерством народного просвещения. Деятельность его на этом посту продолжалась недолго, но осветила личность Ванновского как человека, желавшего вникнуть в нужды русской школы, раскрепостить ее от формального, департаментского гнета.

Старательно подобранная фигура Петра Семеновича, строгое выражение лица, усиливавшееся блеском очков, экзаменаторская манера говорить — все это вместе придавало ему с внешней стороны вид начальника сухого, черствого. Такая слава и установилась за ним, хотя в частной жизни он являлся отзывчивым, доброжелательным человеком. Реформа военно-учебных заведений, в смысле возврата к старому кадетскому режиму, также не способствовала к приобретению популярности министра, принявшегося за переделку лучшего из милютинского

творчества.

Тем не менее, с течением времени в военном ведомстве поняли, что наименование «каптенармус», которое ему присвоили штабные острословы, совершенно неправильно характеризовало личность Ванновского. Он оказался просвещенным администратором, притом прислушивающимся к голосу военной науки. На посты наиболее выдающиеся — начальников Главного штаба и канцелярии Военного министерства — он пригласил Н. Н. Обручева и П. Л. Лобко. Оба они, заслуженные профессора Академии Генерального штаба, пользовались большою популярностью, как выдающиеся авторитеты. В заслугу Ванновскому надо поставить его неуклонное стремление избавить государство от невоенных военных и от фаворитизма при назначениях. Пользуясь полной поддержкой Александра III, он решительно принялся за очистку армии от тех лиц, которые лишь числились в военных чинах, носили эполеты, но с войсками общения не имели, что, однако, не мешало им при удобном случае получать назначения, сопряженные с командованием войсками. Надо отдать справедливость министру, он не постеснился начать эту операцию с царской свиты. Целые пакеты свитских генералов и флигель-адъютантов, считавших себя навеки забронированными, уволены были в запас, причем, конечно, лишились вензелей и аксельбантов, взамен чего погоны их украсились тонким поперечным галунчиком, получившим прозвища «бандероли» и «ванновки». Сколько тогда в светских кругах было шума, сколько негодования!..

Ванновский решительно ополчился против протекционизма и произвола при назначениях, но вместе с тем ударился в другую крайность — стремление свести права к порядковому «старшинству» и к обязательному «цензовому» прохождению служебных этапов. Он надеялся проведением в жизнь цензовых правил «обвоенить» офицерский корпус, «остроевить» старший персонал. Опыт показал жестокую опасность для армии от таких педагогических приемов для перевоспитания небоевых элементов. Вряд ли они сами закалились, но уже несомненно в ряды войск боевой дух внести не могли, не сделали, по своей строевой отсталости, ничего и для технического прогресса армии. Неуклонное применение мерки старшинства и ценза открыло право на движение вверх по иерархической военной лестнице таким лицам, которые, отвечая формальным условиям, не удовлетворяли требованиям самого существа военного дела. Старшинство и пресловутый ценз вели к одряхлению наш командный персонал. Немало способных военных, подвигаясь черепашьим [шагом] к занятию сколько-нибудь ответственных

должностей, теряли энергию, распускались по русскому обычаю, другие бросали военную службу, пристраивались к частной предприимчивости. Установленный, чуть ли не автоматический порядок движения по службе способствовал к засилью, к переполнению ответственных командных должностей выносливыми посредственностями. Выдающиеся способности, даже таланты не отличались, не принимались меры к старательному, систематическому их отбору, они оставались в общей гуще и бесследно таяли. Наши неудачи и на Дальнем Востоке, и [в] великой войне[188] во многом зависели от крайне неудачного состава старших начальников, зарекомендовавших себя боевой безграмотностью, отсутствием инициативы и решимости.

Как ни старался Ванновский изгнать протекционизм, но при назначении на командные должности в гвардии должен был уступать желаниям местного главнокомандующего, великого князя Владимира Александровича, а вернее, его суфлера, начальника штаба округа Николая Ивановича Бобрикова. В светских кругах мало интересовались назначением не только командиров армейских корпусов, но даже и командующих округами, командиры же гвардейских полков все были на виду и на счету, почему в Петербурге и не ощущалась особенно заметно сильная правящая рука Ванновского.

Предместник Петра Семеновича гр. Милютин, этот большой человек, не особенно покровительствовал людям инициативы, людям с броскими способностями. Собственно в строевой состав армии он мало вмешивался, да и при нем, вплоть почти до турецкой кампании, начальники дивизий представляли собою высший предел чисто строевого иерархического движения. Милютину ставили в укор загубленную карьеру Черняева. Завоеватель Туркестана, выйдя в отставку, не молчал, насколько позволяли цензурные условия того времени, выступал в печати, критиковал милютинскую систему «огражданивания армии». Газета Черняева и Комарова *«Русский мир»,* однако, успеха не имела. Личное раздражение слишком заметно выступало, да и публицистического таланта не оказалось.

У Милютина был более влиятельный критик — это бывший его начальник и покровитель фельдмаршал кн. А. И. Барятинский, бывший наместник на Кавказе, удалившийся на покой вследствие интимной истории[189]. Пользуясь дружеским расположением Александра II, он старался всемерно выдвинуть Милютина, своего начальника штаба на Кавказе. Он несколько раз специально командировал его из Тифлиса в Петербург к государю с непосредственными докладами, давал ему

возможность выявить свои выдающиеся дарования во весь рост. В опубликованных письмах Барятинского к Александру II фельдмаршал горячо рекомендует Милютина, обращает внимание императора на исключительные способности и заслуги своего начальника штаба. Когда же Милютин с помощью князя был назначен сначала товарищем министра, а потом и министром, то при проведении в жизнь предложенных им преобразований он встретил отпор именно со стороны кн. Барятинского. Возникли трения, недоразумения. Надо полагать, в этой неожиданной распре двух почтенных, друг друга уважавших людей активную [роль] играл генерал Р. Фадеев, близко стоявший к Барятинскому, а по своему мировоззрению — ярый противник прогрессивных устремлений 60-х годов, в том числе и милютинских.

Фадеев стоял на том, что реформы поведут к развалу армии, восставал против самодержавия военного министра, добивался разделения военного ведомства на хозяйственно-заготовительную часть, подчиненную непосредственно министру, и чисто строевую, возглавляемую вполне самостоятельным начальником Главного штаба его величества, как это было во времена Александра I.

При посредстве кн. Барятинского эти соображения доходили до Александра II, но в письменном виде, сам же фельдмаршал в Петербург не показывался, виделся с императором редко и потому не мог активно поддерживать оппозицию. Милютин продолжал вести свою линию. При новом царствовании, с назначением Ванновского, вновь вспыхнул боевой огонь генерала Фадеева. Впрочем, он оставался в тени, руководил за спиной видных персон. Кроме Барятинского, он до некоторой степени успел завербовать в свой лагерь гр. Воронцова-Дашкова. Атака была поведена на организацию Военного министерства. Собрана была особая комиссия для рассмотрения этого вопроса. Так как кн. Барятинский, страдавший приступами подагры, не хотел или не мог приехать в Петербург, то потревожили покой также отдыхавшего на лаврах гр. Коцебу, бывшего варшавского генерал-губернатора. В комиссии принимали участие: Ванновский, гр. Воронцов-Дашков, Обручев, Драгомиров и кн. Имеретинский[190].

Под председательством одряхлевшего гр. Коцебу занятия комиссии застопорились, а Ванновский воспользовался задержкой, свел работы на нет, сумел покончить с ней, покушавшейся на сильное урезывание пределов его власти.

Позволю себе наметить продолжение этой незаконченной истории. Впоследствии, в царствование уже Николая II, стремление к разделению военного ведомства вновь проявилось.

На этот раз выдвинуто было предложение об обособлении собственно Генерального штаба по немецкому образцу. Инициатором явился генерал Палицын, начальник штаба генерал-инспектора кавалерии великого князя Николая Николаевича. При мощном содействии последнего проект осуществился. Произошла эта операция во время войны[191], когда, казалось бы, не до ломки центральной организации. Управлявший в то время Военным министерством генерал Сахаров, «китаец», как его называли товарищи, не разделял взглядов Палицына, ему пришлось сдать портфель более на этот раз сговорчивому кандидату, генералу Редигеру, бывшему до этого момента начальником канцелярии Военного министерства. Во главе отделенного Главного управления Генерального штаба поставлен был инициатор реформы Палицын. Нет сомнения, что в теории было многое за такую организацию, но применительно к русскому обиходу, к русским натурам, склонным к розни, автономия Генерального штаба оказалась мертворожденной.

Реформа лезла по шву. Палицына скоро сменил смелый кавалерийский наездник генерал Сухомлинов, который сумел быстро овладеть доверием царя, а вместе с тем и легко добиться воссоединения расторженных частей снова в одно цельное ведомство. На посту, занятом когда-то такими солидными, уравновешенными деятелями, как Милютин и Ванновский, загремела лихо спущенная до пола сабля ухаря, корнет-министра Сухомлинова.

Возвращаюсь снова к Ванновскому. Ему удалось достигнуть распространения полной компетенции министра на два почти автономных главных управления, Артиллерийское и Инженерное, во главе которых церберами стояли генерал-фельдцейхмейстер Михаил Николаевич и генерал-инспектор инженерной части Николай Николаевич старший. Великие князья, пользуясь своим исключительным положением, бронировали эти два огромных управления от непосредственного влияния военного министра. Ванновский повел решительную атаку. Николай Николаевич, больной и не в милости у царя, не был опасен, зато «дядя Миша» представлял собою крепкий оплот артиллерийской позиции; однако маленький, седенький генерал с остро-строго блестящими очками победил величественного великого князя, заставил его капитулировать.

Справившись с военно-удельным, так сказать, периодом, Ванновский стал править министерством вполне самостоятельно. Из всех министров, избранных Александром III, он дольше всех оставался на своем посту, перейдя от отца к сыну, с которым работал три года. Помню, как Петр Семенович был неприятно

поражен неожиданным увольнением гр. Воронцова-Дашкова. Он чувствовал, что и ему при сложившихся обстоятельствах не усидеть на месте, стал проситься на покой. Его не пускали.

При Николае II великие князья, так боявшиеся Александра III, подняли голову, стали вмешиваться в дела. Ванновский старался их не допускать, но поддержки в этом отношении у Николая II не находил. Безответственное влияние стало все более и более расти, действуя разлагающе на установившийся правопорядок. Не имея возможности справиться с великими князьями, Ванновский усиленно стал просить отпустить его на покой. Он советовал назначить министром генерала Обручева, а на его место, начальником Главного штаба — Куропаткина, который тогда начальствовал Закаспийской областью. Ванновский находил, что последнему необходимо еще получиться, ранее чем принимать министерский портфель. Такая комбинация была принята. Обручев был уверен в своем назначении министром, но неожиданно непосредственным заместителем оказался Куропаткин. Обиделся Ванновский, а еще более Обручев; он тотчас же подал рапорт об освобождении его от должности начальника Главного штаба. Обручев совмещал эту должность со званием члена Государственного совета.

5

Болезнь и смерть Александра III. Манифест о вступлении на престол. Перевезение тела императора. Отношения Александра III к дворцовому хозяйству. Новое царствование. Коронация 1896 года. Бюро корреспондентов. Н. И. Оприц. А. П. Аршеневский. Ходынка. «Русская неделя» во Франции. Отставка гр. Ил. Ив. Воронцова-Дашкова.

Могучая фигура Александра III ярко свидетельствовала о физической его силе. По рассказам гр. Воронцова-Дашкова, в близком кружке к императору несколько человек отличались незаурядно развитыми мускулами, упражнялись в поднятии тяжестей и в других гимнастических манипуляциях. Только один Владимир Алексеевич Шереметев мог соперничать с Александром III в этом спорте. Жизнь вел царь в гигиеническом отношении правильную, излишествам никогда не предавался, женился рано и семьянин был примерный, алкоголем никогда не увлекался — вина пил немного, ежедневно делал пешком большие прогулки и, кроме того, нередко пилил дрова, разгребал в парке снег. Однако ни могучая структура, ни правильный режим не гарантировали здоровья. На сорок девятом году от рождения Александр III стал заметно таять. Летом 1894 года в Петергофе отпраздновали свадьбу великой княжны Ксении Александровны с [великим князем] Александром Михайловичем; в местном театре, художественно декорированном снаружи трельяжем, состоялся парадный спектакль. Когда император вошел в ложу, то соседи мои и я были поражены его болезненным видом, желтизной лица, усталыми глазами. Заговорили о нефрите.

Лечил царя профессор Захарьин, причем он только наезжал из Москвы, при дворе же постоянно оставался ассистент его Попов. В бытность Александра III наследником, а затем и по воцарении, постоянным домашним врачом состоял лейб-хирург[192] Гирш, весьма почтенный человек, но мало популярный доктор. Уверяли, будто император дал ему такую аттестацию: «Он знает, когда нужно позвать врача». Осенью 1894 года двор предполагал задержаться в Беловеже, но Захарьин настоял на переезде в Крым, в Ливадию, откуда зимой намечен был дальнейший южный этап — Корфу.

Болезнь почек, однако, развивалась усиленным темпом. Гр. Воронцов-Дашков вызвал меня по делам в Крым в самом начале октября.

В Ливадии ходили повеся нос, толковали о поездке в Корфу и

о сопряженных с этим неудобствах в ходе государственных дел, предполагалось организовать нечто вроде регентства. Я остановился у Плеца в Ореанде и пробыл всего три дня.

Среди служащих, в связи с болезнью государя, шли разговоры о выгодной позиции, занятой неожиданно новым управляющим генералом Евреиновым, заменившим Плеца. Очень прилежный, исполнительный делопроизводитель канцелярии Военного министерства, офицер Генерального штаба, мягкий человек, по рекомендации Гудима-Левковича назначен был в Ливадию. Канцелярская деятельность вредно стала отзываться на здоровье, и он принял должность, казалось, совершенно не соответствовавшую прежней кабинетной его деятельности. Немудрено, что не все у него шло гладко, хотя он и проявлял лихорадочную хлопотливость, стремился уследить за всем. Дух дворцовых порядков ему был мало известен, и он своими распоряжениями нередко попадал впросак. Болезнь императора неожиданно помогла Евреинову укрепить свое положение. Узнав, что Александру III опротивело дворцовое меню, он простодушно предложил доставлять ему стряпню своей кухарки, предложение приняли, государю понравились простые блюда, императрица не знала, как и благодарить генерала.

Впоследствии, при Николае II, или, вернее, «при Александре Федоровне», у Евреинова стали выходить неприятности, пришлось искать иного прибежища. Императрица Мария Федоровна не забыла ливадийских услуг ее покойному мужу и устроила милейшего хлопотуна Евреинова почетным опекуном.

Перед самым моим отъездом Воронцов как-то нерешительно сказал мне: «Все в руках Божиих, быть может, государь и не поправится, надо бы подумать о манифесте… Вы в Петербурге займитесь этим и по телеграмме немедленно выезжайте сюда». При императоре не было и признака какой-нибудь организации в виде секретариата, хотя бы для регистрации докладов, поступавших в обилии ежедневно. Он сам должен был разбираться в куче бумаг, наблюдать затем, чтобы не залеживались, запечатывать в конверты и через камердинера отдавать фельдъегерю, который и доставлял по назначению пакеты. Неудобство такой системы особенно давало себя чувствовать при долговременных отсутствиях императора из Петербурга; не было лица, к которому можно было обратиться за справками по докладам. Видимо, и цари, и министры боялись учреждения должности активного статс-секретаря его величества, боялись потому, что при самодержавии он силою вещей легко мог превратиться во временщика. Существовала Собственная его величества канцелярия. Казалось бы, это учреждение специально

предназначено было для выполнения секретарских функций, но в действительности она занималась совершенно непроизводительным делом проверки представлений к наградам гражданских чинов, являлась Инспекторским департаментом гражданского ведомства. Статс-секретари его величества, вместо исправления наделе секретарских обязанностей, занимали различные видные государственные посты, и самое звание статс-секретаря обратилось в почетный титул, и только[193].

Аккуратный Александр III, несмотря на тяжкую болезнь, продолжал заниматься докладами, разбирал бумаги до поздней ночи, некому было помочь ему. Некому было в экстренном случае составить указ или манифест общего государственного значения, а не узко дворцового.

17 октября получена была мною срочная телеграмма о выезде в Крым. В тот же день с курьерским поездом я выехал, захватив с собою бумаги, о которых говорил министр. Не доезжая Тулы, наш поезд застрял в снегу. Пронеслась по центральным губерниям ранняя снежная буря, захватила врасплох железные дороги, навалила огромные кучи снега. Сутки стояли мы в поле. По счастью, у соседа моего по купе, Николая Сергеевича Мальцева, запасливого путешественника, оказался погребец со спиртовым кофейником и необходимыми принадлежностями, оказалось и кое-что съестное.

Когда мы, наконец, выбрались из снежного заноса, наш скорый южный поезд обратился в тихоход, так как выбился из расписания. На одной из станций Лозово-Севастопольской железной дороги мы узнали о смерти Александра III. Ночью наш поезд задержали, чтобы пропустить экстренный, на котором из Харькова летели университетские профессора для бальзамирования. В Симферополе меня ждали лошади. В Ливадию я приехал 21 октября, когда манифест, составленный князем Леонидом Дмитриевичем Вяземским, уже был подписан.

Один из первых мне встретился в Ливадии статс-секретарь по делам Финляндии генерал-лейтенант Ден. Русские министры или стеснялись караулить смерть государя, или мало задумывались о важности момента в жизни государства; а чуткие в политических делах финляндцы не пропустили удобного случая, дабы постараться вклеить в манифест о вступлении на престол хотя бы одно словечко, которое поддерживало [бы] их притязания на автономию.

Встретил я и принцессу Алису, будущую императрицу Александру Федоровну. Она возвращалась с катанья по Ливадии со своим женихом-императором.

Воронцов огорчен был неудачей с манифестом, но куча

мелочных распоряжений, сопряженных с перевозом тела и похоронами, захлестнула быстро. Его ежеминутно приглашали к государю, видимо, он нуждался в близком советнике.

Александр III желал при жизни своей женить сына, и потому-то принцесса спешно и вызвана была в Ливадию. После смерти его, казалось, свадьбу надо было отложить до конца траура, но не тут-то было. Жених и невеста не желали ждать, стали торопить под видом выполнения воли скончавшегося, считали [это] возможным. Гр. Воронцов пробовал возражать, но НиколайII закинулся, остался недоволен. Весьма возможно, что это выступление министра послужило первопричиной охлаждения отношений к нему царя. Он почувствовал в нем опекуна, человека, знавшего его с пеленок, относившегося к нему как бы по-отечески, покровительственно. Именно слабые натуры и не выносят кажущийся им над собою контроль.

Увидел я двух новых флигель-адъютантов — кн. Кочубея и гр. Воронцова-Дашкова, старшего сына министра, оба они были раньше адъютантами наследника. Камердинер государя в день восшествия его на престол приготовил ему мундир с генеральскими эполетами, предусмотрительно заготовленными на случай бракосочетания, когда предполагалось производство наследника в генералы; но Николай не захотел надеть жирных эполет и до конца своей жизни остался полковником.

Во время перевезения тела в Петербург мне пришлось сопровождать Воронцова и убедиться в полной неорганизованности секретарской части при главе государства. Со всей России и из-за границы летели телеграммы и с соболезнованиями о потере отца, и с приветствиями о вступлении на престол. Кто должен был отвечать на град телеграмм? Государь передавал их министру двора. Я, случайный спутник, помогал ему в составлении ответов, написал их в поезде не одну сотню.

Перевезение тела Александра III по Москве и в Петербурге в Петропавловский собор обставлено было торжественно. Канцелярия министра двора, снесясь с Главным управлением по делам печати и с Министерством иностранных дел, собрала богатую коллекцию оригинальных статей русских и иностранных, помещенных в газетах, журналах и брошюрах с характеристикой Александра III и его царствования. Собран был богатый материал в виде иллюстраций и разнообразных отзывов о покойном, как в дружелюбном тоне, так и во враждебном. Вся эта груда печатных страниц систематизирована была по папкам и помещена в отдельный, специально для этого заказанный черный шкап, который был поставлен в Собственной его величества библиотеке

в Зимнем дворце, где, вероятно, и теперь находится и может представить известный интерес для лиц, работающих над исследованием дореволюционной эпохи.

Я не собираюсь выявлять личность Александра III как правителя государства. При изложении своих впечатлений о службе в Министерстве двора, однако, невольно на фоне дворцовой декорации мелькает фигура этого физического колосса, выступают рельефно и разные мелочи жизни, которые помогают разобраться в характеристике самодержца огромной империи.

Не одаренный талантами, не выказавший выдающихся способностей, Александр III выказал трудолюбие, работал, в меру своего понимания, усердно над государственными делами. По натуре он был правдивый, порядочный, что называется, человек. На его слово можно было твердо положиться, эта черта не так часто встречается. Он не хитрил, не избегал смотреть прямо в глаза и напрямки высказывать свое убеждение. Не стесняясь никакими дипломатическими хитросплетениями, он громко, на весь мир заявил в своем знаменитом тосте, что у России существует единственный друг и союзник — Черногория, иначе говоря, никого. Сказал он эти слова обдуманно, с целью, с тем, чтобы его дипломатический диагноз стал известен, кому знать надлежит. Ввиду значения произнесенных им слов, отчет о торжестве представлен был ему, и он, подчеркнув свои слова, выразил желание, чтобы их предали гласности. Своим прямодушием, своей определенностью он импонировал иностранные дворы. Не анекдот, что Вильгельм[194] побаивался Александра III, заискивал перед ним.

Многое можно сказать в укор правителю государства, не умевшему считаться с потребностями времени, отгородившемуся от народной массы каменной стеной бюрократии, но, тем не менее, нельзя забывать, что именно он, Александр, самостоятельно, без помощи дипломатов, укрепил пошатнувшееся при Александре II международное положение России. Благодаря ему, врагу каких-либо авантюр, не посягавшему на чужое, но умевшему вовремя сказать «руки прочь от нашего!» даже такому умелому игроку, как Англия, царствование его не омрачилось войной. Теперь же мы можем оценить все великое благодеяние мирного периода. Наименование «Миротворца», данное ему, теперь уже забыто, а титул этот заслужен им по справедливости, и многое за это ему простится.

В Москве и в Петербурге Александру III воздвигнуты были памятники. Московский вышел крайне неудачный и по замыслу, и

по исполнению: представлена была огромная фигура с полной, вызывающей, можно сказать, выставкой императорских регалий, идейности в композиции не чувствовалось. Другое дело — петербургский памятник Трубецкого. На мой взгляд, произведение это гениальное, характеризующее ярко русское самодержавие. Как Фальконет сумел показать миру могучего Петра Великого, вздыбившего Россию, заставившего сделать скачок в направлении западноевропейского прогресса, так Трубецкой выявил грузного царя, самодержца-консерватора, осадившего бесформенную русскую массу.

При открытии памятника мне довелось видеть торжество со ступенек подъезда Николаевского вокзала. Николай II парадировал перед отрядом войск, когда он поравнялся с монументом, завеса, покрывавшая его, упала, и внушительный бронзовый богатырь обрисовался во всей своей силе. Мне показалось, что Николай II вздрогнул, шашка его, обнаженная и поднятая для салюта, заметно заколебалась…

Памятник стеснил движение по оживленной Знаменской площади, но зато вид его издали, по оси Невского проспекта, поразительный. Удивляться приходится, как такое изображение императора, как символ, могло выдержать благополучно цензуру царской семьи. Зато после открытия памятника посыпались нарекания на автора. Одно время неумеренные почитатели Александра III добивались того, чтобы его, как карикатурное произведение, вовсе снять. При Николае его не сняли, а теперь же, думается, по недоразумению, заколотили досками. Напрасно.

Возвращаюсь к чисто дворцовой сфере. Александр III относился внимательно к предположениям о разного рода новых расходах по Министерству двора, причем обрисовывалась его натура, бережливая в расходах, стремившаяся закрепить старое, не любившая новшеств. Приведу для примера несколько его резолюций на докладах. По поводу предположения об устройстве калориферного отопления в некоторых комнатах Гатчинского дворца он отметил: «Для чего? Я не понимаю, отопление отличное и чудная тяга». В ведомости работ, предположенных в гатчинском парке: «Тоже совершенно лишняя работа». Предположено было в Петергофе перестроить обветшавшую царскую купальню. Отметка: «Это почему? Оставить и не трогать». По поводу укрепления берега и очистки пруда Морли в Петергофе — отметка: «Надеюсь, что они не уничтожат рыбу». Предполагалось сделать новые рамы в коттедже в Петергофе: «Возобновить совершенно как было; медные приборы оставить старые». По поводу предположения о замене гатчинского Горбатого моста железным — отметка: «Горбатый мост

возобновить совершенно в том же виде». Сделано было представление о постройке новой оранжереи. Отметка: «Новую не строить, а перестроить одну из более ветхих фруктовых в оранжерею для припуска розанов». Предполагалась постройка новой прачечной с гладильной. Отметка: «Приспособить существующее здание». На представлении о новой отделке Помпеевской галереи в Зимнем дворце отметка: «Не стоит». При таврических оранжереях предположено было выстроить сарай для сена. Отметка: «Исключить». По поводу восстановления мраморной площадки на террасе при Александровском дворце в Царском Селе — отметка: «Я не помню — зачем?» В гатчинском зверинце предполагалось устроить проволочную изгородь на протяжении 1130 погонных саженей. Отметка: «Это, должно быть, ошибка, тут нет и 300 сажен». По поводу возобновления меблировки в Зимнем дворце: «По-моему, не нужно». Над подъездом Большого Петергофского дворца спроектирован был навес, на что последовала царская отметка: «Не нужно». По поводу исправления решетки у так называемого «Собственного садика» — отметка: «Я еще увижу сам». По поводу перестилки паркетов в помещении малолетних певчих (Певческой капеллы) в недавно отстроенном здании у Певческого моста: «Так скоро!»

Император любил старину. Так, например, он со вниманием следил за реставрацией живописи в московском Благовещенском соборе, лично осматривал [ее] до приступа к работам, а затем на докладе написал: «Чтобы при восстановлении живописи открытые древние изображения были возможно менее записаны». Дальше указывалось: «Не употреблять ни лака, ни мастики». По поводу обновления раки св. Стефана Пермского в храме Спаса на Бору два раза отметка: «По старому рисунку».

Александр III воздерживался от расходов на чисто дворцовые постройки. При нем выстроен дворцовый павильон-башня в петергофской Александрии, «сельский дом» в Спаде, дворец в Беловежской пуще[195]. Кроме того, в крымской Ливадии был разобран до основания Малый дворец, давший опасные трещины от оползней грунта. Приказано было: «Здание снести, углубить фундамент и выстроить вновь по размерам, расположению и обстановке точную копию старого». Так и было буквально исполнено. Заведовал тогда Ливадией полковник Плец, слывший в Ялте за большого оригинала, которому чрезвычайно по сердцу пришлось это царское указание. Он собрал образчики раскраски и обоев со всех уголков дворца, снял фотографии с расположения мебели и развески картин. Когда дворец был выстроен и убран, то лицам, не знавшим об этих работах и ранее жившим в нем, не могло бы и в голову прийти о том, что они находятся в новом

здании.

К слову сказать, вся постройка Малого Ливадийского дворца обошлась в 65 тыс. руб. Всего два дворца-дачи построил Александр III, и судьбе угодно было распорядиться, чтобы именно в них ему пришлось закончить жизнь: в Беловежском дворце болезнь почек приняла угрожающий характер, а в Малом Ливадийском дворце царь умер[196].

В новое царствование после обычных докладов императору гр. Воронцов-Дашков возвращался домой не в духе. Решения по некоторым делам стали откладываться под предлогом: «Надо спросить Маман…»[197] Вдовствующая императрица всегда была в самых лучших отношениях с воронцовской семьей, поэтому, казалось бы, нечего было тревожиться от передачи дела на ее рассмотрение; но она, не привыкшая при жизни мужа к такого рода деятельности, надо полагать, руководствовалась советами и подсказываниями тех, кто был поближе в данный момент. Выходило не совсем ладно. С течением времени обращения к «Маман» почти прекратились, но трещина, показавшаяся при протесте министра относительно неуместности торопливой свадьбы после смерти отца, стала все увеличиваться. Главная же причина такого расхождения заключалась в той стеснительности, которую ощущал Николай II от выявления своей слабой воли по адресу человека, так близко стоявшего к отцу, пользовавшегося полным его доверием, больше того — дружбой. Николаю II казалось, будто его собираются [водить] на помочах, как маленького, когда он считал себя большим. Приблизительно так объяснял Воронцов натянутость отношений.

Эта боязнь оказаться в положении школьника [была] замечена не одним министром двора. Помнится, одно время в петербургских служилых кругах много говорили о недовольстве, вызванном докладами Евреинова, исправлявшего должность министра путей сообщения. Он будто бы при докладах, быть может, и сам того не замечая, впадал в роль ментора, что выводило из себя молодого государя. Евреинов недолго докладывал царю, его назначили сенатором[198].

Смирно сидевшие при жизни Александра III великие князья теперь свободно и громко заговорили. Владимир Александрович не вмешивался во внутреннюю политику, но в сфере внешнего представительства выдвинул себя далеко вперед. Сергей Александрович стал особенно близким советником, представителем московской консервативной партии. Постепенно стал забирать в свои руки нити управления военным делом Николай Николаевич, а за ним, попозже, появился еще новый претендент на власть — Сергей Михайлович, сумевший

восстановить если не звание, то традиции генерал-фельдцейхмейстера.

Появление на арене государственных дел этой группы безответственных лиц, за спиной которых могли работать всякого рода и порядочные, и непорядочные дельцы, не предвещало ничего доброго впереди.

С новым царствованием в делах Министерства двора заметно обозначилась линия не предпринимать каких-либо решительных актов до коронации, точно после этого традиционного акта откроется новая эра. По существу дела, устройство коронационных торжеств ничего особенного по трудности выполнения не представляло, если бы каждому из постоянных органов министерства поручено было, сообразно с потребностью момента, временно усилить свой личный состав; но, по старому завету, считали нужным специально организовать: коронационную комиссию, коронационную канцелярию, коронационного маршала со штатом церемониймейстеров, особую комиссию по устройству народного празднества.

Из всех ведомств стремились юркие чиновники получить командировку в распоряжение коронационных учреждений, зная наверное, что, помимо подъемных и усиленных суточных, впереди их ждет еще почетная награда. Гр. Воронцов-Дашков, уже имевший опыт по коронации 1883 года, старался уменьшить толщину наслойки коронационных учреждений, но и ему трудно было бороться с «примерами бывших лет», этим своеобразным дворцовым уставом. Мои выступления при предварительном обсуждении предстоящих работ, в смысле бесполезности новой организации, министр находил заслуживающими внимания, но кандидаты на должности уже были готовы, стучались в двери, роли уже заранее были распределены. Я надеялся, однако, отбить атаку одной группы кандидатов, именно — на устройство народного праздника. В голову мне тогда не приходила возможность Ходынской катастрофы с тысячами жертв, меня беспокоила мысль о весьма возможных нареканиях на Министерство двора за угощение народа гнилой дешевкой, нареканиях на то, что кто-то из дворцовых руки нагрел себе. Вот почему я поддерживал предложение передать назначенную на устройство торжества народного праздника [сумму] в Московскую городскую думу, которая, имея в своем распоряжении муниципальный аппарат, и, конечно, прекрасно знакомая с местными условиями, может устроить [дело] лучше, чем кто-либо. Но нашлись смельчаки-кандидаты, уверенные в блестящем успехе праздника, созданного их руками, уверяли, будто нет основания отказываться от лавров из-за тревоги о том,

что скажут. «Мало ли что говорят…» Мое предложение не прошло.

За несколько месяцев до коронации к министру двора стали поступать из Министерстваиностранныхдел заявления из редакций разных иностранных изданий о разрешении присутствовать на коронации их корреспондентам, художникам и фотографам. В то же время Министерство внутренних дел определенно требовало, чтобы представители прессы просеивались через решето Департамента полиции. В интересах печати, для облегчения сотрудникам изданий их работы, я настоял на устройстве при канцелярии министра, состоявшей в моем ведении, особого бюро печати. Все сведения о корреспондентах сосредоточились здесь, сношения с министерствами иностранных дел и внутренних дел были сокращены и упрощены. Гарантией достоверности сообщений может служить прежде всего возможность видеть то, что человек описывает, и в этом отношении мне удалось организовать специальных чиновников-гидов и свободные пропуски на все торжества с предоставлением возможных удобств. Непосредственным заведующим бюро корреспондентов я пригласил Николая Ильича Оприца, а в помощь ему — Щеглова, Аршеневского, Нувеля, Нелидова, Сеславина, Цаунса. В Москве специально для бюро на время коронационных торжеств нанят был особняк. Здесь корреспонденты могли удобно работать, находили разнообразные газеты, письменные принадлежности, несколько телефонных аппаратов, специальных почтово-телеграфных курьеров для немедленной отправки телеграмм и другой корреспонденции. Здесь же сотрудниками бюро выдавались разные справки, распределялись очередные пропускные билеты на торжества. С ю часов и до вечера сотрудники бесплатно могли пользоваться чаем, кофе, печеньем и сандвичами.

Моим непосредственным помощником по заведованию бюро корреспондентов явился Николай Ильич Оприц, бывший прежде лейб-егерь, полковой адъютант, писаный красавец. Средства материальные у него были солидные, и переход на службу в Министерство двора объяснялся не исканием денежного благополучия, а тем, что военная карьера его нисколько не привлекала. По семейным традициям надел в ранней юности военный мундир, да так и тянул лямку, пока не представился в 80-х годах случай перейти на другую деятельность. Выходить же в отставку не хотел, отчасти по тем же традиционным взглядам на необходимость служить до дряхлой старости, так и потому, что материальные средства в семью вложены были жениным

приданым, он же стремился внести и свою часть, свой заработок.

К середине девяностых годов у Оприца уже стала заметно пробиваться лысина, но он все-таки выглядывал очень красиво. Николай Ильич отличался большой, чисто немецкой пунктуальностью в работе, в бюро он высиживал двойной рабочий день, увлекая своим примером и остальных сотрудников. Вначале у него, не свыкшегося с литературными нравами, выходили небольшие стычки с некоторыми не в меру требовательными корреспондентами. Мне удавалось улаживать эти инциденты. Затем он вполне освоился с положением лица не начальствующего, а обслуживающего корреспондентов в целях предоставления им возможности собрать наиболее подробные и, главное, точные сведения о торжествах. Впоследствии он специализировался в этой сфере до самой своей отставки, почти совпавшей со смертью.

Корреспондентов, художников и фотографов наехало в Москву на коронацию более трехсот человек. Персонал бюро завален был настолько работой по обслуживанию, что редкий день им удавалось обедать. В особенности много времени отнимали хлопоты с иностранцами, стремившимися всюду поспеть, все видеть и получить соответствующие разъяснения. Не так-то легко было доставать достаточное количество входных билетов, приходилось пускать в ход все дворцовые влияния. Особым искусством проникать всюду и добиваться в пользу бюро благоприятных результатов истинно прославился[199] Аршеневский. Он числился чиновником [для] поручений при великом князе Михаиле Николаевиче и напросился сам в сотрудники бюро. Я отнесся к нему сначала отрицательно. На первый взгляд и наружность его не располагала в свою пользу: огромный, красный, бородавчатый нос царил над всей огромной фигурой, придавал ему вид человека, склонного к сильной выпивке. На самом же деле он пил только чай в значительном количестве, да чистую воду. Несмотря на свою массивность, Аршеневский проявил удивительную юркость, изворотливость. Для него, казалось, не было ничего невозможного. Когда весь запас билетов истощался, то обращались к содействию Аршеневского, и он иноходью пускался по кремлевским дворцам добывать желанное, и не было случая, чтобы он возвращался без добычи. Вечером накануне дня коронации недостало входных билетов на трибуны для нескольких десятков корреспондентов. Подъехали новые, на которых уже не рассчитывали. На все трибуны билеты были розданы, достать не представлялось возможным. Тем не менее, на другой день одно из лучших мест занимали именно те

корреспонденты, которым не хватило билетов. Аршеневский умудрился в ночь получить разрешение, найти материалы и рабочих для устройства добавочной трибуны.

В награду за работу в коронационном бюро Аршеневский получил орден св. Владимирами степени. Сослуживцы подтрунивали над ним и уверяли, что в послужном списке сказано по поводу ордена: «За отличие в делах против корреспондентов».

Удивительно добродушный, услужливый, неприхотливый оказался Аршеневский. Содержания от великого князя он никакого не получал, жил на доходы с небольшого своего воронежского имения; но доверенный его не баловал хозяина и, по рассказам Ширинкина, знавшего хорошо это имение и тамошние порядки, посылал ему едва ли четвертую часть чистого дохода. Когда Аршеневского спрашивали, как же он допускает такое издевательство над собою, [он отвечал]: «Так ему нужней, чем мне, у него семья большая, а я одинокий». Жил он очень скромно, квартировал в Новом Петергофе, из-за дешевизны, как он объяснял. Думается, что тут была другая приманка — уланский полк, со многими офицерами которого он находился в близких приятельских отношениях, а главное — детский приют местного благотворительного общества. Аршеневский состоял фактическим попечителем этого заведения, ему приходилось ухитряться, путем устройства благотворительных базаров и балов, добывать средства на содержание семидесяти-восьмидесяти детей, так как на членские пустяшные взносы нельзя было содержать и одного сторожа. Всякие благотворительные сборы ведут за собой людские пересуды о злоупотреблениях доверием жертвователей. Не избег этого нарекания и добрейший Аршеневский.

Он знал о сплетнях, приятели уговаривали его отказаться от попечительства над приютом, но он отмахивался: «Разве я могу оставить детей из-за вранья на мой счет, да пусть их себе чешут язык».

Непосредственно заведовал приютом Брюккер, идеалист-немец, по специальности техник по изготовлению тонких аппаратов, разных инструментов для лабораторных приборов. Когда-то у него была своя большая мастерская в Петербурге, дела его процветали, но ему хотелось не только зарабатывать, но и послужить общественным интересам в области педагогики. Работая много лет в мастерской, он убедился в необходимости подготовлять сотрудников с детства к работе. С шести-семи лет, параллельно с грамотой и практическим изучением иностранных языков, приучать ребенка к посильным его летам прикладным

занятиям, начиная со склеивания коробочек, переплетного мастерства, затем плотнично-столярного, далее слесарного и, наконец, инструментального, в том числе и выделки часов. Все эти работы по его плану должны были в соответствующий сезон разнообразиться возделыванием огорода и уходом за плодовыми деревьями и цветами. Занятия ни в коем случае не должны были напоминать игрушечную забаву; с самого начала от детей требовалась точность в исполнении, возможность выпустить изготовляемую вещь на рынок. Брюккер занялся составлением подробных докладов, ходил по разным учреждениям, добивался принятия его системы в учебный план не только промышленных, но и общих школ. Стремление подготовить к жизненной борьбе всю учащуюся молодежь постепенно охватило все существо строгого на вид немца, он запустил совсем дела в своей мастерской, прослыл за маниака. В итоге исканий своих он где-то встретился с Аршеневским, быстро овладел его вниманием и принял на себя руководство воспитанием детей Петергофского приюта.

Аршеневский, прирожденный хлопотун, распорядитель, устроитель, совершенно не подходил к кабинетным занятиям, к работе в канцеляриях и департаментах. За письменным столом он представлял собою жалкую фигуру провинившегося школьника[200].

Коронационные торжества катились по рельсам, как вдруг разразилась Ходынская катастрофа. Утром 17 мая в моем кабинете, помещавшемся в нижнем этаже бюро, зазвенел звонок телефона. Передали смутное известие: «На Ходынском поле беспорядочная толпа ринулась всей массой на приступ будок с гостинцами. Есть человеческие жертвы». Я содрогнулся. Затем и по телефону, и устно стали поступать все новые и новые и все более тяжкие сообщения о страшном несчастии.

Я поднялся в бюро, просил корреспондентов соблюдать сдержанность в своих сообщениях и потом поехал на поле. Там уже трупы были убраны, по внешности трудно было себе представить о разыгравшейся только что драме. Оттуда поехал к министру. Надеялся узнать об отмене всех дальнейших празднеств. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что «цари» сегодня же будут на балу у французского посла. Мне казалось это непозволительным, и [я] бросился к духовнику государя о. Янышеву, умолял его пойти к государю, настоять на отмене праздников. Протопресвитер вздыхал, высказывался уклончиво, а на поставленный решительно вопрос ответил: разве он может беспокоить государя подобными заявлениями. Так узко формально понимал духовник царя свои обязанности, а Янышев

слыл за высокообразованного человека, много лет прожившего за границей. Я убежден, что именно вмешательство духовника подействовало бы и спасло бы Николая II от многого, что потянулось цепью за таким вызывающим пренебрежением к народному горю[201].

Началось расследование. Кто виноват в катастрофе? Московский генерал-губернатор [великий князь] Сергей Александрович выгораживал свою полицию и ее начальника Власовского, не принявшего самых элементарных мер для предупреждения давки. Великий князь перекладывал вину на дворцовую комиссию по устройству народного праздника. Государь поручил гр. Палену, бывшему министру юстиции и верховному коронационному маршалу, разобрать дело. Пален не покривил душой и удостоверил преступную небрежность московской полиции к своим прямым обязанностям[202].

Таким образом, министр двора оказался неповинным, а катастрофа переваливалась на голову великого князя. Истина была установлена, но великий князь — генерал-губернатор остался по-прежнему править Москвой, а министерской карьере гр. Воронцова нанесен был сильный удар, так как при создавшихся враждебных отношениях с близким государю Сергеем Александровичем трудно было сохранить портфель.

Коронационные торжества продолжались и закончились так, точно Ходынской катастрофы и в помине не было. Некоторые цинично уверяли, будто денежное вознаграждение, полученное семьями погибших на Ходынском поле, вызывало зависть и досаду, отчего не задавили их родных…

Описания коронационных торжеств в русских и иностранных изданиях были собраны в канцелярии министра и переданы на хранение в библиотеку его величества в Зимний дворец. Кроме того, составлен был *«Коронационный сборник»,* в котором помещено иллюстрированное описание торжеств. К этому сборнику приложен большой [альбом?] с фотографическими снимками главных участников торжеств, всех иностранных миссий, свиты государя и разных моментов торжеств. В приложение вошла и группа корреспондентов, собравшихся поблагодарить за гостеприимство в бюро. Особую часть приложения заняло полное собрание объявлений, программ, афиш и меню, имевших отношение к торжествам.

Перед разъездом из Москвы корреспонденты устроили банкет, на который пригласили меня и некоторых московских знаменитостей. Собралось более двухсот человек. В речах, адресованных ко мне, подчеркивалось уважительное отношение бюро к печати. Иностранцы заверили, что такой образцовой

организации, какая осуществлена была при посредстве бюро печати, им не приходилось еще встречать; высказывали надежду, что московское коронационное бюро корреспондентов послужит образчиком для подобного рода учреждений, облегчающих задачу газетных и журнальных сотрудников, как писателей, так и художников.

В сентябре 1896 года Николай II вместе с Александрой Федоровной посетил Англию и Францию. Мне довелось побывать в Шербурге и в Париже во время пребывания там государя. Прием, оказанный экспансивным населением, носил торжественный и вместе с тем искренний характер. Все, кто мог передвигаться, кто мог оторваться от обычных занятий, хлынули навстречу представителю России — могущественной союзницы, густыми массами окаймлены были улицы и бульвары, унизаны балконы, крыши, открытые окна. По длинному, извилистому пути от вокзала Ранелах до здания посольства столпилось все население двух с половиною миллионного города; остальные улицы опустели совершенно, замолкли, становилось как-то жутко в этих застывших, обыкновенно так оживленных, шумных кварталах.

Со свойственным французам изяществом парижане убрали парадно свой город. Они не устраивали, как это часто делается у нас, громоздких, нелепых декораций-лесов, закрывающих архитектурные линии зданий, произведения нередко выдающихся художников-строителей. Они умело драпировали дома, устроили на площадях легкие, красивые эстрады. Оригинальный вид представляли Champs Elysées[203] и бульвары. Ко времени въезда русского гостя деревья уже сильно оголились, листья облетели, в особенности у каштанов. Парижане нашли невежливым показать императору всесветно знаменитые «поля Елисейские» в таком осеннем виде, они устроили вторую весну, украсив деревья искусственными цветами. Такая расточительная роскошь декорации доступна, конечно, только Парижу, где копошатся над производством цветов для мирового рынка десятки тысяч мастериц — художниц своего ремесла.

По всему пути следования кортежа гремел русский народный гимн, волной ходили раскаты: «Vive l’ Empereur! Vive la Russie! Vive l’ alliance franco-russe!»[204]

Думается мне, что и коронационный въезд в Москву, и торжественная встреча в Париже должны были глубоко запасть в память царя и царицы. Какие прекрасные возможности тогда открывались перед ними, и как они печально использовали свое положение!.. Воспоминания о былых торжествах, о триумфах не только в России, среди своих верноподданных, но и за границею,

в республиканской Франции, надо полагать, приходили на память в дни их ссылки в Сибирь, заточения и предсмертных часов.

«Русская неделя» 1896 года во Франции представлялась сплошным карнавалом. Главным местом торжеств, конечно, являлась столица мира — Париж, но знаменательны также [были] и смотры французского флота в Шербурге и армии в Шалоне на Марне. Особенно величаво прошел второй. Трибуны для зрителей тянулись длинной-длинной, бесконечной, казалось, линией, и все были переполнены народом, bombeés, как говорили французы. Полуторастотысячная армия выстроилась на обширном поле. Появление императора перед войсками верхом, окруженного огромною свитою, произвело театральный эффект. Президент республики Фор, сидевший рядом с императрицей в коляске, казался гостем, приглашенным на парад, а в роли действительного хозяина оказался царь.

Тем, кто привык видеть наши смотры и парады, представляющие собою копию немецкой манежной шагистики, не могут себе представить то впечатление, которое производят быстро, как лавина, катящиеся компактные массы, а не тонкие линии, французской трехцветной пехоты. На этом смотру я воочию видел, как «впереди несут знамена, барабаны бьют, колыхаясь и сверкая, движутся полки».

На парадном спектакле в Grand Opera мне пришлось сидеть по соседству с известным Рошфором и слышать, как он, вместе с другими именитыми французами, встретил появление императора аплодисментами и возгласами: «Vive l’ Empereur! Vive la Russie!»

В Шербурге, в Париже и Шалоне я встретил нескольких французских журналистов, бывших на коронационных торжествах в Москве. Они просто конфузились показывать мне крайне неудовлетворительно организованное местное бюро корреспондентов, вспоминали с благодарностью наше гостеприимство и помощь в получении исчерпывающих данных для их корреспонденции.

В канцелярии министра двора была собрана коллекция статей о посещении царем Англии и Франции. Собраны были и все иллюстрированные журналы и листки, не исключая и сатирических. В одном из них на въезде в Париж в экипаже вместо Николая II фигурировал заместитель из придворнослужителей, похожий лицом на императора. Сам же Николай II принялся faire la nôce[205], закутил по парижским вертепам, конечно, сохраняя инкогнито. Император рассматривал с интересом иллюстрации и, по словам министра, потешался забавной выдумкой[206].

После возвращения из Франции гр. Воронцов-Дашков все чаще и чаще стал говорить о тех ненормальных условиях, которые создаются в силу вмешательства в управление разных особ. Министр еще в самом начале царствования просил отпустить его на покой, но Николай II и слышать тогда не хотел об отставке близкого отцу человека; теперь же, видимо, ему хотелось освободиться от опекуна. Так ли было на деле — трудно проверить, но составилось представление, что императрица, инспирируемая сестрой, женой великого князя Сергея Александровича, сильно возбуждена против министра после Ходынской катастрофы. Обе они не могли примириться с тем, что виновником признан был великий князь, а не Воронцов.

Если бы не дамское влияние, то министр, наверное, отказался бы от должности, но он не успел этого сделать. В 1897 году, перед переездом двора из Царского Села в Петергоф, Николай II вспомнил, что в октябре 1894 года Воронцов просил освободить его от должности и милостиво соизволил, причем заместителя не назвал, а сказал, что временно будет исполнять обязанности помощник министра генерал-адъютант Фредерике. Временно заместительство оказалось весьма прочным: бар. Фредерике продержался на посту двадцать лет, вплоть до революции, дослужился до Андрея Первозванного и графского титула.

Когда гр. Воронцов, возвратившись после доклада из Царского Села, передал мне о том, что более не министр, то я тотчас же заявил о своем желании быть отчисленным от должности заведующего канцелярией. Меня назначили членом Совета министра двора. Я совершенно отошел от дворцовой жизни, соприкасался с ней только по письменному отзвуку при рассмотрении в особой комиссии смет всех учреждений, входивших в состав ведомства. Заседания же собственно Совета собирались очень редко, для проведения некоторых, законом указанных дел вроде назначения пенсий.

Активная моя служба по Министерству двора, таким образом, закончилась, но членом Совета я оставался вплоть до революции.

Приложение
Памяти графа И. И. Воронцова-Дашкова [207]

Российское общество Красного Креста понесло тяжелую потерю. 17 января [1916 г.] в Крыму, в Алупкинском Воронцовском дворце скончался член Главного управления Красного Креста, член Государственного совета, состоящий при особе Его императорского величества, генерал-адъютант граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков.

С его именем тесно связана деятельность Красного Креста в период тяжкой Японской войны. Поставленный волею высокой покровительницы[208] во главе Исполнительной комиссии, он, благодаря своим личным данным, успел организовать вполне успешно большое дело общественной помощи больными раненым воинам. Ежедневно, с начала войны и вплоть до назначения наместником его величества на Кавказе, граф Илларион Иванович с утра являлся в помещение Главного управления и своим примером, своим воодушевлением поднимал энергию всего учреждения. Каждый, имевший какое либо дело в Главном управлении, находил у графа ласковый прием, вдумчивое отношение, ободряющее слово и, при малейшей возможности, реальную помощь.

В способе ведения общественного дела выдающимся вельможей непрестанно просвечивала искренняя благожелательность. Граф Илларион Иванович был один из тех, кому дано было понять и усвоить вполне основательно значение действительной благожелательности, окрыляющей сотрудников, удесятеряющей их силы.

1904–1905 годы помимо внешней войны, как известно, ознаменовались и внутренними потрясениями. Представители разных общественных организаций в этот смутный период невольно вносили с собою атмосферу протеста, недоверия ко всему, что имело близкое соприкосновение с правительством. При этих условиях нравственный авторитет графа Илариона Ивановича, его популярность, его личное обаяние принесли неоценимую пользу для общего дела.

При нем заседания Исполнительной комиссии обратились в бьющий ключом жизни орган общественности. Ни канцелярской волокиты, ни таковой же тайны. Дела решались после гласного обсуждения всеми интересовавшимися осуществлением великой

идеи Красного Креста. Несмотря на пестрый иногда состав собрания, оно никогда не переходило границ строгой законности; присутствие графа, его руководство вводило прения в правильное русло.

8 Апреля 1904 года в заседании Главного управления, после доклада о том, что ген. — ад. Козакевич слагает с себя звание председательствующего, предложено было произвести избрание председателя. Можно ли было сомневаться, на ком остановится выбор?! Все члены Гл. управления избрали своим председателем графа Иллариона Ивановича, успевшего за короткое время завоевать себе общие симпатии.

За время состояния графа Иллариона Ивановича во главе Главного управления сделано было много. Правда, текущая мировая война с тевтонами потребовала столь усиленной мобилизации красно-крестных учреждений, такого их огромного развития, о котором, конечно, не грезилось и самому пылкому воображению. Но, по сравнению с прошлыми войнами, в Японскую кампанию Российское общество Красного Креста развернуло свои силы весьма широко, явилось не только весьма деятельным и заметным помощником военно-санитарному ведомству, но и само по себе представило сильную самостоятельную санитарную организацию.

В различного рода учреждениях Красного Креста мобилизовано было свыше 30 000 кроватей. Принято свыше 240 000 больных и раненых воинов, причем число больничных дней выразилось огромным числом, а именно, достигло шести миллионов. Расходы учреждений Красного Креста во время войны составили 31 715 900 р.

Исполнительная комиссия Красного Креста предложила земству Московской губернии и присоединившимся к нему 14 земствам взять на себя организацию продовольственных этапных пунктов. Состоялось соглашение. С этого времени «общеземская организация» постепенно стала расширять и усиливать свою деятельность помощи больным и раненым воинам[209]. Под флагом же Красного Креста работали организации городских самоуправлений, а также и дворянские.

В общем, по данным отчета о деятельности Российского общества Красного Креста во время Японской войны, все учреждения, работавшие под флагом Общества Красного Креста, израсходовали на помощь больным и раненым свыше 50 миллионов рублей. Для справки надо иметь в виду, что в русско-турецкую войну 1877–1878 годов на дело помощи пошло $16У_2$ миллионов рублей.

Граф Илларион Иванович родился 27 мая 1837 года,

происходил из славного рода Воронцовых, давших России немало видных государственных деятелей. Отец его, обер-церемониймейстер, был любимым племянником знаменитой кн. Дашковой, рожденной гр. Воронцовой. Она исходатайствовала присоединение к фамилии племянника и фамилии Дашкова. Мать графа Иллариона Ивановича — рожденная Нарышкина. По мужеской линии, до рождения у него сыновей, он являлся единственным представителем рода Воронцовых, а супруга, графиня Елизавета Андреевна Воронцова-Дашкова, по матери приходилась внучкой светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова, бывшего наместника на Кавказе с 1844 по 1853 год и наследницей майората, учрежденного ее знаменитым дедом. Таким образом соединились обе ветви одной фамилии, графская и княжеская. У графа Иллариона Ивановича была единственная сестра, и ныне здравствующая Ирина Ивановна, в замужестве за светл. кн. Варшавским графом Паскевичем-Эриванским.

Граф Илларион Иванович, получив в полном смысле блестящее домашнее образование, поступил в Московский университет. Однако военная склонность пересилила. Он покинул Москву и в 1856 году вступил в ряды юнкеров л. — гв. конного полка. В 1858 г. произведен в корнеты и уже на следующий год — неудовлетворенный жизнью в столичном гарнизоне — уехал в Кавказскую армию, под начальство князя А. И. Барятинского. Князь Александр Иванович угадал в молодом офицере выдающиеся способности, приблизил к себе и давал ему весьма ответственные поручения и при том не только в боевой сфере. Он привлек графа к изучению экономического положения Кавказа и к составлению докладов по разным отделам гражданского управления. Граф Илларион Иванович с особенною благодарностью вспоминал князя и время, проведенное при нем на Кавказе, считал незаменимой школой.

В течение восьми лет со дня производства в корнеты, благодаря боевым отличиям на Кавказе и в Туркестане, граф Илларион Иванович достиг генеральского чина и многих боевых наград, в том числе ордена Св. Георгия 4 ст. и золотого оружия.

Вернувшись из Туркестана, граф принял в командование л. — гв. гусарский Его величества полк, а в 1874 г. был назначен начальником штаба гвардейского корпуса. Во время русско-турецкой войны командовал кавалериею Рущукского отряда и после кампании был назначен начальником 2-й гвардейской пехотной дивизии.

Вскоре, а именно в 1881 году, граф Воронцов-Дашков быстро выдвинулся вперед. Сначала он призван был на пост главного начальника охраны Его величества, а затем занял должность

министра императорского двора и уделов. Вместе с тем граф состоял и главноуправляющим Государственным коннозаводством. На этих ответственных постах он пробыл шестнадцать лет до 1897 года, когда назначен был членом Государственного совета.

До назначения своего на Кавказ граф, помимо других дел, немало потрудился над призрением слепых. Он состоял председателем Попечительства о слепых, и под его руководством дело, взлелеянное неустанными заботами статс-секретаря Грота, получило дальнейшее развитее. Дела благотворительности были всегда всю жизнь сердечно близки графу Иллариону Ивановичу. Правда, по своей натуре он предпочитал помогать ближнему так, чтобы левая рука не знала, какое пособие нуждающемуся оказала правая; но, конечно, он понимал и сочувствовал и правильной организации благотворительности. Деятельность гр. Воронцова-Дашкова в попечительстве о слепых навсегда оставит яркий след. 28 января 1904 года граф Илларион Иванович принял на себя огромный труд по руководству работами Р. О. Красного Креста, а 8 Марта 1905 года был назначен на Кавказ. После усиленных трудов, в полном значении этих слов, графу Иллариону Ивановичу не только не довелось отдохнуть, но нельзя было отказаться от нового назначения, сопряженного с огромною ответственностью. Нараставший в России политический ураган заставил передать правительственный руль на Кавказе искусному кормчему. Монаршею волею туда назначен был именно граф Илларион Иванович, причем он облечен был чрезвычайными полномочиями наместника его величества. С отъездом на Кавказ он отошел от непосредственного участия в руководстве делами Российского общества Красного Креста, тем не менее, общие собрания неизменно выбирали графа в состав членов Главного управления, и он до самой своей смерти состоял в этом звании, которым очень дорожил.

Во время настоящей войны представители краснокрестных организаций на кавказском театре войны встречали в наместнике неизменно благожелательное отношение. К сожалению, война застала графа Иллариона Ивановича больным. Тяжкий недуг, давно к нему подкрадывавшийся, свалил могучую натуру, но он, через силу, как верный часовой, не покинул доверенного ему поста. Наконец расстроенное здоровье окончательно не выдержало, граф с душевною болью простился навсегда с любимым им краем, уехал в свое тамбовское имение, а оттуда вскоре в Алупку, где и почил навеки.

Под свежим впечатлением этой утраты я поделился с читателями *«Нового времени»*[210] своими впечатлениями о

выдающейся личности графа Иллариона Ивановича. Для пополнения краткого некролога считаю уместным воспроизвести здесь обе вышеуказанные заметки.

Ушел в вечность граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков. В течение двадцати с лишком лет мне пришлось находиться с ним по службе в близком общении, довелось совместно переживать и радость, и печаль. За эти долгие годы граф всегда оставался верен принципам безукоризненного джентльмена, всегда относился с уважением к личности самых маленьких людей, безусловно никогда не подлаживался под взгляды и вкусы влиятельных особ, всегда отличался чуткой отзывчивостью к обездоленным, к нуждающимся в помощи.

Граф Воронцов-Дашков — родовитый аристократ, обладавший огромным состоянием, министр двора, а впоследствии наместник его величества на Кавказе — выделялся среди многих своей скромностью, простотою в обращении. Люди разных направлений и настроений уходили из кабинета графа очарованные его обаятельной личностью, светлым умом, восприимчивостью, редкой способностью схватывать существо предмета.

Докладчики по делам министерства и другим отраслям управления, вверенного графу, могли все свои силы и способности сосредоточивать на разрешении существа вопроса, не прикидывая для соображения разных сторонних влияний. Как взглянет на это то или другое лицо — для графа было безразлично. Огромная армия служащих в государственных и общественных учреждениях поймет хорошо, сколь благоприятна для деловой жизни такая здоровая нравственная атмосфера. За долгие годы совместной службы мне, да, вероятно, и другим сослуживцам, и в голову не могло придти, чтобы в случае какой-либо неудачи граф стал перекладывать вину на других. Это было так противно всему строю его благородной, рыцарской личности. Закономерно поступавшие служащие были за ним как за каменной стеной.

Чутко деликатный, мягкий в обращении, но в то же время далекий от заигрывания и распущенности, он внушал к себе особое почтение; вероятно, никто не слышал от него не только крика, но и сурово повышенного тона, тем не менее провинившиеся боялись его проникновенного взгляда больше, чем громогласной начальнической бури.

Граф Воронцов-Дашков принял Министерство двора, застывшее еще в дореформенных рамках. Много пришлось ему потрудиться над преобразованием дворцовых учреждений и удалось достигнуть хороших результатов. При нем на службу в

это ведомство пошли выдающиеся силы, причем граф неизменно ставил в непременное условие совместной работы нравственную чистоплотность. К самым малейшим проявлениям корыстных побуждений он относился резко-брезгливо и ни на какие компромиссы не шел. Все жаждавшие личных материальных выгод или обильных наград были по натуре ему совершенно чужды, он отворачивался от них.

В Министерстве двора и уделов, а также в главном управлении государственного коннозаводства графа любили и уважали. Когда он оставил пост министра, то старшие чины ведомства собрали около 25 000 р. в его распоряжение. Он выразил желание, чтобы проценты с этого капитала поступали на выдачу пособий на образование детей служащих Министерства двора, и притом преимущественно на плату за обучение в профессиональных и технических учебных заведениях. До настоящего времени ежегодно граф из своих средств пополнял новыми взносами этот культурный капитал, который теперь вырос почти до 300 000 р.

В общем граф Илларион Иванович из своего кармана передал на помощь нуждающимся, неимущим и обездоленным не менее миллиона рублей. Мне лично известно много людей, вызволенных им из тяжелого положения. От столичной бедноты к нему сыпались прошения тысячами, и пособия он раздавал широкой рукой.

Министерство двора по своей специальной сфере стоит далеко от политической жизни государства, но тем не менее к графу Иллариону Ивановичу беспрестанно обращались по разнообразным делам. В нем жила русская душа, и он стремился всегда оказать содействие, поддержать русское дело.

Во время Японской войны он стал во главе Главного управления Красного Креста. В короткое время успел сгруппировать общественных деятелей и влил в дело помощи больным и раненым воинам живую струю своей искренней любви к ближним. С назначением на Кавказ круг деятельности графа Воронцова-Дашкова еще более расширился. Полуденный край он знал с молодых лет, здесь он служил при наместнике, князе Барятинском, и впоследствии всегда с особою любовью и вниманием относился к Кавказу. Продуманная, широкая программа была опубликована им вслед за вступлением в должность наместника. Этот документ, проникнутый гуманностью ко всем народностям и стремлением к правильной организации местных общественных сил, навсегда останется прекрасным заветом для управления Кавказом.

Последние годы тяжкая болезнь стала неудержимо

подтачивать силы графа и, наконец, окончательно его сломила.

Весть о смерти благородного вельможи, русского боярина в лучшем смысле слова, больно затронула многие тысячи его сослуживцев и почитателей. Хорошие, возвышенные чувства будил он в них.

25 января похоронили останки графа Иллариона Ивановича в заповедном его тамбовском имении Ново-Томникове. Покойный любил здешнее приволье, любил широкий простор русских нескончаемых полей, заливных лугов и дремучих лесов, уходящих в сизоватую даль. В представлении графа ни морские виды, ни швейцарские ландшафты не могли выдержать сравнения с родной ему русской черноземно-степной стихией, навевающей неизъяснимо чарующую прелесть. В то время как большинство его знакомых стремилось в иностранные курорты, он только по обязанностям службы выезжал за границу, да по усиленному настоянию врачей принужден был провести один сезон в Гомбурге. Я посетил графа здесь в вилле *«Imperial»* и слышал вполне убежденное мнение — «лучше Томникова нет курорта».

Природу граф обожал. Любил заниматься сельским хозяйством, ввел в широких размерах травосеяние на лугах, чем вначале весьма удивил местных землеробов, привыкших жить по старине. Заботливо относился к культуре лесов, гордился богатейшими делянками своего строевого леса.

По работам в полях, в лесу, на конском заводе ему в течение многих лет приходилось входить в тесное общение с простым народом. Русского крестьянина граф не поэтизировал и не принижал, понимал и любил. Немало у него было приятелей совершенно серых землеробов, толковых и разумных. Умел он с ними говорить, умел и слушать.

В представлении графа крестьянин жадно тянулся к земле, рад бы закупить хотя бы всю округу, но не любил своего надела, так как эти раздробленные полоски — не его собственность. Свой взгляд на необходимость перехода от общины к частной собственности граф высказал в 80-х годах в нашумевшей тогда печатной записке. Зная хорошо местные условия, он относился скептически к проекту учреждения института земских начальников. В архиве Государственного совета можно ознакомиться с его обстоятельным по этому поводу отрицательным отзывом.

Истинною страстью покойного были охота и лошади. Много уничтожил он на своем веку медведей, кабанов, рысей, волков, лисиц и других хищников. Частенько по ранней зорьке уходил он и «на перо». В молодости граф принимал участие на скачках и держал известную скаковую конюшню. Ликвидировал ее во время

турецкой войны и с тех пор сосредоточил в конской сфере усилия на развитии своего рысистого завода, слава о котором гремела среди спортсменов до последнего времени.

Богатырь душой и телом, он не мог сидеть спокойно и наслаждаться комфортом столицы, когда шла война на Кавказе. Его потянуло туда в 1859 году. Довелось участвовать в экспедициях и на «левом», и на «правом» флангах, а когда наступило замирение, он вернулся в Петербург, но ненадолго. Его, как флигель-адъютанта, командировали в Туркестан для инспекции войсковых частей. Он не удовольствовался ролью контролера, принял участие в боевых делах, стал необходимым генералу Романовскому, который и ходатайствовал об оставлении графа Воронцова-Дашкова его помощником.

Тридцати лет от роду граф Воронцов-Дашков, благодаря своим боевым отличиям на Кавказе и в Туркестане, явился в столицу свитским генералом, георгиевским кавалером. Немало еще есть стариков, которые помнят графа командиром лейб-гвардии гусарского Его величества полка. При воспоминании об этом фееричном времени у старых служивых разглаживаются морщины, играет хорошая, милая улыбка, — «да, были люди в наше время»!..

Служба И. И. в Туркестане протекла под командою Романовского, заменившего знаменитого завоевателя Ташкента М. Г. Черняева, который, как известно, ушел ввиду враждебно настроенного против его успехов ген. — ад. Крыжановского и всего начальнического сонма. Но с гр. Воронцовым-Дашковым у Черняева отношения всегда были превосходные. Они друг друга знали и ценили по достоинству. Граф не раз силой своего влияния оказывал поддержку Михаилу Григорьевичу. В организации сербской добровольческой экспедиции немалая доля заслуги должна быть отнесена именно гр. Воронцову-Дашкову.

Сослуживцы по Кавказу и Туркестану, безразлично — чиновные или самые маленькие люди в роде туземных милиционеров, — были всегда у Воронцова особо желанными гостями. Они очень часто находили в нем ходатая, заступника, а нередко — и материальную поддержку. «Кунак» он был искренний, верный.

Но счастье не всегда улыбалось графу.

Блестящая карьера, его яркая самостоятельность, даже близость к цесаревичу Александру Александровичу не всем пришлись по вкусу. И он испытал сильный укол недружелюбно настроенных лиц во время войны 1877 года. Ему поручено было стать во главе гвардейского корпуса. Он мобилизовал гвардию, затем лично делал разведки, приготовлялся вскоре вести войска в

бой, как неожиданно из главной квартиры последовало распоряжение о командировании графа в Рущукский отряд. Искусно занесенный удар больно отозвался на графе. Он вскоре действительно заболел и должен был уехать лечиться.

В бытность графа министром двора положение его было исключительное. Тем не менее, и при этом условии ему приходилось испытать уколы. Некоторых представителей власти беспокоила близость его к императору. Склонные к интриге, они и в другом прежде всего видели конкурента, соперника и старались по-своему, свойственными им неразборчивыми способами, обезвредить противника. Были деятели и из другой сферы, привыкшие к тому, что с ними считаются, а многие и заискивают. Они не могли выносить сдержанности, холодности, а потом и явной брезгливости к ним. Зато и не щадили же черных красок для расписывания портрета графа в карикатурном виде! Сам граф Воронцов сторонился рекламы, не любил показности и публичных выступлений, упорно не желал бороться с наветами. Ввиду этого весьма возможно, что некоторым он представляется не тем, чем в действительности был, а как бы с перекошенным лицом. Граф Илларион Иванович относился к такому походу вполне равнодушно.

При вступлении в управление Министерством двора он привел в удрученное состояние местный бюрократический мирок. Установленные долгими годами формы делопроизводства, разраставшегося по небольшим вопросам в огромные дела, приходилось резко изменить. Вылеживания докладов, отписок, переписки отделения с отделением в одном здании граф решительно не допускал. На внешнюю сторону докладов он не обращал внимания, но неизменно просил представлять сконцентрированные, нерасплывчатые разъяснения. Поседевшие в делопроизводстве мастера бюрократического уклада приходили в уныние, былая слава их быстро увядала…

Живая струя влила деловой характер в жизнь министерских учреждений. Сам министр с 9 час. утра до 11 час. вечера, с небольшим перерывом для завтрака, принимал докладчиков. Неоконченных дел не могло быть.

Со многим множеством сослуживцев и сотрудников графа Воронцова-Дашкова мне пришлось встречаться и беседовать о нем. Его бесспорно любили, уважали и ценили.

Как образчик отношений к почившему, привожу несколько строк из письма, полученного мною на днях от выдающегося деятеля: «Со смертью графа что-то близкое, симпатичное прервалось и улетело в вечность. В моем воспоминании с его именем связываются самые лучшие страницы моей жизни, когда я

стремился служить народу и в этом находил поддержку в светлой личности графа. Я никогда не забуду моих бесед с ним по поводу положения дел в нашем округе (одном из сибирских). Сколько симпатии и активного участия проявил он к переселенцам, желая как можно лучше устроить их, и это в то время, когда переселенцы в глазах администрации являлись злом, требующим искоренения (да, всякое бывало!..). Сколько любви проявлял он к делу народного образования в округе! Вообще, все культурные начинания в округе живо его интересовали и находили всегда поддержку».

Торжественные проводы при оставлении поста наместника и знаки искреннего сожаления и чествование памяти его на Кавказе после смерти показывают, что и там его полюбили, там его также по заслугам оценили. После получения известия о смерти графа Тифлисская городская дума постановила учредить стипендии его имени в Политехническом институте, поместить портрет там же, назвать одну из улиц именем графа и в знак траура закрыть заседание.

Среди многочисленных и верных почитателей графа сейчас мне живо вспомнился граф Витте. В его министерском кабинете на Мойке висело на стене всего два портрета, один из них графа Воронцова-Дашкова. Указывая мне на него, С. Ю. сказал: «С молодых лет питаю к нему особую симпатию, а с годами еще более стал очарован его рыцарской натурою».

Да, благородного рыцаря потеряли мы, знавшие его! Оторвалось, унесено в вечность нечто обаятельное, дорогое, родное.

notes

Примечания

1

См. об этом: *Ганелин Р. Ш., Куликов С. В.* Основные источники по истории России конца XIX — начала XX в.: Учеб. пособие. СПб., 2000. С. 84–91.

2

См. о нем: *Павловский И. Ф.* Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса. (1840–1890): По офиц. данным. Полтава, 1890; *Ромашкевич А. Д.* Материалы к истории Петровского Полтавского кадетского корпуса. Полтава, 1904–1913. Ч. 1–10. См. также: *Греков Ф. В.* Краткий исторический очерк военно-учебных заведений. 1700–1910. М., 1910.

3

Вдали от родных. (Из моих воспоминаний). СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1895. Вдали от родных. (Из моих воспоминаний). СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1895.

4

Юнкерские годы. 25 лет назад. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1898.

5

См.: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. Аннот. указ. кн. и публ. в журн. М., 1980. Т. 3. Ч. 2: 1857–1894 гг.

6

Кривенко В. С. Из рукописи «В Министерстве императорского двора» // Николай Второй: Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 34–36.

Опубликованные источники такого рода см.: Александр Третий: Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2001.

Мосолов А. А. При дворе последнего императора: Зап. нач. канцелярии министра двора. СПб., 1992.

9

См. об этом: *Григорьев С. И.* Придворная цензура как инструмент создания образа верховной власти в Российской империи: юридический аспект // Источник. Историк. История: Сб. науч. работ. СПб., 2002. Вып. 2. С. 169–238.

10

Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие и его политические институты. (Первая половина XIX в.). М., 1981. С. 7.

11

РГИА. Ф. 472 (Канцелярии Министерства императорского двора). Оп. 4з-Д. 67. Л. д.

12

Там же. Оп. 66. Д. 256.

13

Там же. Оп. 43- Д. 67.

См., напр.: Столетие уделов. 1797-1897- СПб., 1897; История уделов за столетие их существования. 1797-1897- СПб., 1901–1902; Т. ι-3; 200-летие Кабинета его императорского величества. 1704–1904.: Ист. исслед. СПб., 1911; Обзор деятельности Кабинета его императорского величества за 1906-15 годы. Пг„1916; *Волков Н. Е.* Двор русских императоров в его прошлом и настоящем. СПб., 1900; Юбилейная памятка конвойной стражи. 1811-27/Ш-1911. [СПб., іди]; *БровцынВ. П.* 50-летие Кассы Министерства императорского двора 1864–1914 г.: Крат. ист. очерк. СПб., 1914.

200-летие Кабинета его императорского величества. С. VIII.

16

Горфейн Г. М. Основные источники по истории высших и центральных учреждений XIX — начала XX вв. // Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX — начала XX в.: Сб. ст. Л., 1967. С. 73.

Ерошкин Н. П. Крепостническое самодержавие. С. 3.

Горфейн Г М. Основные источники. С. 74.

19

Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России: Учеб. для студентов, обучающихся по специальности «Историко-архивоведение». 3-е изд. М., 1983. С. 21.

20

См., напр.: *Давидович А. М.* Самодержавие в эпоху империализма. (Классовая сущность и эволюция абсолютизма в России). М., 1975. С. 181–183; *Соловьев Ю. Б.* Самодержавие и дворянство в конце XIX века. Л., 1973. С. 168–170; *Зайончковский П. А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978. С. 48.

21

Зайончковский П. А. Правительственный аппарат. С. 3.

Индова Е. И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в. М., 1964.

Жидков Г. П. Кабинетское землевладение. (1747–1917 гг.). Новосибирск, 1973.

Там же. С. 54.

25

Ерошкин Н. П. Министерства России первой половины XIX века — фондообразователи центральных государственных архивов СССР: (Учеб. пособие для студентов ФАД Ист. — архив. ин-та). М., 1980. С. 74.

Там же. С. 73–74.

27

См., напр.: *Ерошкина А. Н.* Министерство императорского двора и уделов // Государственность России: Гос. и церков. учреждения, сослов. органы и органы мест. самоуправления, единицы адм. — территор., церков. и ведомств. деления (конец XV в. — февр. 1917 г.): Слов. — справоч. М., 2001. Т. 3. С. 79–80; *Панина А. Л.* Министерство императорского двора и уделов // Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. Энцикл. М., 2000. Т. 3. С. 596.

28

См., напр.: *Шепелев Л. Е.* Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. Л., 1991; *Шепелев Л. Е.* Чиновный мир России. XVIII — начало XX вв. СПб., 1999; *Раскин Д. И.* Исторические реалии российской государственности и русского гражданского общества в XIX веке // Из истории русской культуры. М., 2000. Т. 5. С. 662–830.

Исмаил-Заде Д. И. Илларион Иванович Воронцов-Дашков // Исторические СИЛУЭТЫ. М., 1991. С. 20–62.

Несмеянова И. В. Управление императорским двором в XIX веке // Вестник Челябинского университета: Науч. журн. Серия 7. Государственное и муниципальное управление. 1998. № 1. С. 59–65.

31

Несмеянова И. В. Управление императорским двором в XIX веке. С. 61.

32

Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801–1917. СПб., 2002., Т. 3. С. 146–166.

33

Григорьев С. И. 1) Придворная цензура как инструмент создания образа верховной власти в Российской империи: юридический аспект // Источник. Историк. История: Сб. науч. работ. СПб., 2002. Вып. 2; 2) Канцелярия Министерства императорского двора как государственный институт // История повседневности. Сб. науч. работ. СПб., 2003; 3) Институт цензуры Министерства императорского двора // Государственный аппарат и реформы в России: К 200-летию министерской системы: (Материалы междунар. науч. конф. 24–25 окт. 2002 г.). СПб., 2003; 4) Институт цензуры Министерства императорского двора: Автореф. дис… канд. ист. наук. СПб., 2003; 5) Придворная цензура и печатная реклама // СМИ–2004. Средства информации в современном мире: (Тез. науч. — практ. конф. 21–22 апр. 2004 г.). СПб., 2004; 6) Царская PR-служба // Советник. 2004. № 10; 7) Придворная цензура в царствование императора Николая I // Новая политическая история: Сб. науч. работ. СПб., 2004; 8) Изменения в титуловании носителей верховной власти Российской империи (по материалам придворной цензуры) // Актуальные проблемы теории и истории государства и права: Материалы IV Междунар. науч. — теорет. конф., Санкт-Петербург, 24 дек. 2004 г. СПб., 2004; 9) Придворная цензура предметов широкого потребления // Цензура и доступ к информации: история и современность: Тез. Междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 16–18 марта 2005 г. СПб., 2005; 10) Придворная цензура — последняя ведомственная цензура Российской империи // Цензура в России: история и современность: Сб. науч. тр. СПб., 2005. Вып. 2.

Куликов С. В. 1) Социальный облик высшей бюрократии России накануне Февральской революции // Из глубины времен. СПб., 1995. Вып. 5; 2) Высшая бюрократия России в годы Первой мировой войны (1914–1917): Автореф. дис… канд. ист. наук. СПб., 1999; 3) Высшая царская бюрократия и императорский двор накануне падения монархии // Из глубины времен. СПб., 1999. Вып. 11; 4) Император Николай II в годы Первой мировой войны // Английская набережная, *4:* Ежегодник С.-Петерб. науч. о-ва историков и архивистов. СПб., 2000; 5) Правительственный либерализм нач. XX в. как фактор реформаторского процесса // Империя и либералы. СПб., 2001; 6) «Необычайно презрительное отношение к самой промышленности и торговле». Придворные и предприниматели в нач. XX в. // История глазами историков: Межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 70-летию д-ра ист. наук, проф., зав. каф. Рос. истории СПбГАУ Евгения Романовича Ольховского. Пушкин, 2002; 7) Придворный штат и частное предпринимательство в начале XX в. // Страницы российской истории: проблемы, события, люди: Сб. ст. в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003; 8) Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка, 194-1917. Рязань, 2004; 9) Камарилья и «министерская чехарда». Соотношение вербальных и бюрократических практик в позднеимперской России // Новая политическая история: Сб. науч. работ. СПб., 2004; 10) Русские немцы в составе императорского двора и высшей бюрократии: коллизия между конфессиональной и национальной идентичностями в нач. XX в. // Немцы в государственности России. СПб., 2004; 11) «Наш Друг сказал». Г. Е. Распутин и «министерская чехарда» // Родина. 2005. № 3.

35

РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д. 711. Л. 1.

Ерошкин Н. П. Министерства России первой половины XIX века. С. 70–71.

ПСЗII.Т. 1.№ 541.П. 2.

38

Учреждение Правительствующего Сената. Т. 1. Ч. 2. Изд. 1886 г. СПб., [1886]. Ст. 1.

39

Там же. Ст. 194.

Там же. Ст. 193.

41

Общий очерк к обзору деятельности Министерства императорского двора за время царствования в Бозе почившего императора Александра III. 1881–1894 / Сост. А. Н. Коковихин. СПб., 1901. С. 13–14.

Подобными представительствами позднее располагали отдельные установления МИДв, такие как Управление уделов (дворцовые хозяйства в Крыму, Польше и др.) и Кабинет е. и. в. (земельные управления в Алтайском и Нерчинском краях). Однако связи этих подразделений с центральными установлениями носили исключительно хозяйственный характер, а сами упомянутые установления МИДв являлись наиболее обособленными и закрытыми в рамках министерства.

43

РГИА. Ф. 472. Оп. 6. Д. 256. Л. 9–10.

Существует версия, что это было сделано императором во избежание конфликта между Л. А. Перовским и В. Ф. Адлербергом (см.: Отечественная история. Т. 3. С. 596).

ПСЗ II. Т. 31. № 31166.

46

РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д. 711. Л. 5.

Там же. Д. 256. Л. 1.

ПСЗ II. Т. 31. № 31166.

49

Расписание доходов и расходов Министерства императорского двора и уделов в 1857 году. [СПб., 1856].

50

РГИА. Ф. 472. Оп. 66. Д. 711. Л. 2.

Бокова В. М. Кривенко Василий Силович // Русские писатели. 1800–1917: Биогр. слов. М., 1994. Т. 3. С. 152–153.

52

Обзор деятельности Министерства императорского двора и уделов за время царствования в Бозе почившего государя императора Александра III. (1881–1894 гг.). СПб., 1901. Ч. 1. Кн. 1. С. 50.

53

Дневник Алексея Сергеевича Суворина. 2-е изд. М., 2000. С. 96.

Народное образование // Страна. 1881. № 125, 126.

Народное образование. СПб.: Тип. Р. Голике, 1882; То же. [СПб.]: Тип. Гл. упр. уделов, 1896.

Сборник кратких сведений о правительственных учреждениях. СПб.: Тип. Департамента уделов, 1888; 2-е изд. СПб., 1889.

Богданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990. С. 96.

Женщины-врачи (По поводу закрытия Женских врачебных курсов) // Новое время. 1889. № 4941.

Женщины-врачи. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1889.

60

Дневник Алексея Сергеевича Суворина. С. 98, 175, 217, 265, 272, 286, 369.

61

Там же. С. 273.

62

Путешествие его императорского высочества наследника цесаревича на Восток, от Гатчины до Бомбея // Правительственный вестник. 1891. № 41, 48, 56, 78, 100.

63

Путешествие его императорского высочества наследника цесаревича на Восток, от Гатчины до Бомбея. СПб.: Тип. М-ва внутр. дел, 1891.

Очерки Кавказа. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1893.

По дороге в Дагестан. [СПб.]: Тип. А. С. Суворина, 1895.

По Дагестану: Путевые заметки. СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1896.

67

Дневник Алексея Сергеевича Суворина. С. 230.

Там же. С.240.

Коронационный сборник. СПб., 1899. Т. 1.

70

Обзор деятельности Министерства императорского двора и уделов за время царствования в Бозе почившего государя императора Александра III. (1881–1894 гг.). СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1901.

Общие и военные школы. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1899.

Учебное дело. СПб., 1901.

В дороге и на месте. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1899.

Железнодорожные направления. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1901.

На окраинах. [СПб.]: Тип. А. С. Суворина, 1902.

76

Дневник Алексея Сергеевича Суворина. С. 368.

Толстой И. И. Дневник. 1906–1916. СПб., 1997. С. 181.

78

Дневник Алексея Сергеевича Суворина. С. 369.

Впечатления. Офицерское житье-бытье // Русская иллюстрация. 1905. 10 августа.

80

Протокол заседания Центрального комитета. 28 ноября 1906 г. // Партия «Союз 17 октября»: Протоколы съездов, конф. и заседаний ЦК: 1905–1915 гг. М., 1996.Т. 1. С. 265.

81

Джунковский В. Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 448.

Инвалиды. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1909.

83

Мой дорожник: Сб. заметок с 1900 г. по 1914 г. СПб.: Тип. Гл. упр. уделов, 1914.

Бокова В. М. Кривенко Василий Силович. С. 153.

85

Толстой И. И. Дневник. С. 529, 579.

Памяти графа И. И. Воронцова-Дашкова // Вестник Красного Креста. 1916. № 2.

Толстой И. И. Дневник. С. 534, 538, 540, 577, 631.

88

Воейков В. Н. С царем и без царя: Воспоминания послед. дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1994. С. 100.

89

Печатается по: *Кривенко В. С.* Вдали от родных: (Из моих воспоминаний). СПб.: Тип. товарищества «Общественная польза», 1895.

Имеется в виду Петровский Полтавский кадетский корпус, куда старшие братья В. С. Кривенко — Алексей и Яков Кривенко — поступили тремя годами ранее (Список кадетам, окончившим курс Петровско-Полтавского кадетского корпуса и Петровско-Полтавской военной гимназии, переименованной вновь в 1882 г. в кадетский корпус // *Павловский И. Ф.* Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса (1840–1890). Полтава, 1890. С. 44). Петровский Полтавский кадетский корпус — среднее военное учебное заведение, основанное в Полтаве в память победы в Полтавской битве 1709 г. по указу императора Николая I от 5 апреля 1836 г. на казенные субсидии и средства дворянства Полтавской, Харьковской, Черниговской и Екатеринославской губерний. Дворяне этих губерний вносили деньги на постройку зданий корпуса и его содержание. Открытие корпуса произошло 6 декабря 1840 г. в присутствии начальника штаба военно-учебных заведений Я. И. Ростовцева. В 1865 г. был преобразован в военную гимназию, в 1882 — снова в кадетский корпус. В первые полвека существования корпуса, с 1840 по 1890 г., в нем прослужил 251 человек, а окончили его — 1975 человек. В русско-турецкую войну 1877–1878 гг. георгиевскими кавалерами стали 10 выпускников корпуса, а в русско-японскую 1904–1905 — 6 *(Греков Ф. В.* Краткий исторический очерк военно-учебных заведений. 1700–1910. М., 1910. С. 116–124).

В это время семья В. С. Кривенко жила в Дербенте.

Т. е. Петровский Полтавский кадетский корпус.

93

К Полтаве.

Слово «мускулы» относилось лишь специально до мышц верхней части руки.

95

Преобразование Петровского Полтавского кадетского корпуса в военную гимназию произошло в 1865 г. и стало следствием реформы военного образования, проводившейся по инициативе и под руководством военного министра Д. А. Милютина. Суть реформы состояла в упразднении кадетских корпусов и отделении общего образования от специального, в связи с чем для получения первого учреждались военные гимназии, а для получения второго — военные училища. В отличие от кадетских корпусов, устройство военных гимназий было согласовано «с современными требованиями педагогики, как по части воспитательной, так и по части учебной», а потому в них практиковалось допущение к занятию воспитательских должностей «безразлично военных и гражданских чинов». Основные положения реформы император Александр II утвердил в декабре 1862 г. Преобразованию подверглись сначала столичные корпуса, а затем — провинциальные, в том числе и Петровский Полтавский *(Павловский И. Ф.* Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса. (1840–1890): По офиц. данным. Полтава, 1890. С. 105–108).

Этот размер изменен был лишь в 70-х годах. Надо заметить, что в нашем корпусе «отпускных» было мало и, следовательно, с этой стороны экономия получалась небольшая.

97

Катаральная лихорадка (лат.).

Как себя чувствуете? (франц.)

Понимаете? (франц.)

Изволите? (франц.)

101

Знаете? (франц.)

102

Подождите (франц.)

103

Имеется в виду состоявшееся в 1865 г. преобразование Петровского Полтавского кадетского корпуса в военную гимназию.

104

Результатом реформы военного образования стала замена руководящего и воспитательского персонала вновь учрежденных военных гимназий за счет привлечения к делу «людей из учебной части». Директором Петровской Полтавской военной гимназии вместо барона А.А. Икскуля фон Гильденбандта был назначен Ф. И. Симашко, а личный состав его воспитателей кардинально обновлен. Так, к декабрю 1866 г. от прежнего состава осталось только 5 человек (*Павловский И. Ф.* Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса. С. 108, 137).

105

Реформой 1865 г. деление на роты было заменено делением на возрасты, причем младший возраст назван первым, а старший — четвертым. Смешение возрастов признавалось нежелательным с педагогической точки зрения и не допускалось даже в лазарете и во время прогулок. В каждом возрасте было четыре отделения (иногда три или пять), а в каждом отделении — от 25 до 30 воспитанников (*Павловский И. Ф.* Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса. С. 121).

с глазу на глаз (франц.)

накидка на вечернее платье (франц.)

108

Печатается по: *Кривенко В. С.* Юнкерские годы. 25 лет назад. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1898.

109

Подразумевается Петровская Полтавская военная гимназия.

110

Имеется в виду Павловское военное училище в Петербурге, история которого началась при императоре Павле I. Именно он, еще будучи наследником, устроил при своих дворцах на Каменном острове и в Гатчине школы для сыновей инвалидов. В 1795 г. обе школы были соединены в Военно-сиротский дом, который в 1829 г. получил название Павловского кадетского корпуса. В 1863 г. вместо Павловского кадетского корпуса в здании 1-го кадетского корпуса открылось Павловское военное училище. Оно стало одним из трех первых военных училищ, образованных в ходе реформы военного образования, предпринятой Д. А. Милютиным. Состав его юнкеров насчитывал 300 человек и был эквивалентен батальону, имея организацию, соответствующую строевой (*Греков Ф. В.* Краткий исторический очерк военно-учебных заведений 1700–1910. М., 1910. С. 148–149).

нераздельные (франц.)

сладкое ничегонеделанье (итал.)

113

Перечисленные газеты имели либеральную репутацию.

114

Амплуа актера, исполнявшего роли первых любовников (франц.).

115

Речь идет о Красносельском военном лагере около Петербурга, где традиционно в конце весны – начале лета проводились маневры войск гвардии и Петербургского военного округа.

116

Катаральная лихорадка (лат.).

117

Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг.

походные палатки (франц.)

119

Печатается по: ОР РИБ. Ф. 1000 (Собрание отдельных поступлений). Оп. 2. Д. 672. Текст написан на стандартных желтоватых листах почтовой бумаги, в настоящее время обрезанных и подклеенных с одной стороны при реставрации. Текст черновой, присутствуют многочисленные вставки, зачеркивания строк и даже целых абзацев. В нескольких местах в рукописи оставлены чистые строки – по-видимому, автор предполагал дополнить и уточнить написанное. Писались мемуары на склоне лет; возможно, этим объясняются многочисленные повторы, описки, пропуски слов и букв, ошибки в падежах. Сохранено и унифицировано авторское написание некоторых слов и собственных имен, раскрыты некоторые сокращения в тексте (генерал-адъютант, генерал-лейтенант), титулы (граф, князь) сокращаются только перед фамилией, после цифр сокращаются рубли, унифицированы римские и арабские числовые обозначения (III, 2-й). Многочисленные очевидные описки, ошибки, несогласованность падежей, повторы двух одинаковых слов или выражений подряд исправлены без оговорок. Пропущенные слова вставлены по смыслу и выделены квадратными скобками. Таким же образом выделены (и отмечены сносками) вставки, сделанные карандашом посторонней рукой. Оставленные в рукописи незаполненными части листов отмечены сносками. Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современными нормами. Авторские подчеркивания выделены курсивом (Примечание Д. Н. Шилова).

С точки зрения своего персонального состава двор являлся совокупностью членов императорской фамилии и лиц, имевших придворные чины и звания, символизировавшие ту или иную степень близости их обладателей к носителю верховной власти. Поскольку в дальнейшем В. С. Кривенко неоднократно упоминает придворные чины и звания, уместно дать им подробную характеристику. Личный состав императорского двора включал в себя «придворный штат его величества», царскую свиту (т. е. носителей военно-придворных званий), лиц, имевших придворно-медицинские и придворно-духовные звания и обладательниц женских придворных званий. Министерство двора существовало как бы в стороне от собственно двора и соотносилось с ним приблизительно так же, как Государственная канцелярия с Государственным советом или Министерство юстиции с Правительствующим сенатом. Наиболее многочисленной и важной составной частью двора был, несомненно, «придворный штат его величества», распадавшийся на носителей чинов и состоявших в должности чинов («чины двора»), и лиц, находившихся в придворных званиях («придворные кавалеры»). Чины двора разделялись, в свою очередь, на первые (обер-гофмаршал, обер-гофмейстер, обер-егермейстер, обер-камергер, обер-шенк, обер-шталмейстер, а также, при наличии чина действительного тайного советника – обер-церемониймейстер), эквивалентные общегражданскому чину 2-го класса – действительного тайного советника и военному чину полного генерала, и вторые (гофмаршал, гофмейстер, егермейстер, шталмейстер, обер-церемониймейстер, а также директор императорских театров), равнозначные общегражданскому чину 3-го класса – тайного советника и военному чину генерал-лейтенанта. К чинам двора примыкали и церемониймейстеры, т. е. обладатели чина 5-го класса, перемещавшегося в 4-й класс, когда церемониймейстеры получали чин действительного статского советника. Хотя в данном случае и идет речь о придворном штате, в XIX – начале XX в. никакого штата в строгом смысле этого слова, т. е. количественно лимитированной номенклатуры должностей, в основе комплектования придворной иерархии не лежало, несмотря на то, что попытки создания такого штата предпринимались неоднократно. Рудиментарные напоминания о подобного рода попытках сохранялись только на уровне первых чинов высочайшего двора. В силу неписаного правила такие первые чины, как обер-гофмаршал, обер-камергер,

обер-шенк и обер-шталмейстер, могло иметь только одно лицо. Отличие придворных чинов от остальных придворных отличий состояло в следующем: если чины были жестко привязаны к определенному рангу (первые чины двора – ко второму, вторые – к третьему, церемониймейстеры – к четвертому и пятому), то звания еще с 1809 г., со времени знаменитого акта, изданного по инициативе М. М. Сперанского, конкретного ранга не давали. Наоборот, их получение напрямую зависело от наличия у кандидата в придворные кавалеры определенного чина: 4–5 и 5–8 классов для пожалования в звание камергеров и камер-юнкеров, соответственно. Некоей промежуточной ступенью между чинами и званиями являлось нахождение «в должности» второго чина или церемониймейстера. Статус сановников, находившихся в должности чинов двора, походил на положение камергеров и камер-юнкеров, поскольку пожалование в должность чинов двора не давало удостоенным этим отличием лицам определенного классного ранга. С другой стороны, руководство Министерства двора исходило из того соображения, что состоящие в должности вторых чинов «могли бы быть приравнены к действительным статским советникам». Пребывание в должности чинов двора отличалось от пребывания в придворном звании еще и постольку, поскольку, будучи привязано не к рангу соответствующего придворного чина, а к его наименованию, подразумевало последующее получение этого чина. Вот почему в случаях пожалований сановников, состоявших в должности чинов, в действительные чины, соответствующие пожалования являлись «как бы утверждением в придворной должности», т. е. придворном чине. Таким образом, нахождение в должности чина двора являлось отбыванием кандидатского стажа перед возведением в собственно чин двора. Совпадение придворного чина с реальной должностью, связанной с исполнением каждодневных обязанностей, подразумевавшихся его наименованием, имело место крайне редко. Подобного рода совпадение было налицо лишь в случае с обер-гофмаршалом и гофмаршалом (заведующий гофмаршальской частью), обер-шталмейстером (заведующий придворной конюшенной частью), обер-церемониймейстером (заведующий церемониальной частью), обер-егермейстером и егермейстером (заведующий императорской охотой), а также директором императорских театров. Обладание остальными чинами двора не обуславливало постоянного исполнения какой-либо одноименной должности. Таким образом, подавляющее большинство придворных чинов, будучи титулярными, а не действительными, являлись почетными отличиями. В то же время, остальные придворные чины, по

свидетельству начальника канцелярии Министерства двора А. А. Мосолова, не были и «абсолютно теоретическими: с ними соединялось некоторое фактическое исполнение соответствующих обязанностей» *(Мосолов А. А.* При дворе последнего императора: Зап. нач. канцелярии министра двора. СПб., 1992. С. 189). К их отправлению обладатели придворных чинов приступали во время разного рода официальных церемоний и торжеств. Так, обер-шенк подавал царю во время коронационного обеда золотой кубок с вином и возглашал: «Его величество изволит пить». Обер-егермейстеры присутствовали при высочайших охотах. Обер-шталмейстер сопровождал парадную царскую карету верхом, а шталмейстеры помогали царю и царице в нее садиться. Церемониймейстеры, подчинявшиеся обер-церемониймейстеру, поддерживали внешний порядок во время придворных мероприятий. В частности, во время церковной службы они следили за тем, чтобы никто громко не разговаривал и своевременно, до конца службы, возвращался на занимаемое им место. Придворное звание камер-юнкера, как и камергера, также «только в самых редких случаях было сопряжено с активными обязанностями» *(Палеолог С. Н.* Около власти: Очерки пережитого. Белград, [1929]. С. 180). Обязанности эти, чисто номинальные по своей сути, как правило, были связаны с почетными, т. е. осуществлявшимися, опять-таки, в дни торжеств, дежурствами при высочайших особах. Из всех придворных отличий, наряду с упомянутыми выше придворными чинами, являвшимися, одновременно, и реальными должностями, чины шталмейстера и церемониймейстера представляются наименее теоретическими. Это видно, в частности, из того, что при пожаловании в упомянутые придворные чины или их должности, помимо прочего, учитывалось также и известное соответствие между возможностью выполнения функций, которые подразумевались их наименованиями, и навыками и наклонностями кандидатов на получение шталмейстерства или церемониймейстерства. От претендента на пожалование в шталмейстеры требовалось умение верховой езды, а в церемониймейстеры – наличие многолетней практики несения во время придворных торжеств почетных дежурств при членах императорской фамилии, а также при посещавших Россию членах иностранных династий. Восхождение по лестнице придворной иерархии, сообразуемое со сроками выслуги соответствующих гражданских чинов, происходило, как правило, в соответствии с известной последовательностью, начиная со звания камер-юнкера, после которого следовало пожалование либо в звание камергера, либо в должность церемониймейстера, с последующим

утверждением в должности этого чина, причем лица, находившиеся в должности церемониймейстеров, представлялись к утверждению церемониймейстерами лишь в порядке постепенности, с строгим соблюдением старшинства между ними. Обладание сравнительно редким чином церемониймейстера, в отличие от обладания несравненно более распространенным званием камер-юнкера, обеспечивало непрерывность придворной карьеры, поскольку при производстве в действительные статские советники чин церемониймейстера, как плавающий, перемещался из 5 в *а* класс, звание же камер-юнкера при этом терялось. В 19˚8 г., чтобы обеспечить непрерывность придворной карьеры и для носителей данного звания, Николай II разрешил, узаконивая уже сложившуюся практику, жаловать звание камергера тем камер-юнкерам, которые имели чин статского советника. Церемониймейстеры и камергеры могли быть возведены в должность вторых чинов двора. Лица, состоявшие в этой должности, производились далее в собственно вторые чины, причем не ранее выслуги ими минимального срока (у лет – «за выдающиеся отличия», 1 о – обычный), положенного для получения чина 3 класса, или тайного советника, которому были эквивалентны вторые чины двора. С другой стороны, выслуга чина тайного советника сама по себе не являлась условием получения соответствующего придворного чина. Венчало придворную карьеру пожалование в первые чины высочайшего двора. Таким образом, получение придворного звания (или чина) не гарантировало автоматического получения следующего придворного отличия: при производстве в действительные статские советники терялось камер-юнкерство, в тайные советники – камергерство и нахождение в должности второго чина. В свою очередь, нахождение в этой должности не обеспечивало получения второго чина как такового, а обладание им – награждения первым чином, пожалование в который происходило лишь в крайне редких случаях и большей частью по личной инициативе царя. Такой нарочито усложненный, прихотливый порядок прохождения придворной карьеры, когда при пожаловании очередного придворного отличия ее приходилось начинать как бы заново, может показаться неким оторванным от жизни, лишенным какой бы то ни было внутренней логики анахронизмом. Однако на самом деле данный порядок, будучи чрезвычайно тонким инструментом, имел в виду вполне реальные, можно даже сказать – сугубо земные цели, позволяя, помимо прочего, держать под эффективным контролем социальное поведение сановника без использования более грубых методов материального воздействия, тем более что обладание

придворным чином или званием давало существенные привилегии. Их было по меньшей мере три: ι) право на участие в отправлении придворного ритуала, т. е. на участие в придворных церемониях и празднествах; г) право на личную аудиенцию у представителей императорской фамилии, и прежде всего – у императора и императрицы; 3) право на ношение придворного мундира. Все эти, на первый взгляд – достаточно символические, права на самом деле довольно резко выделяли сановников, ими наделенных, из общей массы не только простых смертных, но и высокопоставленных лиц, устраняя ту непроницаемую стену, которая отделяла императорскую семью от окружающего мира. Особое значение имела вторая из указанных привилегий, реально выражавшаяся в обладании правом «быть представленными их величествам», в то время как остальные высокопоставленные лица имели право лишь на то, чтобы «ходатайствовать о представлении» венценосцам перед Церемониальной частью Министерства двора. «Церемониальная часть, – вспоминал А. А. Мосолов, – само собой разумеется, не могла иметь списка лиц, имевших право на приглашение на бал и находившихся в столице. Поэтому всякий должен был заявлять о своем существовании: для сего записывались в особый реестр у гофмаршала» *(Мосолов А. А.* При дворе последнего императора. С. ι96). При расширительном толковании права на представление монарху и удачном стечении ряда подчас достаточно случайных обстоятельств (наличие у августейших особ не только расположения к данному конкретному лицу, но и элементарного свободного времени, присутствие их и того, кто желал получения высочайшей аудиенции, в одном и том же пункте и т. д.) встречи с царем или царицей можно было добиться за считанные часы. Несмотря на то, что формально право «быть представленным их величествам» имели все вообще придворные, фактически его реализация напрямую зависела от места, занимавшегося конкретным сановником в придворной иерархии – чем ниже располагалось это место, тем меньше имел он возможностей для того, чтобы воспользоваться указанным правом. Потенциально право почти беспрепятственного, хотя и не регулярного, доступа в императорские покои давало придворному возможности для оказания влияния на августейших особ как в политических, так и в чисто личных целях, и прежде всего – для обеспечения, путем непосредственного общения с ними, той или иной позиции на службе если не себе, то, по крайней мере, своим родственникам или свойственникам. Было бы, однако, совершенно неправомерно преувеличивать значение принадлежавшего придворным права на личную аудиенцию у монарха. Из-за крайней занятости

последнего делами по управлению государством, которые ассоциировались у Александра III и его сына прежде всего с прочитыванием докладов и других официальных бумаг, доставлявшихся министрами, а также в силу того, что ежедневно самодержцу приходилось принимать огромное количество представлявшихся ему, так сказать, в плановом порядке, официальных и неофициальных лиц, возможность воспользоваться этим правом, даже если его обладатель пользовался царской благосклонностью, наступала крайне редко, вследствие чего объективно оно не могло создать и чаще всего не создавало прочной предпосылки для длительного и глубокого влияния на самодержца. Не создавало такой предпосылки и другое объективное обстоятельство, связанное с отсутствием поблизости от места или в месте пребывания монарха тех из придворных, которые служили, а следовательно – и жили, либо в провинции, либо за границей. Наконец, известные пределы активности слишком настойчивого искателя ставил и придворный этикет, оставлявший определение начала, длительности и конца и выбор темы беседы, протекавшей во время встречи с монархом, исключительно за ним. Но, пожалуй, главная причина того, что возможность какого-либо стабильного, и прежде всего – политического, влияния на царя право личной аудиенции в подавляющем большинстве случаев содержало в себе именно в потенции, а не в действительности, заключалась в одной примечательной черте личности последних императоров, а именно – в их приверженности бюрократическому принципу строгого распределения компетенции. Подробнее об этом см.: *Куликов С. В.* Высшая царская бюрократия и императорский двор накануне падения монархии // Из глубины времен. СПб., 1999. Вып. 11. С. 21–28.

121

Т. е. А. С. Пушкиным.

122

Вместе с Воронцовым в полку юнкерами были: кн. Долгорукий (впоследствии посол в Персии), гр. Фредерике (будущий министр двора), бар. Мейендорф (генерал-адъютант), гр. Борх, бар. Вольф *(прим. авт.)*.

123

Флигель-адъютант – военно-придворное звание, носитель которого имел офицерский чин не выше полковника и входил в состав свиты его величества. Наряду с ним, существовали военно-придворные звания генерал-майора свиты (свитского генерала) и генерал-адъютанта, причем последнее давалось офицерам, начиная с генерал-лейтенанта. По воспоминаниям генерала Н. А. Епанчина, Александр II «был очень щедр на милостивое зачисление в его свиту, а император Александр III считал, что свитское звание следует жаловать как можно реже, чтобы повысить значение этой высокой награды, и держался такого порядка в течение всего своего царствования, так что царская свита становилась все малочисленнее». При монархе нес постоянное дежурство один из флигель-адъютантов, очередь которым велась в Военно-походной канцелярии. Флигель-адъютантам, находившимся в Петербурге, приходилось дежурить приблизительно раз в три недели. Полное дежурство, то есть генерал-адъютант, генерал-майор свиты и флигель-адъютант, назначалось только в дни празднеств, выходов, парадов и т. п. В остальное же время суточное дежурство нес только флигель-адъютант. При назначении дежурных к царю соблюдался обычай, чтобы они по их предыдущей службе имели отношение к тому дню, когда они дежурили; так, в дни полковых праздников дежурными назначались лица, прежде служившие в полку или им командовавшие. Помимо близости к особе монарха, звание флигель-адъютанта было сопряжено с известными правами. Флигель-адъютанты не занимали вакансии в полках и производились в чин со старшим сослуживцем, а также могли представляться императору в любой приемный день без испрошения на то особого разрешения, а только записавшись у дежурного флигель-адъютанта. В случае необходимости, по экстренному делу, они могли испрашивать разрешение об аудиенции у монарха через Военно-походную канцелярию у командующего Императорской главной квартирой (*Епанчин Н. А.* На службе трех императоров: Воспоминания. М., 1996. С. 147, 176, *312–313; Джунковский В. Ф.* Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 52, 54). Во второй половине XIX – начале XX в. придворная карьера военных была возможной почти исключительно в рамках Свиты его величества. Как отмечал в одном из своих всеподданнейших докладов граф В. Б. Фредерике, «по установившемуся порядку военные чины жалуются и назначаются в придворные чины и должности лишь по увольнении с военной

службы, кроме тех случаев, когда военные чины назначаются на придворные должности, положенные по штату Министерства императорского двора, как-то должности: гофмаршала, шталмейстера – управляющего придворной конюшенной частью, егермейстера – начальника императорской охоты, а также гофмейстера и шталмейстера великокняжеских дворов». Кроме того, в чин шталмейстера высочайшего двора и в должность этого чина жаловали преимущественно лиц, хотя и не находившихся на действительной военной службе, но, тем не менее, прошедших ее ранее. Вообще, чин шталмейстера одновременно был, по своей сути, как бы и гражданским, и военным *(Куликов С. В.* Высшая царская бюрократия и императорский двор накануне падения монархии // Из глубины времен. СПб., 1999. Вып. 11. С. 44–45).

124

Имеется в виду движение, захватившие широкие общественные круги в России в связи с моральной и материальной поддержкой освободительной борьбы славянских народов Балканского полуострова, находившихся под властью Турецкой империи.

125

Речь идет о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

126

Далее в рукописи оставлено свободное место – около трети страницы.

127

Т. е. будущего императора Александра III, приближенные которого, разделяя более консервативные взгляды, чем сотрудники его отца, оппонировали по многим аспектам внутри- и особенно внешнеполитического курса правительства Александра II. Подробнее об этом см.: *Чернуха В. Г.* Александр III // Александр Третий: Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2001. С. 14–15.

Т. е. в Военно-юридической академии, где в это время учился В. С. Кривенко.

почетное место (франц.)

130

Подразумевается Верховная распорядительная комиссия, образованная в феврале 1880 г. после очередного покушения народовольцев на Александра II – взрыва в Зимнем дворце – и действовавшая до августа этого года. Комиссия имела целью «и успокоение, и реформы» – координацию борьбы с революционным движением и выяснение и удовлетворение назревших общественных нужд. Начальником комиссии, имевшим диктаторские полномочия, являлся граф М. Т. Лорис-Меликов. Об ее образовании и деятельности см.: *Зайончковский П. А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. М., 1964. С. 148–229.

В состав комитета избрано было 25 человек. Опубликованный список был подписан Барановым *(прим. авт.)*.

132

После гибели Александра II 1 марта 1881 г. и воцарения Александра III Н. М. Баранов по инициативе обер-прокурора К. П. Победоносцева получил пост петербургского градоначальника и поддержал идею создания при нем своего рода «Комитета общественного спасения», каковым стал Временный совет из выборных представителей столичного населения. На рассмотрение совета градоначальник должен был передавать «меры, принятие которых он считает необходимым в видах ограждения общественной безопасности». Все меры, одобренные советом, имели «обязательную силу» и приводились в исполнение, если они не требовали «высочайшего одобрения». Предложения градоначальника, не одобренные большинством совета, не могли проводиться в жизнь. К участию в выборах совета привлекались домовладельцы и квартиронаниматели, а также представители торговли и промышленности. От каждого из 228 околотков Петербурга избирался один выборный, набравший простое большинство голосов, а затем выборные от околотков избрали из своей среды 25 членов совета. Избрание от околотков произошло уже 19 марта 1881 г., а на другой день они были приглашены к Н. М. Баранову для избрания совета. Большинство его членов принадлежали к чиновной и частью к сановной среде. Среди избранных, особенно в кандидаты, было немало представителей торгово-промышленной буржуазии. Состав совета, или, как его называли современники, «бараньего парламента», удовлетворял чаяниям либеральной общественности. Так, газета *«Страна»* по этому поводу писала: «Назначение Особого совета при градоначальнике, посредством отбора голосов на квартирах, дало такой личный состав, который нельзя не признать удовлетворительным». Так же положительно отзывался и *«Голос»*. Членами совета являлись граф И. И. Воронцов-Дашков и его преемник по должности министра двора – барон В. Б. Фредерике, причем И. И. Воронцов-Дашков возглавил одну из подкомиссий в составе совета – для организации «при особе его величества охранной стражи». Совет был распущен в июне 1881 г. Подробнее о нем см.: *Зайончковский П. А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880-х годов. С. 305–311.

133

В данном случае В. С. Кривенко неправ. Порядок охраны железнодорожного пути во время следования по нему царских поездов был изменен в сторону кардинального упрощения по личному повелению Николая II дворцовым комендантом генералом В. Н. Воейковым в феврале 1914 г. «Существовавшее тогда положение, – вспоминал Воейков, – возлагало эту охрану исключительно на военные части, стягивавшиеся к железной дороге за несколько дней до высочайшего проезда, а в день следования его величества путь представлял из себя цепь постов часовых, стоявших друг от друга на таком расстоянии, чтобы каждый из них мог видеть или слышать соседа. Порядок этот вызывал огромный наряд войск; в зимнее время почти за каждое следование императорского поезда несколько человек из стоявших на постах отмораживали себе руки или ноги, как это было и за последний проезд государя из Крыма в Царское Село, о чем мне пришлось доложить его величеству. Выраженное мне государем желание изменить существующий порядок вызывало необходимость всестороннего изучения вопроса и выработки новой системы». В. Н. Воейков разработал проект, согласно которому охрана железнодорожного пути возлагалась на Корпус жандармов, имевший в своем подчинении специальные железнодорожные управления. Ему подчинялись также отряды воинских частей, вызывавшиеся только в случаях крайней необходимости. Предположения В. Н. Воейкова, обсужденные в комиссии из представителей МВД, МПС и Дворцовой комендатуры, легли в основу инструкции по охране железнодорожного пути в упрощенном виде, утвержденной Николаем II в феврале 1914 г. С этого времени войска к оцеплению железных дорог во время проезда по ним императорских поездов не привлекались *(Воейков В. Н.* С царем и без царя: Воспоминания послед. дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1994. С. 20).

134

Имеется в виду катастрофа, во время которой императорский поезд, где находился Александр III вместе со всей своей семьей, сошел с рельсов и потерпел крушение.

135

У автора везде в рукописи ошибочно написано «Святой», что исправлено карандашом другой рукой.

136

«Святая дружина» («Священная дружина») – тайная организация, созданная после убийства императора Александра II представителями аристократии и высшего чиновничества для охраны нового императора Александра III, борьбы с революционным движением и пропаганды умеренно-либеральных идей. Кроме И. И. Воронцова-Дашкова, к образованию *«Дружины»* были причастны граф П. П. Шувалов, С. Ю. Витте, его дядя Р. А. Фадеев и др. *«Дружина»* начала свою деятельность 12 марта 1881 г. сначала в Петербурге и Москве, позднее появились ее филиалы в Киеве, Харькове, Нижнем Новгороде и других городах. Распущена в 1883 г. после назначения министром внутренних дел графа Д. А. Толстого по его инициативе. Подробнее о ней см.: *Сенчакова Л. Т.* «Священная дружина» и ее состав. (Общество тайной сыскной службы в России 80-х гг. XIX в.) // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1967. № 2; *Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш.* Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. С. 17–36.

137

Статс-секретарь его величества – почетное гражданское звание, которым награждались сановники первых четырех классов, пользовавшиеся особым доверием императора. Статс-секретари имели право личного доклада монарху и передачи его устных повелений.

138

Имеется в виду предыстория русско-японской войны 1904–1905 гг.

139

Речь идет о Комиссии по принятию прошений при Государственном совете, которая существовала с 1810 г., а с 1835 находилась в непосредственном ведении монарха. В 1884 г., как видно из последующих воспоминаний В.С. Кривенко – при его непосредственном, хотя и закулисном участии, она была преобразована в Канцелярию по принятию прошений при Императорской главной квартире. В 1895 г. эта канцелярия получила статус отдельного ведомства во главе с главноуправляющим и стала называться Канцелярией его величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых. В ее компетенцию входили: рассмотрение жалоб на высшие государственные учреждения и удовлетворение прошений, приносившихся на имя императора. Функционировала до 1917 г. См.: Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801–1917. СПб., 1998. Т. 1. С. 164–166.

140

Так у автора. В рукописи подчеркнуто карандашом другой рукой.

141

В тексте рукописи ошибочно: В. А. Адлерберг.

142

О театральных делах, а также об Академии художеств, Эрмитаже, об отношении к артистам и художникам мною составлен особый очерк, озаглавленный *«В художественно-артистической среде» (прим. авт.)*.

143

Далее в рукописи оставлены свободными несколько строк.

144

Синим карандашом, по смыслу правильнее «использовать».

145

предметы искусства (франц.)

гурманы (франц.)

изящные искусства (франц.)

148

Фрейлина – женское придворное звание, дававшееся девушкам из родовитых фамилий и терявшееся при их замужестве. Различались номинальные и дежурные фрейлины. Последние дежурили при особе императрицы и других представительницах императорской фамилии. «Во время дежурства фрейлина, – вспоминала одна из них, – не должна была отлучаться, так как в любую минуту она должна была быть готова к вызову императрицы. Она должна была присутствовать при утреннем приеме, должна была быть с государыней во время прогулок и поездок, короче – быть с государыней везде, где государыня бывала. Фрейлина должна была отвечать на письма и посылать поздравительные телеграммы и письма по указанию или под диктовку императрицы. Она также, помимо всего прочего, должна была читать царице». Жалованье дежурной фрейлины составляло 4000 рублей в год. Фрейлины находились в ведении обер-гофмейстерины, у которой «не было специальных обязанностей при царице, но она отвечала за работу фрейлин и других должностных лиц двора» *(Вырубова А. А.*Неопубликованные воспоминания // Николай Второй: Воспоминания. Дневники. СПб., 1994. С. 174, 175).

149

острота (франц.)

150

Намек на то, что в это время сенатором являлся А. Ф. Кони.

ищите женщину (франц.)

Имеются в виду утвержденные Александром III в 1884 г. *«Правила о порядке совмещения государственной службы с участием в торговых и промышленных товариществах и компаниях, а равно и общественных и частных кредитных установлениях».* Этими правилами запрещалось участвовать в учреждении акционерных обществ и в делах управления ими сановникам, состоявшим «в высших должностях и званиях государственной службы, в должностях первых 3-х классов и в соответствующих придворных чинах», т. е. в 1-х и 2-х чинах высочайшего двора, равных общегражданским чинам 2-го и 3-го классов. О сановниках, находившихся в придворных званиях, которые давались обладателям общегражданских чинов 4-го класса и ниже, в правилах ничего не говорилось. Как же отразилась эта двойственность на участии придворных в частнопредпринимательской деятельности? Что касается первых чинов двора, то в данном случае запрет на ведение ими этой деятельности соблюдался весьма строго вплоть до Февральской революции 1917 г. Этого нельзя сказать относительно вторых чинов, из которых в управлении акционерными обществами и банками участвовали 5 человек. Однако, их доля на фоне общей численности вторых чинов была столь невелика (3,1 %), что ее можно трактовать как исключение, подтверждающее правило. Но уже в случае с придворными, состоявшими в должности вторых чинов, чине церемониймейстера и в должности этого чина, картина несколько иная, поскольку прослойка руководителей акционерных обществ и банков колеблется в перечисленных категориях между одной десятой и одной пятой. Из числа сановников, находившихся в должности вторых чинов, в эту прослойку входили 10 человек. Из числа церемониймейстеров участниками правлений акционерных обществ и банков были 3 человека, из числа же сановников, находившихся в должности этого чина, – *2* человека. Таким образом, правила 1884 г., запрещавшие участвовать в управлении акционерными обществами и банками первым и вторым чинам двора, получили толкование в том смысле, что данный запрет не распространяется на сановников, находившихся в должности вторых чинов, а также в чине церемониймейстера и в должности этого чина. Подобное толкование вполне логично, поскольку правила имели в виду придворные чины, соответствовавшие 2 и 3 классу по общегражданской *«Табели о рангах»,* между тем как пребывание в должности этих чинов, само по себе никакого ранга не дававшее,

наблюдалось только в случае с теми придворными, которые имели общегражданские чины 4 класса и ниже. Участие в управлении акционерных обществ и банков церемониймейстеров и сановников, находившихся в должности упомянутого чина, также вполне понятно, так как это чин 5 класса. Естественно, что пребывание в придворных званиях, о которых в правилах 1884 г. также ничего не упоминалось, по мнению руководства Министерства двора, преградой для профессионального занятия частнопредпринимательской деятельностью не являлось. На случаи участия сановников, находившихся в придворных званиях, в частнопредпринимательской деятельности руководство Министерства двора, выступавшее против получения этих званий предпринимателями, фактически смотрело сквозь пальцы, тем самым допуская не прямую, а обратную коммерциализацию придворных отличий. Характерно, что проблему присутствия в составе придворного штата предпринимателей, оказавшихся во главе акционерных обществ и банков после получения придворного звания, а значит, и еще более актуальную проблему использования придворными своего высокого положения в целях личного обогащения, Министерство двора попросту проигнорировало. Пресечь использование придворного звания в целях личного обогащения можно было только одним способом – исключением из придворного штата сановника, перешедшего с государственной службы на частную. Вопрос об этом, однако, никогда не поднимался. Впрочем, придворные, становившиеся руководителями акционерных обществ и банков, очередного отличия, как правило, не получали, оставаясь на той ступени придворной иерархии, на которой их застало приобщение к частнопредпринимательской элите. Следовательно, с точки зрения руководства Министерства двора, допускавшего участие сановников, имевших придворные звания, в частнопредпринимательской деятельности, сам факт занятия ею как бы осквернял чистоту камергерских и камер-юнкерских мундиров, делая дальнейшую придворную карьеру их носителей невозможной. Понятно, что ограничение запрета на участие в предпринимательской деятельности только чинами двора привело к заметному участию в этой деятельности не только придворных, находившихся в их должности, но и сановников, находившихся в придворных званиях. Накануне Февральской революции из числа лиц, имевших звание камергера, в управлении акционерными обществами и банками участвовали 22 человека. Из числа лиц, имевших звание камер-юнкера, к участию в управлении акционерными обществами и банками были причастны 11 человек. Однако соответствующие

процентные показатели настолько малы, что не позволяют говорить о наличии тесной связи прослойки камергеров и камер-юнкеров с частнопредпринимательской элитой. Показательно, что к 1917 г. из всех придворных-предпринимателей председателями правлений акционерных обществ были только 8 сановников, тогда как членами этих обществ являлись 45 человек. Чрезвычайно тонкая связь сановников, имевших придворные звания, с частнопредпринимательской элитой, характерна и для более раннего времени. В 1902 г. в группе «крупнейших дельцов», т. е. предпринимателей, занимавших пять и более руководящих должностей, придворные отсутствовали вовсе. В 1914 г. из 223 подобного рода дельцов придворными были лишь 5 человек (2,2 %). Особо следует отметить, что столь же тонкими являлись и связи сановников, имевших придворные звания, с банковской элитой. Накануне Февральской революции из их числа членами правлений банков были только 10 человек. Большинство придворных, являвшихся банкирами (6 человек), имели звание камергера. Более распространенной, чем управление акционерными обществами и банками, формой причастности придворных к частнопредпринимательской деятельности было обладание акциями. Вообще же анализ отношений, сложившихся после издания правил 1884 г. между придворным штатом и частным предпринимательством показывает, что отношения эти вплоть до Февральской революции протекали под знаком исключительно привилегированного положения придворного штата. Это нашло свое выражение в том, что для предпринимателей придворная карьера была совершенно невозможной, между тем как для придворных, если они не являлись чинами двора, предпринимательская карьера оказывалась абсолютно доступной. Неравноправное положение частного предпринимательства несколько уравновешивалось тем, что придворный, перешедший в частнопредпринимательскую элиту, лишался возможности дальнейшего повышения по придворной линии. Впрочем, подобная проблема перед подавляющим большинством придворного штата не стояла, поскольку его связи с упомянутой элитой были чрезвычайно тонкими – к началу 1917 г. к ней принадлежали только 5 % придворных. Подробнее об этом см.: *Куликов С. В.* 1) «Необычайно презрительное отношение к самой промышленности и торговле». Придворные и предприниматели в нач. XX в. // История глазами историков. Межвуз. сб. науч. тр., посвящ. 70-летию д-ра ист. наук, проф., зав. каф. Рос. истории СПб ГАУ Евгения Романовича Ольховского. Пушкин, 2002; 2) Придворный штат и частное предпринимательство в начале XX в. // Страницы российской

истории: проблемы, события, люди: Сб. ст. в честь Бориса Васильевича Ананьича. СПб., 2003.

153

Подразумевается коронация Александра III.

154

Знак вопроса принадлежит автору. К листу рукописи приложен небольшой листок для памяти с надписью: «Спросить Чаплина об Аракине, стр. 61».

155

Имеется в виду проводившаяся с 1863 по 1866 г. государственным контролером В. А. Татариновым реформа Государственного контроля, ставшая одной из «великих реформ» царствования Александра II. Суть реформы состояла в учреждении единой для всех ведомств и независимой от исполнительной власти ревизионной инстанции, принципах единообразия и публичности при составлении и исполнении госбюджета и сосредоточении денежных средств исключительно в кассах Министерства финансов. Подробнее об этом см.: *Алышевский Н. Я.* В память В. А. Татаринова. О прошлом и нынешнем устройстве государственного контроля в России. СПб., 1881; *Сакович В. А.* Государственный контроль в России, его история и современное устройство в связи с изложением сметной системы, кассового порядка и устройства государственной отчетности. СПб., 1896–1897. Ч. 1, 2.

по чистой совести (лат.)

157

Далее в рукописи оставлено свободное место на четверть страницы.

158

О роли С. Ю. Витте накануне и после катастрофы в Борках см.: Из архива С. Ю. Витте: Воспоминания. СПб., 2003. Т. 1. С. 165–169. Ср.: *Кони А. Ф.* На жизненном пути. Л., 1929. Т. 5. С. 250, 252–254.

159

О позиции И. И. Воронцова-Дашкова по вопросу о введении в 1889 г. института земских начальников см.: *Зайончковский П. А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия: (Полит. реакция 80-х. – нач. 90-х годов). М., 1970. С. 388–389.

160

Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг.

161

Далее в рукописи оставлены свободными две строки.

Подробнее о Ливадии и других крымских резиденциях императорской фамилии в царствование Александра III см.: *Калинин Н. Н., Земляниченко М. А.* Романовы и Крым. Симферополь, 2005. С. 77–104.

163

Подразумевается русско-турецкая война 1877–1878 гг.

164

Так в рукописи. Слово подчеркнуто синим карандашом и сверху написано: «Щепетильно?»

165

Во время революции 1905 года дом сожжен *(прим. авт.)*.

возражение (франц.). Так в рукописи. Слово подчеркнуто карандашом другой рукой со знаком вопроса.

167

Так в рукописи. По-видимому, пропущено одно слово.

168

Далее в рукописи оставлено свободное место на треть страницы.

169

См. предыдущее примечание.

170

Имеется в виду катастрофа, происшедшая 18 мая 1896 г. на Ходынском поле около Москвы. Во время раздачи собравшейся там более чем полумиллионной толпе подарков в честь коронации Николая II погибло 1389 человек. Расследование обстоятельств катастрофы произвел следователь по особо важным делам при Московском окружном суде П. Ф. Кейзер, отличавшийся неподкупностью и приступивший к исполнению своих обязанностей непосредственно в день катастрофы. Именно на материалах этого расследования и были основания позднейшие мнения о причинах Ходынки министра юстиции Н. В. Муравьева и члена Государственного совета графа К. И. Палена. П. Ф. Кейзер установил ложность двух наиболее распространенных версий причины катастрофы, согласно которым люди погибли из-за неправильного расположения будок для раздачи подарков и наличия на поле большого количества рытвин и ям. П. Ф. Кейзер доказал, что система будок «вызвать несчастия не могла, так как не была в состоянии послужить препятствием к рассеянию толпы». Кроме того, он обнаружил, что ни в одной из рытвин или ям ни одного трупа нет – все погибшие лежали «в стороне от места, где находилась толпа и где катастрофа произошла». П. Ф. Кейзер также выяснил неверность еще одной версии – о том, что людей толпа затоптала, поскольку под ее ноги попали уже мертвые тела тех, кто ранее, стоя в толпе, погиб от асфиксии или солнечного удара. «Движение толпы, – подчеркивал коллега П. Ф. Кейзера по Московскому окружному суду А. А. Лопухин, – заставило мертвые тела опуститься, попадать, а затем они уже и были затоптаны». Объясняя причины трагедии на основании данных П. Ф. Кейзера, А. А. Лопухин писал: «Толпа состояла из людей, плотно закусивших и хорошо выпивших, многие были сильно пьяны; жара стояла страшная, – термометр в ночь на 18-е мая показывал после заката солнца 20 градусов по Реомюру, а чуть солнце встало, температура быстро поднялась. Когда начало светать, часов около 4-х утра, толпа, по рассказу свидетелей, стояла как бы покрытая густым темно-серым паром, слой которого был до аршина толщиной. Толщина его к моменту катастрофы доходила уже до $2^1/_2$-3 аршин. Эти густые скопления людских испарений пресекли доступ к толпе кислорода, – для нее как бы не хватило в небе воздуха. Непосредственными последствиями этого явления и жары и сделались удушения и солнечные удары. Логическим выводом из всего доказанного следствием было, что первопричиной

несчастия явилось чрезмерное скопление народа на небольшой сравнительно площади, обусловленное тем, что движение народа на Ходынском поле не было никем организовано». Поскольку обязанность организации движения народа на поле лежала прежде всего на московской полиции и лишь потом – на чинах Министерства двора, расследование П. Ф. Кейзера подводило к выводу о виновности первой. *(Лопухин А. А.* Отрывки из воспоминаний. (По поводу «Воспоминаний» гр. С. Ю. Витте). М.; Пг., 1923. С. 32–40).

171

Фельдфебель Пажеского корпуса – камер-паж его величества *(прим. авт.)*.

Так в рукописи. Правильнее было бы «произвел».

173

Имеется в виду Польское восстание 1863 г.

Т.е. в русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

175

В рукописи у слова «Бабигоны» стоит знак сноски, но сама последняя отсутствует.

176

Подразумевается Бабигонский парк.

177

Князь Белосельский-Белозерский *(прим. авт.)*.

Граф Шувалов (флигель-адъютант) *(прим. авт.)*.

Демидов, князь Сан-Донато *(прим. авт.)*.

180

Гольм – биржевой нотариус, бонвиван, балетоман, дружил с «золотой молодежью» *(прим. авт.)*.

Грессер – градоначальник впоследствии *(прим. авт.)*.

182

Директор императорских театров – придворный чин, относившийся ко вторым чинам двора. Этот чин, по воспоминаниям его обладателя князя С. М. Волконского, был «единственный в своем роде. В то время как гофмейстеров, шталмейстеров, егермейстеров много, – отмечал князь, – директор театров один. Представительная сторона довольно стеснительная; когда государь или императрица в театре, директор обязан быть». По мнению С. М. Волконского, «одна из причин, почему директор императорских театров возбуждал такую зависть, это привилегия, которою он пользовался, когда государь бывал в театре, – входить в царскую ложу во время антрактов. В то время как министры имели дни доклада, в то время как высшие сановники видали государя раз, два в неделю, директор театров видал его по нескольку раз в вечер, а на масленице, например, когда были денные спектакли, то два раза в день по три, четыре раза. Никто, как директор театров, не имел возможности “поболтать" с государем» (*Волконский С. М.* Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2. С. 168, 150).

183

Победоносцев играл роль в организации *«Добровольного флота» (прим. авт.).*

184

Далее в рукописи оставлено свободное место на две трети листа.

185

Ив. Н. Дурново – тогда главноуправляющий учреждениями императрицы Марии Федоровны *(прим. авт.)*.

В. В. Сутугин – медицинский инспектор этого ведомства *(прим. авт.)*.

187

В рукописи ошибочно «1897». Другой рукой карандашом над цифрой 7 написано: «4?».

188

Речь идет о русско-японской войне 1904–1905 гг. и Первой мировой войне 1914–1918 гг.

189

Фельдмаршал вызван был на дуэль своим адъютантом, за женой которого он ухаживал. Барятинский покинул Кавказ и уехал за границу. Состоялась ли дуэль, не знаю. Супругов развели. Князь женился на разведенной и поселился во дворце в Скерневицах *(прим. авт.)*.

190

А. И. Барятинский и И. И. Воронцов-Дашков, вдохновляемые Р. А. Фадеевым, были сторонниками прусской системы военного управления, существовавшей и в России с 1815 по 1836 г. Она заключалась в оставлении за Военным министерством лишь хозяйственных вопросов и подчинении армии в строевом отношении начальнику Главного штаба его величества, подчинявшегося непосредственно императору. В июне 1881 г., после отставки военного министра графа Д. А. Милютина, была образована особая комиссия под председательством графа П. Е. Коцебу для рассмотрения вопросов реорганизации военного управления на основе прусской системы. Членами комиссии стали великие князья Михаил Николаевич, Николай Николаевич, Владимир Александрович, военный министр П. С. Ванновский, начальник Главного штаба Н. Н. Обручев, министр двора граф И. И. Воронцов-Дашков, начальник Академии Генерального штаба М. И. Драгомиров и еще 23 высших чина Военного министерства. Комиссия работала с 6 октября по *7* ноября 1881 г. Крайнюю точку зрения выразил И. И. Воронцов-Дашков, который полагал, что необходимо разделить Военное министерство, причем он остался в меньшинстве – графа поддержал только О. Б. Рихтер. Во время голосования за предложение И. И. Воронцова голосовали 9, а против – 21 человек. В итоге комиссия высказалась за сохранение военно-окружной системы в том виде, в каком она находилась. Единственное новшество, которое поддержала комиссия – это пересмотр Положения о полевом управлении войск в военное время. Подробнее о работе комиссии см.: *Зайончковский П. А.* Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. 1881–1903. М., 1973. С. 89–102.

191

Т.е. русско-японской войны 1904–1905 гг.

192

Лейб-хирург— придворно-медицинское звание. Наряду с ним существовали звания лейб-медика (почетного и действительного), лейб-акушера, лейб-дантиста, лейб-отиатра и т. д. Александр III, вспоминал Н. А. Вельяминов, «был вообще очень скуп на пожалование своих вензелей и придворных званий, и при нем лейб-медиков, носивших его вензеля, т. е. им в это звание пожалованных, было всего 4 врача». Все они «носили звание почетных лейб-медиков; в звание действительных лейб-медиков при государе Александре III никто пожалован не был» (Воспоминания Н. А. Вельяминова об императоре Александре III // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и док. XVIII–XX вв. М., 1994. Вып. 5. С. 254).

193

На свою перегруженность делами обращал внимание сам император. Так, 9 июня 1890 г., сообщив А. А. Половцову, что он принимает доклады «с утра» «вплоть до завтрака», Александр III заметил: «После завтрака иду гулять и потом опять принимаюсь за бумаги. В 5 часов иду пить чай к жене, это единственное время, когда ее вижу. После обеда хочется что-нибудь почитать, а там опять бумаги до третьего часу» (*Половцов А. А.* Дневник государственного секретаря. М., 1966. Т. 2. С. 295). Показательно, что привычку работать без секретаря воспринял от своего отца Николай II. По свидетельству преемника В. С. Кривенко, А. А. Мосолова, Николай II «никогда не имел частного секретаря». «Помазанник Божий, – писал по этому поводу А. А. Мосолов, – царь держался сознательно и систематически высот, куда не мог проникнуть простой смертный» (*Мосолов А. А.* При дворе последнего императора. С. 76). Николай II, вспоминала в свою очередь статс-дама баронесса С. К. Буксгевден, «не имел личного секретаря» (*Буксгевден С. К.* Император Николай II, каким я его знала: Отрывки воспоминаний // Возрождение. 1957. Тетр. 67. С. 30). «Ведь личного секретаря даже не было, – подразумевая Николая II, подчеркивал бывший управляющий МВД князь Н. Б. Щербатов. – Способ ведения дел был вообще чрезвычайно своеобразный» (Допрос князя Н. Б. Щербатова. 27 сентября 1917 г. // Падение царского режима: Стеногр. отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайн. следств. комис. Врем, правительства. М.; Л., 1927. Т. 7. С. 211). Объясняя причины отсутствия у царя личного секретаря, А. А. Мосолов писал: «Он не имел секретарей. Впрочем, официальные документы, письма не строго частного характера писались канцеляриями. Танеев составлял “рескрипты" сановникам, министр двора – официальные письма членам царской семьи, министр иностранных дел по должности ведал корреспонденциею с иностранными монархами и т. д. Секретарь государя мог бы иметь и другие задачи: классифицировать корреспонденцию, наблюдать за ходом дел, принимать входящие и т. п. Достаточно работы для двух-трех доверенных приближенных. Но тут-то и заключалась трудность. Надо было бы довериться кому-либо. А царь недолюбливал доверять свои мысли посторонним. Вдобавок была и другая опасность: секретарь стал бы расти в значении, сделался бы необходимым, влиял бы на монарха. Влиять на того, кто желал слушаться лишь своей совести! Одна эта возможность должна была сама по себе встревожить Николая II».

«Императрица, – свидетельствовал А. А. Мосолов, – имела частного секретаря, графа Ростовцова. Царь – никого. Он желал быть одним. Одним пред своею совестью» *(Мосолов А. А.* При дворе последнего императора. С. 76–77)· Крайне ревнивое отношение самодержца к собственной роли приводило не только к отсутствию у него личного секретаря, но и к ситуации, при которой царь готов был тратить свое время на исполнение чисто канцелярских обязанностей – лишь бы не оказываться даже в минимальной зависимости от лица, исполнявшего бы эти обязанности с гораздо большим успехом. Николай II, вспоминала С. К. Буксгевден, «делал всю работу сам, даже накладывал государственные печати на конверты перед тем, как их передавать для отправки» *(Буксгевден С. К.* Импратор Николай П. С. 30). Имея в виду данную особенность Николая II, А. А. Мосолов писал: «Он был до такой степени педантичен в исполнении своих обязанностей, что сам ставил печати на свои письма. Только при большой спешке бывало, что государь поручал эту второстепенную обязанность своему камердинеру. Последний, впрочем, должен был представлять свою работу, чтобы царь мог самолично убедиться в ее исполнении» (*Мосолов А. А.* При дворе последнего императора. С. *76)*. Давая показания Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, начальник канцелярии Совета министров И. Н. Лодыженский припомнил о пакетах, содержавших бумаги от царя и имевших личную печать императора и даты, проставленные фельдъегерем, «когда он получал пакет для отправки». «Обыкновенно эти даты, – отмечал И. Н. Лодыженский, – заносились в соответственные журналы. Иногда вновь поступавшие председатели, которые не знали всей силы этой даты, рвали конверт, и мне приходилось в Фельдъегерской части узнавать, когда он был отправлен; это не имело само по себе никакого значения, но для нас в Канцелярии этим числом датировалось утверждение, привезенное фельдъегерем, и затем они заносились в журналы» (Допрос И. Н. Лодыженского. 19 июля 1917 г. // Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 6. С. 154, 155)· Следовательно, Николай II, подобно отцу, общаясь с фельдъегерями наедине, затруднял работу канцелярии Совета министров, поскольку самолично накладывая на конверты печать, не оставлял в этих конвертах никакой информации о датах их отправки, представление о которых основывалось на таком явно ненадежном фундаменте, как пунктуальность фельдъегеря.

Имеется в виду Вильгельм II.

Отказ Александра III от строительства дворцов объяснялся не только его экономностью, но и тем, что из всех изящных искусств он предпочитал живопись, в ущерб архитектуре и всему, что с ней связано. Первоначально царь интересовался только западноевропейской живописью, в основном датской и французской. Однако уже в начале 1870-χ гг. относится зарождение сильного интереса цесаревича к отечественному искусству. Так, в 1870 г. он приобрел коллекцию московского купца В. М. Кокорева, которая включала в себя произведения русских живописцев XVIII – первой половины XIX в. Впоследствии еще больший интерес Александр проявлял к современной ему живописи, покупая картины мастеров-академистов. Под влиянием художника-мариниста А. П. Боголюбова и своего брата, великого князя Владимира Александровича, в середине 1870-χ гг. цесаревич начал отдавать явное предпочтение членам Товарищества передвижных художественных выставок. Близкие отношения, существовавшие между А. П. Боголюбовым и Александром III, завязались еще в 1860-е гг., когда А. П. Боголюбов давал уроки живописи жене цесаревича, будущей императрице Марии Федоровне. Именно А. П. Боголюбов содействовал переориентации художественного вкуса Александра с западноевропейских на русских художников, и прежде всего – на передвижников. В октябре 1875 г., при посещении Парижа, цесаревич общался с А. П. Боголюбовым, который познакомил высокого гостя с передвижниками, работавшими в это время в столице Франции. Цесаревич купил у передвижников и заказал им несколько картин. С этого времени Александр играл роль покровителя Товарищества. По инициативе А. П. Боголюбова и при поддержке цесаревича в 1876 г. в Париже было основано Общество взаимного вспомоществования русских художников, почетным покровителем которого до вступления на престол являлся Александр III. В дальнейшем попечителем общества был великий князь Владимир Александрович, а почетным президентом – посол России во Франции барон А. П. Моренгейм. Общество субсидировалось из личных средств Александра III. Когда в 1878 г., из-за невозможности для передвижников организовывать свои выставки в залах Академии художеств, возник вопрос о постройке для них выставочного павильона в Александровском саду в Петербурге, цесаревич оказал им поддержку перед городским головой столицы. Тем не менее, петербургское городское самоуправление идею постройки

выставочного павильона провалило. С 1881 г., после восшествия на престол, Александр III выказывал свои симпатии к передвижникам еще более откровенно, давая им крупные заказы, скупая их картины и посещая передвижные выставки в Петербурге. На одной из них, в 1885 г., он заявил, что «всегда смотрел на товарищество как на представителей передового русского искусства». Общим у императора и передвижников являлось и мнение о пагубности характерного для академизма стремления к «чистому художеству», равно как и о воспитательном значении искусства для общественной и государственной жизни. «Не должно ограничивать свои заботы одним Петербургом, – сказал как-то Александр III, – гораздо больше следует заботиться о всей России: распространение искусства есть дело государственной важности» *(Прахов А. В.* Александр III как деятель русского художественного просвещения//Художественные сокровища России. 1903. Т. 3. С. 148, 149–150). Взаимоотношения царского двора и движения передвижников охарактеризовал Я. Д. Минченков. «Двором отпускалось ежегодно пятнадцать тысяч рублей на приобретение картин для музеев, – отмечал он. – Из членов Академии художеств создавалась комиссия, которая и тратила эту сумму по назначению. Меценатом являлся сам царь. Народившееся национальное искусство ему желательно было использовать при проведении общей политики, для укрепления идей самодержавия и православия. Передвижники заказов от двора с его установкой на искусство не принимали. Напрасно Александр III старался подкупить передвижников, предлагая им постройку выставочного здания у Исаакия – с двуглавым орлом и титулом «императорское». Охраняя свою самостоятельность и независимость, передвижники отказались от подарка и выполняли прежнее свое постановление – не вступать на царскую службу. Когда же в силу условий, создавшихся в кругу искусства, явилась необходимость войти в Академию художеств и передвижникам, общее собрание Товарищества передвижников дало на это разрешение своим членам с условием, чтобы они не участвовали на академических выставках и сохраняли неразрывную связь с Товариществом. Передвижники – профессора Академии, получая по службе чины и ордена, не признавали их и никогда не носили ни формы, ни орденов, ни каких-либо значков, которые выделяли бы их из общего круга художников. Царю приходилось приобретать на передвижных выставках то, что было свободно выполнено художниками, насколько последние могли свободно выражать себя при классовом воздействии на искусство. Александр III покупал для себя и для музеев произведения часто

большого значения и большой стоимости, вещи, мимо которых просто нельзя было пройти, не заметив их значимости. Из приобретений Александра III составился, как известно, музей, носивший его имя. На первой неделе поста царь говел, в субботу причащался и после завтрака с семьей ехал на передвижную выставку, накануне ее открытия для публики. Здесь он беседовал с художниками и приобретал их вещи» (*Минченков Я. Д.* Воспоминания о передвижниках. Л., 1959. С. 287). По повелению Александра III при реформировании Академии художеств в 1893 г., к которому был причастен В. С. Кривенко, передвижники получили карт-бланш, потеснив академистов и заняв в Академии лидирующее положение.

196

Далее в рукописи оставлено свободное место – чуть менее половины листа.

197

По наблюдениям С. Ю. Витте, Мария Федоровна не имела на Александра III политического влияния, хотя граф и признавал, что поворот внешней политики России от Германии к Франции произошел именно под ее воздействием. В начале царствования Николая II он, по мнению С. Ю. Витте, находился «под полным влиянием» матери, следствием чего в 1895 г. были создание военного порта в Либаве и уход И. Н. Дурново с поста министра внутренних дел, а также то, что царь относился «враждебно» к князю В. П. Мещерскому. Вместе с тем, в 1895 г. Д. С. Сипягин не стал преемником И. Н. Дурново, хотя Мария Федоровна и желала этого. Тогда же она воспротивилась назначению министром путей сообщения кандидата С. Ю. Витте А. П. Иващенкова и одобрила другого его кандидата – князя М. И. Хилкова, который и был назначен. «Громадное влияние» Марии Федоровны, полагал С. Ю. Витте, привело к тому, что в 1896 г. расследование Ходынской катастрофы было поручено графу К. И. Палену, не сумевшему, впрочем, добиться у Николая II полного одобрения результатов расследования. Ослабление политической роли Марии Федоровны началось после 1899 г., когда определилось стремление Николая II ограничить автономию Финляндии. Вдовствующая императрица, которую финны «весьма почитали», была противницей антифинляндского курса, проводившегося военным министром А. Н. Куропаткиным и министром статс-секретарем по делам Великого княжества Финляндского В. К. Плеве, и уговаривала царя «не травить финляндцев». Кроме того, ее «немало смущали» встречи Николая II с адептом французского Ордена мартинистов Филиппом. В результате Мария Федоровна начала терять «всякое влияние» на сына, хотя в январе 1903 г. вдовствующая императрица предотвратила подписание Николаем II указа об увольнении С. Ю. Витте с поста министра финансов и способствовала изданию милостивого по отношению к нему высочайшего рескрипта. Впоследствии Мария Федоровна «не имела никакого влияния» на сына, так что к 1907 г. их отношения были даже «самые натянутые» (*Куропаткин А. Н.* Дневник// Красный архив. 1922. Т. 2. С. 59, 60; Из архива С. Ю. Витте. Т. 1. С. 264, 320, 336, 337, 44, 415, 416, 423, 453, 454; Т. 2. С. 8, 14, 17, 28, 35, 73, 81, 97, 133, 284).

198

Г. А. Евреинов занимал пост товарища министра путей сообщения до 1892 г., т. е. при Александре III, а затем являлся сенатором. Поэтому приводимый В. С. Кривенко эпизод мог относиться не к Николаю II, а к его отцу.

199

Далее в рукописи оставлено свободное место, по-видимому, чтобы вписать имя и отчество Аршеневского.

200

Далее в рукописи оставлено свободное место на три четверти страницы.

201

Реакция Николая II на Ходынку была более сложной и драматичной, чем это казалось современникам, в том числе и В. С. Кривенко. «До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, – записал император 18 мая 1896 г., – а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек! Я об этом узнал в 10Уг часов перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12*Vi* завтракали и затем Алике и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном “народном празднике". Собственно там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимн и *“Славься"».* Описывая торжества, состоявшиеся на Ходынском поле в присутствии царя, великий князь Константин Константинович записал 18 мая: «На поле перед павильоном, выстроенным для государя, напротив Петровского дворца, собралось семьсот тысяч народу, то есть более, чем Наполеон привел с собою в Москву… Когда их величества показались на балконе павильона, грянуло оглушительное “ура". Это была торжественная, дух захватывающая минута. Огромный хор пел *"Боже, Царя храни"* и *“Славься"* при колокольном звоне и громе пушек». После посещения Ходынского поля царь и царица поехали и к Петровскому дворцу, где «у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось, – отметил император 18 мая, – сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям дворянства. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 часов». В это время, по сведениям Константина Константиновича, царь узнал, что «погибло 300 человек – истинное число пострадавших еще не было ему известно». Тем не менее, он «вышел к обеду заплаканный и глубоко расстроенный». Несмотря на это, вечером Николай II поехал на бал к французскому послу графу Г. Монтебелло. «Поехали на бал к Montebello, – записал император 18 мая. – Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 часа». Целесообразнее ставить вопрос не о том, почему царь поехал на бал, а почему посол его не отменил. Естественно, что для Г. Монтебелло внешнеполитические последствия демонстрации русско-французской дружбы были

важнее внутриполитических последствий ошибки, допущенной монархом, который лично ехать на бал не хотел. Фиксируя детали истории с балом, Константин Константинович особо остановился на решающей роли, сыгранной в этой истории дядями царя, великими князьями Алексеем, Владимиром и Сергеем Александровичами: «Государь не хотел было ехать на французский бал, но его убедили показаться там хотя бы на один час, и что же: на балу Владимир, Алексей и сам Сергей упросили Государя остаться ужинать, так как отъезд с бала показался бы "сентиментальностью". И государь уехал с бала после ужина, в 2 часа». К событиям 18 мая Константин Константинович вернулся также 26 мая: «Государь глубоко расстроенный, весь в слезах, не хочет ехать на французский бал, Ему вечером известно о 300 жертвах, тогда как утром адъютант Сергея Гадон знал за достоверное, что погибших никак не менее 400. И что же? Сам же Сергей, которому следовало бы сокрушаться не менее государя, вместе с братьями уговаривает Государя остаться на балу». В последующие дни, как бы искупая ошибку, допущенную накануне, царь и царица уделили большое внимание пострадавшим на Ходынском поле. «В 2 часа, – записал Николай II 19 мая, – Алике и я поехали в Старо-Екатерининскую больницу, где обошли все бараки и палатки, в которых лежали несчастные пострадавшие вчера». «Сегодня, – записал 19 мая Константин Константинович, – их величества посетили в больнице раненых. За обедней во дворцовой церкви Рождества Пречистой Богородицы по приказанию государя на эктении и литии поминали «верноподданных Царевых, нечаянно живот свой положивших». Царь отпускает по 1000 рублей семьям пострадавших». «В 3 часа, – отметил император 20 мая, – поехали с Алике в Мариинскую больницу, где осмотрели вторую по многочисленности группу раненых 18-ГО мая. Тут было 3–4 тяжелых случая» (*Лопухин А. А.* Отрывки из воспоминаний. С. 37; Дневники императора Николая П. М., 1991. С. 145, 145–146, 145–146; *Константин Константинович, вел. кн.* Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., 1998. С. 231, 232, 232–233, 236).

Министр юстиции Н. В. Муравьев, получив материалы П. Ф. Кейзера, производившего расследование причин Ходынской катастрофы, попытался снять вину за катастрофу если не с полиции, то с ее начальника – московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, которому был обязан своей карьерой. «Все это, – подчеркивал А. А. Лопухин, – требовало устранения гласности, а так как такое дело, как Ходынское, даже бессовестным людям судить при закрытых дверях было совестно, то, как выход, само собой подсказывалось устранение суда». Министр юстиции рекомендовал передать это дело на рассмотрение Комитета министров, с тем чтобы окончательное решение по заключению комитета вынес бы Николай II. По инициативе императрицы-матери Марии Федоровны, боявшейся, что Н. В. Муравьев, косвенно оправдывая Сергея Александровича, может бросить тень на министра двора графа И. И. Воронцова-Дашкова, царь поручил графу К. И. Палену сделать еще одно заключение о причинах Ходынской катастрофы на основании материалов П. Ф. Кейзера. В своем докладе Николаю II К. И. Пален признал виновником катастрофы московского обер-полицмейстера генерала А. А. Власовского, которому инкриминировалось «бездействие власти, имевшее важные последствия». Виновность А. А. Власовского представлялась тем более очевидной, что его предшественник во время коронации Александра III в 1883 г. сумел предотвратить массовое скопление народа. Подразумевая действия тогдашнего московского обер-полицмейстера генерала А. А. Козлова, А. А. Лопухин писал, что «старый опыт рекомендовал остроумное и безобидное средство, эффективность которого была вне сомнений, но которое почему-то новым московским управлением было забраковано, может быть, именно вследствие одностороннего понимания им порядка и его охраны. Оказывается, что в 1883 г., в коронацию Александра III, московские генерал-губернатор князь Долгоруков и обер-полицмейстер Козлов, люди не особенно мудреные, но понимавшие, что на их обязанности лежит забота о безопасности не одного царя, а и народа, для устранения скопления его на Ходынском поле во время такого же праздника прибегали не к вооруженной силе, а к музыке. Несколько оркестров были посланы на Ходынку с вечера кануна праздника и, расположившись в разных местах, играли по очереди до рассвета, все время держа толпу в движении». Другим виновником

катастрофы К. И. Пален объявил Сергея Александровича, «своим индифферентизмом к участи народа посеявшего такой же индифферентизм в своих подчиненных и своей безответственностью поддерживавшего в них уверенность и в их безответственности». К. И. Пален настаивал на том, чтобы Николай II наложил на докладе такую резолюцию, которая бы привела к добровольной отставке Сергея Александровича с поста московского генерал-губернатора. Тем не менее в царской резолюции говорилось только об исключении А. А. Власовского со службы, о великом же князе резолюция умалчивала *(Лопухин А. А.* Отрывки из воспоминаний. С. 32–40).

203

Елисейские поля (франц.)

204

Да здравствует император! Да здравствует Россия! Да здравствует франко-русский союз! (франц.)

распутничать (франц.)

206

Далее в рукописи оставлено свободное место для нескольких строк.

207

Публикуется по: Памяти графа И. И. Воронцова-Дашкова // Вестник Красного Креста. 1916. № 2.

208

Имеется в виду вдовствующая императрица Мария Федоровна, являвшаяся официальной покровительницей Российского общества Красного Креста.

209

В конце февраля 1904 г. И. И. Воронцов-Дашков, как председатель Исполнительной комиссии, официально обратился к земствам и городским думам, приглашая их помочь Красному Кресту. В начале марта представители 19 земств, в основном тех, где заметную роль играли оппозиционные элементы, подали в Исполнительную комиссию заявление о своем согласии участвовать в создании санитарных отрядов, но при условии «объединенной работы в Общеземской организации». И. И. Воронцов-Дашков пошел навстречу земцам, содействуя тем самым объединению оппозиционных сил в рамках легальной организации. Так возникла Общеземская организация помощи больным и раненым воинам во главе с князем Г. Е. Львовым, в которую, вопреки ее названию, входили только 13 губернских земств. Поддерживая земцев, И. И. Воронцов-Дашков действовал вопреки министру внутренних дел В. К. Плеве, являвшемуся противником объединения земств в особую организацию. Противостояние между ними разрешилось в пользу И. И. Воронцова-Дашкова, на сторону которого встал Николай II. В. К. Плеве принял Г. Е. Львова «грубо», а царь – «замечательно любезно». Во время аудиенции, состоявшейся 27 апреля 1904 г., Николай II «был тронут. Он обнял князя, перекрестил его, поцеловал и заговорил о полном сочувствии своем предпринятому земствами делу». Царь попросил Г. Е. Львова передать персоналу санитарных отрядов Общеземской организации «напутственное благословение и пожелание всяческого успеха» в «святом деле человеколюбия» *(Святополк-Мирская Е. А.* Дневник // Исторические записки. 1966. Т. 77· С. 250; *Полнер Т. И.* Жизненный путь князя Георгия Евгеньевича Львова: Личность, взгляды, условия деятельности. М., 2001. С. 90–129).

210

В №№ 14316 и 14323 (Прим. авт.).